

Молодой Ленинград

©

1974

Молодой
Ленинград



ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
АЛЬМАНАХ
МОЛОДЫХ
ПИСАТЕЛЕЙ

1974
Молодой
Ленинград

СОВЕТСКИЙ
ПИСАТЕЛЬ
ЛЕНИНГРАДСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
1974

Главный редактор

Арк. Минчковский

Редакционная коллегия:

Г. Горышин

Н. Пантелеймонов (составитель)

А. Шевелев

И. Малярова

В. Суслов

Борис Роцин

ТРЕВОГА

ПОВЕСТЬ

Рабочий день в парке танковой части начался ровно в десять часов. Репродукторы, установленные на ангарах подразделений, кашлянули, фыркнули и голосом рядового Бурсова провозгласили:

«Танкисты! Переведем технику на осенне-зимнюю эксплуатацию в кратчайший срок и с высоким качеством исполнения! Шире развернем соревнование между всеми подразделениями! Помни, танкист: машине нужна забота, ласка, любовь и смазка...»

В этом явно симпровизированном месте речь репродуктора прервалась, он со свистом втянул воздух и оглушительно грохнул: «Ап-чи!»

«На то и чох, — будто про себя резюмировал репродуктор и добавил: — А теперь — музыка».

«Эх, полным-полна моя коробочка, есть и ситец и парча», — вразной задрезбуждали громкоговорители.

Высокий белобрысый ефрейтор, с повязкой дневального на рукаве новенького отутюженного х. б., остановился под репродуктором, задрал вверх румяную физиономию, проговорил вслух:

— Ай Бурсов! На радиоузел уже пропихнулся. Вот ловкач! Ну и ловкач...

Тяжело скрипя и потрескивая, раздвинулись ворота ангаров. Набычившись жерлами пушек, с лязгом и ревом выползли из бетонного мрака на солнечный свет бронированные машины и, разгоняемые командами, расползались по эстакадам, мойкам, смотровым ямам.

Через час танковый парк напоминал собой громадную прачечную, раскинувшуюся прямо под открытым небом. Повсюду тазы с керосином, бочки под отработанные масла, ведра с автолом, груды ветоши. Танкисты, с засученными рукавами комбинезонов, чистят, моют, полощут, смазывают. Просто не верится, что все это можно собрать, привести в порядок, а суточный наряд будет придирчиво выискивать по закоулкам промасленную тряпку, забытый ключ.

Белобрысый дневальный, оберегая свои лоснящиеся глянец сапоги, старательно обходил места, где глянец мог пострадать. У моечной эстакады ефрейтор остановился.

— Ребята, капитана Варфоломеева не видели?

В ответ ему ударила сочная струя воды из брандспойта. Опережая струю, ефрейтор, словно испуганный лось, метнулся прочь. Помахав кулаком хохочущим и, видимо, сообразив, что поймать капитана Варфоломеева можно только случайно, он продолжал поиски. Наконец дневальный присел на корточки перед легким танком, сиротливо стоящим в стороне, возле самого забора.

— Товарищ капитан! Капитан Варфоломеев!

По соседству дробью бил компрессор, заглушая голос. Ефрейтор поморщился, огляделся. Увидел чистую ветошь, расстелил на земле лоскут почище, опустил на него коленями.

— Товарищ капитан Варфоломеев!

Между гусеницами показались два яловых сапога со стоптанными каблуками. Загребая под себя землю, сапоги выволокли из-под сочащегося соляжкой днища короткое туловище капитана.

Ефрейтор хихикнул. На голове капитана был нахлобучен пятнистый капюшон от маскировочного костюма, из которого выглядывал перемазанный грязью мясистый нос. Капитан сдернул капюшон и, щуря выпуклые, словно у рака, глаза, укоризненно произнес:

— Гвоздиков! Зампотех под твоей машиной корячится, а ты груши околачиваешь...



— Я, товарищ капитан, в наряде. А капюшончик вы ловко приспособили. Мне недавно за такое от старшины вне очереди влетело.

— Списанные нужно брать, — проворчал зампотех, вытирая нос ветошью. — Не следишь ты, Гвоздиков, за машиной. Я тебе вчера патрубок заменить велел?

— В наряд заступил, товарищ капитан.

— Аккумуляторы подзарядил?

Ефрейтор виновато шмыгнул носом.

— Эх, Гвоздиков, Гвоздиков! Такая машина, а ты...

— Так в наряде же, товарищ капитан!

— В наряде, в наряде. Пару часиков для машины и в наряде мог бы выкроить.

— Не положено, товарищ капитан.

Зампотех вскипел:

— Не положено? А машину в божеском виде кто должен содержать?! Стыд-то где твой, Гвоздиков! Стыд где!

Когда капитан Варфоломеев сердился, глаза его косили к переносице; казалось, он делает это нарочно.

Как ни старался Гвоздиков нагнать на физиономию соответствующее моменту выражение, предательская улыбка выперла на его розовые щеки.

— Так, так, смеешься... — угрожающе протянул зампотех. — Завтра воскресенье, Гвоздиков?

— Воскресенье. — По лицу ефрейтора, сгоняя улыбку, метнулась тревога. Безобиднее капитана Варфоломеева в полку не было офицера, но там, где дело касалось техники, от него ожидай любого сюрприза.

— В увольнение собираешься?

— Собираюсь. — Ефрейтор сглотнул слюну.

— Я, Гвоздиков, напротив гостиницы живу. — Глаза капитана Варфоломеева перестали косить. — Видел, какая к тебе краля приехала. Невеста, что ли?

— Подруга.

— Так вот, Гвоздиков: завтра свою подругу ты очень даже просто можешь не увидеть. Улавливаешь мысль?

— Товарищ капитан! Разве я возражаю в чем? Сменюсь сегодня с наряда — все сделаю.

— Патрубок заменить.

— Есть!

— Аккумуляторы на подзарядку сдать. Установишь запасные.

— Не возьмут в аккумуляторной, товарищ капитан. Сейчас первая рота заряжает, наша очередь через неделю.

— Гвоздики... — глаза зампотеха вновь угрожающе закосили, — ты знаешь, какая плотность электролита в твоих аккумуляторах? Ты что, загубить их хочешь?

— Не возьмут...

— Хорошо попросишь — возьмут. И еще вот что, Гвоздикиков — правый фрикцион «ведет»...

Ефрейтор взмолился:

— Товарищ капитан! Не успеть мне до завтра фрикцион отрегулировать, там ленту тормозную менять надо.

— Успеешь. Я до обеда с фрикционом сам поколупаюсь, а ты вечером водяную помпу проверь. Барахлит, манжеты менять надо, — и, укоризненно глядя на солдата светлыми, выпуклыми глазами, зампотех проворчал: — На плавающем танке, Гвоздикиков, водяная помпа тоже фигура. Не выходил ты еще на воду в крутую волну.

— Товарищ капитан, вас в штаб полка вызывают срочно, — вдруг спохватился дневальный, — я вас давно разыскиваю.

Зампотех засуетился.

— В штаб вызывают, а он лясы точит. Кто вызывает-то?

— Подполковник Новиков.

«С чего бы это?» — с тревогой размышлял Варфоломеев, торопливо ковыляя по парку на своих кривых, плоскостопных ногах. Те времена, когда вызов к начальнику будоражил надежды на перемены в застоявшейся его армейской судьбе, давно прошли. После войны несколько раз подавал он рапорт по команде с просьбой отпустить на учебу в академию. Но, видно, несчастливая его звезда. Что-нибудь да мешало — то инспекторская проверка на носу, командир просит: «Потерпи, Варфоломеев, еще годик, до весны», то учения крупные близятся, то техника новая в часть прибудет. А потом дети пошли. Попробовал заочно учиться — пороху не хватило. Сейчас над ним нависла демобилизация. Варфоломеев и себе объяснить не мог, почему она так его пугает. Голова на плечах есть, руки, слава богу, не к белым перчаткам приучены, не пропадет и на гражданке. Но, как ни успокаивал себя Варфоломеев, от одной мысли о демобилизации ему становилось нехорошо. Ой как нехорошо!

«Зачем это я в штабе понадобился?» — в который раз

спрашивал он себя, и недоброе предчувствие слабостью нали-
вало тело.

— Коля, — окликнул он молоденького лейтенанта, водолаз-
ного инструктора, — ты не из штаба случайно? Новиков меня
вызывает. Зачем, не знаешь?

— Не знаю, товарищ капитан.

На КПП танкового парка дежурил старшина Коробов.

— Максимыч, — обратился к нему капитан, — не слышал
часом, зачем я в штабе понадобился?

— Не могу знать.

Всякий раз при встрече с Варфоломеевым старшина Коро-
бов испытывал смешанное чувство вины и обиды. По сути дела
Васька Варфоломеев был для него приемным сыном. Кто как
не он нашел мальчишку и уговорил командира оставить ездо-
вым при батарее. Сколько Ваське тогда было? Лет шестна-
дцать, наверное. Тридцать годков уже промелькнуло. Как пер-
 этот чертов танк, когда они под Лугой на прямой наводке
стояли. И старшина, будто вновь на мгновение оторвавшись от
прицела, увидел налитые ужасом глаза Васьки, волокущего
снаряд к гаубице. Пожалуй, не успел бы пацан, если бы не
сосна, что на пути немца стояла. Обходить дерево стал, ско-
рость сбросил, тут он ему и врезал Васькиным снарядом. Одно
их орудие от батареи тогда и осталось. А как радовался он,
когда вернулся Василий с курсов в родную часть в офицерских
погонах!

Старшина вздохнул. Ему вспомнился генерал Трунов, что
инспектировал недавно их бригаду. С Васькой курсы млад-
ших лейтенантов кончал. Генерал-лейтенант! А его Васька
так и запис в капитанах, а ведь не хуже Трунова в технике ку-
мекал. В чем другом, а в технике не хуже. Старшина предст-
авил себе, как из черной «Волги» вылезает не тучный, распль-
вшийся Трунов, а его неказистый Васька Варфоломеев в ге-
неральской форме. Старшина приосанился, развернул плечи
и... встретил беспокойный, тревожный взгляд капитана Вар-
фоломеева.

— Не могу знать, — повторил он хмуро и добавил: — По-
дожди, воды принесу, сполоснешься.

Перед дверью кабинета подполковника Новикова капитан
Варфоломеев нерешительно помялся, одернул гимнастерку,
дважды подтянул ремень. Наконец, поправив фуражку, он
постучал промасленным пальцем в светло-коричневый стеган-
ный дерматин. Дверь молчала. Капитан Варфоломеев вновь

перевел дух. Сейчас он уже не сомневался, зачем сюда вызван. Но почему к Новикову? Ему легче услышать эту весть от самого полковника Семченко Якова Степановича — командира полка, бывшего его комбата. Только трое ветеранов и осталось в их части — полковник Семченко, старшина Коробов да он. Его черед уходить. Пора. Если бы не Яков Степанович, его еще тогда бы демобилизовали, когда, сразу же после окончания войны, дивизию расформировывали. Специально из-за него Яков Степанович в Москву ездил хлопотать. Доставил же он своему комбату хлопот за эти тридцать лет. Почему все же не командир вызывает, а Новиков? Может, уехал куда Яков Степанович? Варфоломеев, решившись, без стука толкнул дверь. Из-за стола навстречу ему поднялся высокий, по-спортивно подтянутый офицер. Капитан Варфоломеев вскинул руку под козырек, хотел доложить о прибытии, но подполковник опередил его:

— Здравствуйте, здравствуйте, Василий Егорович! Проходите, садитесь. . .

Варфоломеев сдернул с головы потертую фуражку, присел на краешек стула — прямой, окаменелый.

Подполковник Новиков не спешил начинать разговор. Он искоса посматривал на капитана, словно хотел получше рассмотреть его. Несколько дней назад из штаба округа получена телефонограмма с распоряжением представить документы на капитана Варфоломеева, для увольнения его из армии в запас. Полковник Семченко запретил сообщать о телефонограмме Варфоломееву до особого его распоряжения и срочно выехал в штаб округа. Но отстоять капитана Варфоломеева на этот раз командиру не удалось. Сегодня утром он вернулся и вновь предупредил: капитану Варфоломееву об увольнении пока ничего не говорить. Временно назначить его комендантом города. «Пусть отвыкает от полка», — хмуро пояснил полковник.

Варфоломеев кашлянул.

Подполковник Новиков сел рядом с капитаном.

— Дело такого порядка, Василий Егорович. . . У вас, если не ошибаюсь, шестеро детей.

— Семеро.

— Да, да, семеро, — улыбнулся подполковник, — видел снимок вашей семьи в окружной газете. Вы в некотором роде чемпион, если не армии, то округа наверняка. Впервые встре-

чаю столь многодетную офицерскую семью. И дружно живете?

— Слава богу.

— Вот и хорошо. Мы запланировали серию лекций с личным составом на морально-этическую тему. Скорее это будут даже не лекции, а разговор уважаемых людей нашей части с солдатами о дружбе, товариществе, любви. Как вы на это смотрите?

— Нужно, конечно, дело... — Варфоломеев не мог взять в толк, куда клонит его собеседник.

— Мы посоветовались, Василий Егорович, с офицерами, с солдатским активом. Разговор этот нужно провести вам.

— Мне?

— Да.

— О любви?!

— А почему нет?

До сих пор Варфоломеев наивно полагал, что не умеет удивляться. Неужели подполковник говорит это всерьез?

— Василий Егорович, у вас большая, дружная семья. С женой и детьми живете в любви, согласии. Вот и расскажите о своей семье солдатам. Поделитесь, так сказать, опытом. Ведь «семья — основа государства». Не так ли?

— Скучновато будет солдатам о моей семье слушать, товарищ подполковник, — засмутился Варфоломеев. — Им такую любовь подавай... в стихах. А из меня какой рассказчик. По технической части еще куда ни шло, а любовь...

— Все-таки попробуйте, Василий Егорович, подготовьтесь выступать. Должно получиться. Теперь второй вопрос...

Подполковник Новиков на несколько секунд замолчал, Варфоломеев вновь выпрямился, окаменел.

— Такой вопрос... По графику начальника гарнизона нашему полку необходимо выделить офицера для исполнения обязанностей коменданта города. Временно, конечно. Придется вам, Василий Егорович.

Капитан Варфоломеев медленно поднялся со стула. Еще с войны, после контузии, у него от волнения всегда немела правая щека, а горло будто стягивало ремнем. Дыханию это не мешало, а вот говорить в такие моменты почти не мог.

— Есть! — хрипло выдавил Варфоломеев и стал обеими руками натягивать на голову фуражку.

— Да вы не волнуйтесь, Василий Егорович, — успокоил его подполковник, — дело это несложное, справитесь. Завтра

к десяти ноль-ноль явитесь на инструктаж к начальнику гарнизона. За себя в батальоне оставьте старшего лейтенанта Сердюка.

— Есть! — вновь хрипло повторил Варфоломеев. — Разрешите идти?

— Да, да, пожалуйста. До свидания, Василий Егорович.

Когда дверь за капитаном закрылась, подполковник Новиков прошелся по кабинету. Волнение Варфоломеева вдруг передалось ему. «Ведь понял все капитан, догадался, по глазам видно. Не лучше ли было поговорить с ним откровенно?» Никогда еще подполковник Новиков не испытывал такого неловкого, тягостного чувства. Не раз вручал он офицерам приказ об увольнении в запас, провожал на заслуженный отдых. Большинство расставалось с армией нелегко, с болью. Здесь оставалась их работа, их дом, их друзья. Но жизнь есть жизнь. На смену приходила молодежь, а ушедшие приобретали новую работу и новых друзей в гражданской жизни. Но таких глаз, как у этого мешковатого офицера, он не видел ни у кого.

Подполковник Новиков вспомнил, как несколько лет назад он впервые прибыл в танковый полк Героя Советского Союза полковника Семченко и сразу же попал на полковые учения. После учений он решительно настаивал перед командиром полка о наказании капитана Варфоломеева. Этот зампотех — «с кругозором командира отделения», как выразился он тогда, — принялся лично устранять неисправность в тягаче, отстал от батальона, отморозил себе пальцы на ноге и... вдобавок... заблудился. Но на разборе учений командир лишь вскозь коснулся этого факта.

Потом уже, в домашней беседе за чашкой чая, Яков Степанович сказал ему: «Тысячи голодных, бездомных ребятишек встречали мы в годы войны на фронтовых дорогах. И только одного из них взяли в полк. Взяли под пули, под огонь немецких батарей. Трудно даже объяснить почему. Наверное, все — от рядового солдата до командира дивизии — увидели в этом мальчишке что-то от своего ребенка. Он стал для всех сыном, живым знаменем. Нет ничего позорнее для солдата, чем потерять знамя. Нет ничего больнее для солдата, чем потерять мальчишку — сына полка. Даже самые слабые и безвольные люди становились сильными, когда рядом в минуты опасности находился этот мальчишка. Любой из нас готов был закрыть его своим телом, принять за него смерть».

«Тогда была война», — мягко возразил он командиру.

«Да, война, — согласился полковник, — но ребенок на войне — исключение. Для Варфоломеева семьей и домом стал полк. Полк и сейчас его дом. Есть такая категория людей, Михаил Александрович: взрослые дети. Варфоломеев навсегда остался взрослым ребенком в самом лучшем смысле этого слова. Он не выбирал себе профессию военного, на него надела погоны война».

* * *

Капитан Варфоломеев жил в деревянном домике на берегу озера. Десятка два таких домиков слепили после войны солдаты их дивизии, увольняемые в запас. Генерал Рогачев, бывший тогда командиром дивизии, сказал строительной бригаде: «Аккордная работа, войны. Последняя. Сделаете — и по домам. Думаю, при хорошем темпе управитесь за месяц». Командир недооценил своих солдат. А может, и схитрил генерал. Только работу, какую показали фронтовики, никто никогда не видел. Откуда что бралось. Из-под воды выворачивали камни для фундамента и на плечах выносили их на крутой берег. Здесь же, на берегу, в самодельных кузницах ковали гвозди, штыри, скобы. Не хватало пил, топоров. Солдаты «сбрасывались» на сахар и обменивали его на инструмент в соседних деревнях. Работали и ночью, при свете костров. Работали так, будто от постройки домиков этих зависела их жизнь.

Через две недели на берегу озера вырос деревянный городок, а еще через день эшелон с фронтовиками под рыдающий марш «Прощание славянки» уже отходил от перрона вокзала. Крепко завидовал Варфоломеев, тогда еще лейтенант, этим ребятам. Впервые почувствовал себя одиноким. Можно было, конечно, поехать к Ивану Антонову в Тамбов или к Степану Дыбову в Белоруссию, да кто ждал его там? Его дом был здесь, в дивизии.

Комнату в домике Варфоломеев получил не сразу. С год еще жили они со старшиной Коробовым в холостяцкой свей землянке. Женились одновременно. Коробов — на машинистке из делопроизводства, немолодой уже Вере Семеновне, Варфоломеев — на толстушке Аннушке из соседнего села. Познакомился он с ней осенью, когда заготавливали в колхозе картошку для полка. Молодоженам выделили по комнате, и под Новый год играли сразу две свадьбы. Аннушка запихала все

свое приданое, несколько старых одеял, в щели между бревнами, из которых ветер выдул мох; Варфоломеев утрамбовал в щель под подоконником две затасканные, промасленные шинели, и семейная жизнь их началась. Уже на второй день свадьбы Аннушка потребовала: «Готовься в академию. Хочу в большом городе культурно пожить. Нонке-подруге нос утереть». Утереть нос Нонке не удалось. Через год Аннушка родила двойню, девочек. Варфоломеев продолжал по вечерам корпеть над учебниками, Аннушка стала сердиться: «Зачем тебе, Вася, академия? Куда с детьми в город. Им молоко надо, воздух. Да и непривычная я к городу».

Офицерский городок рос. На другом берегу озера построили четырехэтажные ДОСы с центральным отоплением, водопроводом, ванными. Большинство офицеров и часть сверхсрочников перебрались в новые квартиры, остальные остались на старых насиженных местах. Раздались попросторнее семьями в домиках, подремонтировали их, урожай с подрастающих яблонь снимать стали. Вокруг домиков огороды расплозились, словно блины на холодной сковородке. Повсюду сараи появились, гаражи, навесы, клетушки, складницы дров. По утрам от лихого петушиного крика в озерных камышах взлетали утки. Генерал Рогачев не раз грозился снести бульдозерами весь этот «шанхай» к чертовой матери, да все не доходили руки.

В тот год, когда дивизию от генерала Рогачева принял генерал Морозов, Аннушка родила тройню. Все — девочки. Новость эта взбудоражила «шанхай». Варфоломеев несколько дней был в центре всеобщего внимания. Его поздравляли, хлопали по спине, советовали поднажать теперь уже на «квартет». Из окружной газеты приехал фотокорреспондент, долго примеривался фотоаппаратом к рдеющей от удовольствия Аннушке и сумрачному ее мужу. Варфоломеев держался за громадную детскую коляску, которую изготовили ему солдаты в танковой мастерской, и не мог выжать нужную улыбку. На прощание фотокорреспондент поинтересовался: ожидается ли в будущем новое прибавление семейства?

«Мальчика надо бы...», — неуверенно поглядывая на супругу, пробормотал Варфоломеев.

Аннушка против мальчика не возражала, но поставила условие: завести корову. Варфоломеев схватился за голову, когда услышал о коровьей причуде жены. «Аннушка, засмеют меня в дивизии. Куда же с коровой?» — «Пусть смеются. Знал, кого брал. Крестьянка я. Мне без коровы жизнь не жизнь. Са-

рай у нас есть, сена накопишь. Машин-то вон сколько у тебя. Солдаты в любой час сена нагибают. Я уже и телку у Нонки присмотрела. . .»

Как ни уговаривал Варфоломеев супругу, как ни упрашивал отказаться от затеи с коровой, Аннушка стояла на своем: «Детям молоко надо, а не академию. На той неделе приведу телку».

Варфоломеев решился на крайний шаг. Вечером он шептался о чем-то с двумя сержантами своего подразделения. Наутро Аннушка не нашла сарая. Долго, с позеленевшим лицом, бродила она по тому месту, где еще вчера стоял добротный, обитый тесом, укутанный толем сарай.

Для Варфоломеева настали трудные дни. Аннушка убивала его демонстративным молчанием. Супружеская кровать хотя и не была слишком удобной для двоих, ни в какое сравнение не шла с самодельным диваном, на котором ворочался он теперь ночами. Диван этот изготовил Варфоломеев еще в холостяцкие времена из топчана, который приволок Коробов с гауптвахты. «И на кой лях я женился?» — не раз подумывал Варфоломеев ночью. Однажды у него даже мелькнула мысль бросить все, подать рапорт о переводе, уехать куда-нибудь одному. Сонное посапывание в углу комнаты возвращало его к действительности. Варфоломеев неслышно поднимался с дивана, подходил к детским кроваткам и, устыдившись дикости своих мыслей, поправлял на дочках одеяла. Долго смотрел на спящих и, разморенный нежностью, на цыпочках подходил к кровати жены.

«Аннушка, глупо-то как все. Зачем у нас так. . .» — бормотал он, обнимая жену за плечи.

Проснувшись, Аннушка толкала его и в кровать не пускала.

Неизвестно, сколько промучился бы еще Варфоломеев на диване, если бы не новый командир дивизии. Генерал Морозов пригласил жен офицеров и сверхсрочников в солдатский клуб на собрание. Проводив жену на собрание, Варфоломеев принялся замешивать пойло поросенку. Поросенок этот навязался на его голову после злополучной истории с сараем. Добыла его Аннушка в деревне, все у той же своей подруги Нонки. Она сама отгородила в дровяном сарае Коробовых закуток, затолкала туда поросенка и только после этого сообщила о нем мужу. Поросенок был страшно худой, злой, как собака, и жрал на удивление много. Перемешивая в кастрюле варе-

ную картошку с отрубями, Варфоломеев думал: «У кого бы спросить в санчасти снотворного для поросенка? Пусть заснет и не просыпается. Сонного и прирезать можно без хлопот...»

Аннушка вернулась с собрания возбужденной и улыбка-той, какой давно не видел ее Варфоломеев. Она чмокнула мужа в щеку, давая понять, что размолвка кончилась и наступил мир. Она даже не поинтересовалась, накормил ли он поросенка. Схватив ведра, Аннушка выскочила на улицу. У колонки толпились женщины.

«Что, соседка, — услышал Варфоломеев голос Веры Семеновны, — говорят, на собрании мужа твоего отметили?»

Варфоломеев навострил слух.

«Почему только мужа? Варфоломеевых в пример привели. Мы первые сарай снесли, от коровы отказались. Новый командир всем от скотины избавиться приказал. «Стыд, говорит, позор, офицеры хозяйствами обросли, кур щупают». А мой Вася никогда в хозяйство не утыкался, день-деньской на службе пропадает. Да и какое у нас хозяйство! Поросенка завтра к матери в деревню отправлю. С куриями вот не знаю как быть...»

«Шанхай» преобразался быстро. На озере была построена лодочная станция, и все навесы под катера и лодки, уродующие берега, снесены. Был объявлен субботник по озеленению, и «шанхай» приобрел вид вполне приличного городка.

Капитан Варфоломеев так и не перебрался в благоустроенный ДОС. Семья его сильно разрослась, и многокомнатный деревянный домик вполне устраивал его. И, если говорить совсем уж откровенно, больше устраивал жену его Аннушку.

* * *

Выйдя из кабинета подполковника Новикова, Варфоломеев привалился спиной к стене и долго растирал ладонью онемевшую щеку. Значит, предчувствие не обмануло его. На комендантство отсылают, исподволь его подготавливают. Наверное, Якова Степановича затея. «Эх, комбат, комбат! Да я тебя насквозь вижу. Хватит меня опекать, не маленький уже». Капитан Варфоломеев отстранился от стены, проговорил: «Руки, слава богу, не к белым перчаткам приучены».

Понемногу он успокоился. Щеку отпустило, и Варфоломеев решил: «Зайду-ка в строевой отдел. Разузнаю осторож-

но, что к чему. Может, и впрямь нет приказа, одна только моя фантазия».

В строевом отделе был у Варфоломеева знакомый писарь-рядовой Манушкин. Манушкина Варфоломеев не любил. На первом году службы запарол он зимой мотор на бензовозе. Выехал по тревоге без воды и запарол. После этого перевели его с машины в комендантский взвод, а оттуда в писаря. Три года прошло, а как увидит Манушкина — душа переворачивается, мотор вспоминает. Совсем новый был мотор.

Варфоломеев разыскал Манушкина в строевом отделе, отвел его в дальний угол коридора, зашептал:

— Слушай, Манушкин, бумага из округа приходила на меня?

— Не знаю, товарищ капитан, при мне не было.

— Ты не крути, не крути, Манушкин. Ну сам посуди: зачем от меня скрывать? Пришел приказ — так и скажи: пришел. Очень тебя прошу, Манушкин.

— Не знаю я толком, товарищ капитан. Краем уха слышал что-то. . .

— Ну, ну, Манушкин.

— Не велено говорить.

Одной рукой капитан Варфоломеев стал растирать щеку, другой взял солдата за пуговицу, страстно зашептал:

— Манушкин, ведь я тебя, подлеца, выручил, когда запарол ты мотор. Ведь ты не забыл воду залить, ты — чтобы побыстрее. А залить уже за парком думал, у ручья. До ручья-то не дотянул. . .

— Товарищ капитан, не могу я. . .

— Ведь тебя под суд надо было отдать, Манушкин. Когда твоя старуха мать приезжала, она у меня ночевала. Рассказывала, что последний ты у нее, трое с войны не вернулись. Ведь я из-за матери тебя и простил только.

— Попадет мне от майора Другова. . .

— Ведь я, Манушкин, на твой мотор целый отпуск загубил, расточку цилиндров сам делал. В Тарховку путевка сгорела.

— Ладно. . . Пришла на вас телефонограмма. Приказано готовить документы.

— Так. . . — Капитан Варфоломеев отпустил пуговицу солдата, проговорил зазвеневшим голосом: — Вот так. . . Ну, будь здоров, Манушкин. — Он хотел еще что-то добавить, но ничего не сказал, пошел к выходу. Возле часового, замершего у за-



чехленного знамени полка, капитан Варфоломеев выпрямился, расправил плечи, резко бросил руку под козырек и вышел из штаба.

В скверике возле штаба Варфоломеев присел на скамейку перекурить. Был он совершенно спокоен, но с мыслями справиться не мог. Разбегались мысли, скользили, пропадали. Зампотех сделал глубокую затяжку и вслух подумал: «Фрикцион не забыть отрегулировать...»

— Капитан Варфоломеев! Василий Егорыч!

Варфоломеев вздрогнул, поднял голову. Возле него стоял начальник строевого отдела майор Другов.

— О чем задумался, Василий Егорыч? Не забыл — после обеда строевой смотр? Быть обязательно.

— Да, да, смотр, — спохватился Варфоломеев, — вот спасибо, Поликарпыч, напомнил. Совсем запамятовал.

Капитан Варфоломеев поднялся со скамейки, потер щеку ладонью, пробормотал:

— Побриться еще надо и фрикцион правый успеть до обеда. . . Ну, Поликарпыч, побежал я.

К строевому смотру Варфоломеев готовился тщательно. Побрился дважды. Потом пошел в парикмахерскую, которую недавно открыли в новом городке, в ДОСах. Ловкая чернявенькая парикмахерша пошелкала ножницами над небогатой его шевелюрой, щедро sprysнула одеколоном.

Дома его уже ждал висящий на стуле парадный мундир с начищенными орденами. Рядом поблескивали тяжеловесные яловые сапоги.

— Аннушка, а где хромовые? — с тревогой спросил Варфоломеев. — На смотр в хромовых надо.

— В ремонт сдала, Вася. На тебе обувька-то горит, сам знаешь.

— Да новые-то где, что на прошлой неделе получил?

Аннушка молча загремела посудой.

— Продала, — упавшим голосом произнес Варфоломеев, — как же так, Аннушка!

— Я тебе, Вася, обновку купила, — пояснила Аннушка, — не хватало денег, вот и пришлось. . .

— Какую обновку? — заинтересовался Варфоломеев.

Аннушка вытерла руки полотенцем, подошла к платяному шкафу, сняла с вешалки светлый с искоркой костюм.

— Вот, Вася, примерь.

— Сроду гражданских костюмов не носил, — пробормотал Варфоломеев, принимая из рук жены обновку.

Он встряхнул костюм, расправил его, пощупал материал. Подумал, что сейчас, пожалуй, самое время сказать Аннушке про демобилизацию, но вновь не сказал, не решился. Отложил костюм в сторону, сказал:

— Некогда сейчас, Аннушка, тороплюсь на смотр. В другой раз примерю, — и стал снимать со стула звенящий медалями мундир.

Аннушка видела мужа в парадном мундире не часто. И каждый раз ахала от изумления:

— Ой, Вася, медалей-то, медалей! Как у Якова Степановича.

Польщенный Варфоломеев держал за длинную рукоятку зисовское зеркало и разглядывал себя в нем с интересом.

— У Якова Степановича, конечно, орденов побольше. И Герой! Зато у меня вот. . .

— Это что, Вася, за медаль?

— Это не медаль — орден. Самый, можно сказать, почетный. Орден Славы. Его ни один генерал, ни один маршал получить не может. Только солдату дают.

— Тебе-то за что дали?

— Рассказывал же тебе. Опять забыла? Помнишь, мы троим из окружения выходили. Контуженного-то меня Яков Степанович с Максимычем тащили. А перед этим к нам на батарею помначштаба Иволгин прискакал с полковым знаменем. Десант немецкий к штабу прорвался. Только слез с лошади помначштаба, батарею накрыли. Иволгину в живот осколок. Вот мы зная троим и выносили. Перед линией фронта очухался я. По виду я совсем мальчишка был. Раздобыли мы в деревне одежку, приспособили мне под нее знамя, корзинку в руки — и пошли. Комбат Яков Степанович с Максимычем прикрывали меня вдоль дороги.

— Вася, Вася, на смотр-то опаздываешь! — всполошилась Аннушка и подтолкнула мужа к двери: — Иди, иди, Василий.

Как ни готовился к строевому смотру капитан Варфоломеев, прошел он для него неудачно. Попривык уже, что перед строевыми смотрами ставят его в наряд или сплавляют куда-нибудь в командировку. Что поделаешь, если наградил господь ногами, с которыми служить только в кавалерии, да еще вдобавок плоскостопием. Как ни держал выправку Вар-

фоломеев, походкой сильно смахивал на медведя, идущего на задних лапах. Даже молодые солдаты при встрече с ним не могли сдержать улыбку.

На этот раз строевой смотр проводил сам командир дивизии, генерал Морозов. Варфоломеева подвели проклятые сапоги. В яловых сапогах хорошо шагать в поле, по болоту, они не для парада. Проходя с подразделением мимо трибуны, на которой стоял генерал Морозов, Варфоломеев старательно тянул носок и высоко поднимал ногу. Но жесткие носы яловых сапог задирались вверх, и распрямить их у него не было сил. Широкие голенища хлопали по сухим икрам, словно наполненные водой. А когда вскинул он по команде «смирно» руку под козырек, солдаты, стоящие на плацу, загоготали.

— Прекратить смех! — зычно крикнул с трибуны генерал.

Заканчивая прохождение, Варфоломеев следил только за тем, как бы не сбиться с ноги, и носок уже не тянул.

На разборе строевого смотра командир дивизии его фамилию не упомянул, но Варфоломеев чувствовал: все слова генерала обращены к нему. Говорил генерал резко и закончил выступление так: «А некоторые вообще уподобились клоуну».

Бывало, что и генерал Рогачев делал ему замечания, бывало, и крепко разносил. Но он не обижался. А вот сегодня что-то не по себе. «Все правильно, конечно, только зачем обидками? Варфоломеев — так и скажи: Варфоломеев. И не клоун он. Это генерал перехватил, это не надо».

Дома Варфоломеев сбросил мундир и молча лег на диван.

Аннушка осторожно стащила с него сапоги, прикрыла одеялом. На кухне она пошарила в шкафчике и, достав графин с розовой жидкостью, спрятала его. Хоть и не был ее Василий охоч до спиртного, но с расстройства мог выпить. Потом с желудком неделю будет маяться.

Аннушка несколько раз поднималась ночью к детям, Василий лежал с открытыми глазами.

— Не спишь? — спрашивала она.

— В лес бы мне, Аннушка. Лесником работать. На речку, с собакой. . .

Она уже задремала, когда Василий окликнул ее:

— Нонки твоей муж в «Сельхозтехнике» работает?

— В «Сельхозтехнике», а тебе что?

— Пусть узнает: там механик не нужен? Я трактора хорошо знаю. И по электрооборудованию могу, и по моторам. Плуги тоже и сеялки ремонтировал.

— Лежи уж, фантазер! — буркнула Аннушка и отвернулась к стене.

Поднявшись утром, она изумилась:

— Неужто всю ночь не заснул?

— Сына бы нам, Аннушка.

— А это уж кого бог пошлет. — Сидя на кровати, Аннушка потерла свой громадный тугой живот. — Теперь недолго, Вася, ждать осталось.

* * *

Ровно к девяти часам утра капитан Варфоломеев прибыл на инструктаж к начальнику гарнизона в штаб дивизии. Обязанности начальника гарнизона исполнял генерал Морозов. Не поднимаясь из-за стола, генерал скосил глаза на сапоги Варфоломеева, произнес строго:

— Принимайте комендатуру и поддерживайте в городе уставной порядок.

— Есть.

— По всем неясным вопросам обращайтесь прямо ко мне.

— Есть.

— Ваш доклад ежедневно в одиннадцать ноль-ноль лично мне.

— Есть.

— Вопросы?

— Нет вопросов.

— Можете идти.

Прикрывая за собой осторожно дверь генеральского кабинета, Варфоломеев всем телом ощущал взгляд генерала на своих ногах. Но на ногах у него были хромовые, с зеркальным блеском сапоги, взял у старшины Коробова на время, пока не принесет Аннушка из ремонта старые его хромовые сапоги.

В тот же день капитан Варфоломеев принял комендатуру от капитана Давыдова — офицера из соседнего полка.

— Вот тебе печать, — сказал капитан, — вот тебе ящик, то бишь сейф, вот тебе учетные книги. Принимай и расписывайся. Работа здесь — курорт. Но если честно: осточертело. На гауптвахте четверо сидят. Используй их по хозяйству. Ребята спокойные, но курят в камере. Никак не могу усечь, где папиросы прячут. Каждую щель проверил, а найти не могу.

В камеру арестованных Варфоломеев вошел вслед за капитаном Давыдовым.

— Встать! — гаркнул высокий белобрысый солдат, вскочив с табуретки. — Смирно!

— Гвоздиков! — изумился капитан Варфоломеев. — Ты уже здесь?

— Товарищ капитан, в камере номер один четверо арестованных. Старший камеры ефрейтор Гвоздиков.

— Эх, Гвоздиков, Гвоздиков! За что попал?

Солдат замялся.

— Из-за нее, наверно, из-за подруги, — подсказал Варфоломеев.

— Точно так, товарищ капитан. После отбоя в гостиницу сбежал проведать. . .

— Эх, бабы, бабы, — неопределенно вздохнул Варфоломеев. — Аккумуляторы-то на подзарядку сдал?

— Так точно, товарищ капитан. К старшине Гренадерову в аккумуляторную приняли.

— Хорошо. Я, Гвоздиков, ленту фрикциона заменил. Ты рычаг на себя резко не бери, не притерлась еще лента. На мосту том, помнишь, занести может. И гусеницу левую подтяни. «Пальцы» запасные к тракам что-то я на твоей машине не видел?

За спиной Варфоломеева кашлянул капитан Давыдов, давая понять, что разговор затянулся. Варфоломеев приосанился, оглядел камеру. Под потолком плавал сизоватый дымок.

— Курите?

— Никак нет, с улицы в форточку дыму надувает.

— Так, так. . . Сдадите папиросы или изымать будем?

— Какие папиросы? — удивился Гвоздиков. — Недавно только искали у нас.

— Недавно не нашли, а теперь найдем. — Капитан Варфоломеев посмотрел прямо в глаза солдату. — Найдем, товарищ ефрейтор.

В камере стало тихо. Даже капитан Давыдов с нескрываемым ожиданием наблюдал за своим преемником.

Варфоломеев прошелся вдоль стены, пробуя носком сапога каждую половицу. Осмотрел подоконник, табуретки. На одной из них стоял питьевой бачок с краником. Крышка бачка была закрыта на замок.

— Ключ от замка у кого хранится? — спросил Варфоломеев у капитана Давыдова.

— У начальника караула.

Варфоломеев открыл краник. Вверх ударил фонтанчик воды. Капитан потрогал замок, метнул взгляд в Гвоздикова.

Белесые ресницы солдата дрогнули.

Варфоломеев присел, прошелся рукой вдоль плитуса, вытащил из щели кусок тонкой стальной проволоки. Проговорил строго:

— А ну, ефрейтор Гвоздилов, показывай ваше хозяйство, — и протянул проволоку солдату.

Обескураженный солдат послушно взял проволоку, сунул конец ее в замок бачка и поднял крышку.

— Вот те на! — изумился капитан Давыдов.

В бачке плавал плотик, сооруженный из прутьев веника. На нем лежала початая пачка сигарет, а все это сооружение венчала коробка спичек.

— Бачок вынести в коридор, — приказал Варфоломеев, — в камере иметь не полагается.

Когда новый комендант выходил из камеры, все арестованные смотрели на него с интересом.

Комендатура располагалась в центре города, у вокзала. Город был сравнительно небольшой, работы у капитана Варфоломеева было немного. Вечером встречал он наряд. Инструктировал дежурного офицера, начальника караула, патрулей по городу. Утром шел на доклад к начальнику гарнизона. Днем сидел в кабинете, встречал отпускников и командированных, прибывающих в город. Дышал на печать, энергично шлепал ее на отпускные листы и командировочные предписания.

На второй день занятие это Варфоломееву надоело. Он перепоручил его дежурному по управлению.

Здание комендатуры было одноэтажным, приземистым, мрачноватым. Вывеска «Управление военного коменданта», будто стыдясь обшарпанных стен, пряталась во дворе. Прежде всего решил Варфоломеев подновить здание снаружи: подштукатурить, побелить, вывеску с улицы на видном месте повесить, чтобы не искали ее люди по дворам. Не без труда раздобыл два мешка цемента, бочку извести, выпросил у старшины Коробова три банки цинковых белил.

В работе ему помогали арестованные. Ефрейтор Гвоздилов оказался мастером на все руки. Из неизвестно откуда взятых досок сколотил он ящик под раствор, смастерил козлы. Комендант тоже натянул на себя комбинезон, взял ма-

стерок, взобрался на козлы к Гвоздикову. Как ни старался Варфоломеев угнаться за солдатом, ничего не получилось. Гвоздиков так ловко играл мастерком, с таким вкусом припечатывал к стене густой раствор, почти не разбрызгивая его, а главное, давал такой ровный, чистый слой, что Варфоломеев заинтересовался:

— На гражданке по штукатурному делу шел?

— Нет. Подхалтуривал иногда. Наладчик я, на суконной фабрике работал.

— Откуда сам, что-то запомнил я?

— Из Моршанска. Под Тамбовом городок.

— Под Тамбовом! У меня друг в Тамбове — Иван Антонов. В сорок седьмом демобилизовался. Сколько лет собираюсь съездить навестить. Иван Антонов, шофер — не слыхал случайно?

— Не слыхал.

— Родители кто будут?

— Детдомовский.

— Детдомовский! — Капитан Варфоломеев едва не задохнулся от неожиданности. — Гвоздиков, ты детдомовский? Как же я не знал! Из какого детдома?

— Из тамбовского.

— А я из череповецкого. В сорок первом из детдома ходу дал, в армию пробился. Теперь вот демобилизуюсь скоро. Приказ жду здесь, в комендантстве. Аннушка — жена — и костюм купила гражданский. Поехать после армии не знаю куда. В Тамбов, может? И здесь места хорошие, а оставаться не хочу. Кругом свои, армейские, а вроде как чужой будешь в костюме этом. Боюсь только, жену с места не стронуть, здешняя она. Да и семеро у меня.

— Целое отделение.

— Да. Восьмого жду. Аннушка в больнице уже лежит. Может, сын будет. Одних девчонок клепаю. Дефект во мне какой-то. А твою подругу как звать?

— Вера.

— Хорошее имя. Лицом она на Ольгу Евгеньевну походит, супругу командира нашего. Глаза похожие. . .

В больницу Варфоломеев звонил несколько раз в день. Через день возил Аннушке передачи.

Вечером, как обычно, проинструктировал он наряд и позвонил дежурному врачу.

— У вас сын. Поздравляю.

Варфоломеев не поверил. Крикнул в трубку:

— Варфоломеев я, Варфоломеев. Насчет Анны Никифоровны Варфоломеевой спрашиваю.

— Мальчик. Три восемьсот. Здоров. Самочувствие матери хорошее.

Пытаясь не расплескать рвущуюся из него радость, еще не смея верить, Варфоломеев помчался на дежурной машине в роддом. Вернулся он в комендатуру светящийся.

— Сын у меня родился.

— Поздравляю, — равнодушно буркнул дежурный по управлению майор-связист.

Варфоломеев заглянул в глазок камеры:

— Сын у меня, воины.

— Поздравляем, товарищ капитан! С вас магарыч — сигаретки причитаются.

Варфоломееву очень хотелось угостить ребят сигаретами. Особенно Гвоздикова, детдомовского. Но нельзя. При службе всегда порядок должен быть, уставом положенный.

Варфоломеев вышел на улицу. Не терпелось поделиться радостью с кем-нибудь из своих. Прошелся по городу и никого не встретил. Заглянул в ресторан. За одним из столиков сидели знакомые офицеры, Варфоломеев подошел. Его встретили приветливым гулом:

— А... комендант!

— Василий Егорыч!

— Присаживайся, присаживайся!

Варфоломеев поблагодарил:

— Не могу, на службе.

— Рюмочку, рюмочку только.

В другой раз отказался бы наотрез, но сейчас не мог. Радость рвалась наружу.

— Если только рюмочку...

Через несколько минут ресторан потрясло нестройное, но мощное «ура!» Это Варфоломеев сообщил друзьям новость о рождении сына. А еще через полчаса комендант запел:

Бьется в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза...

Директор ресторана подошла к столику офицеров и попросила прекратить шум.

— Да не шум это — пение. По случаю рождения сына. Вот в Италии, говорят, если не пюют за столом, за вино дороже платят.

— Мешаете людям, товарищи! — настаивала директор.

— Мешаем людям? — переспросил Варфоломеев. — Не может быть!

Он поднялся, оглядел зал и крикнул:

— Граждане, мешаем мы вам?

В табачном хмельном говоре зала его никто не слышал. Только лысый дядя за соседним столиком приподнял от тарелки отяжелевшую голову и, рыгнув, рывкнул:

— Мешают нам! Прекратить!

— Федор, — сказал Варфоломеев, вылезая из-за стола, — расплатись за меня. Верну с полочки.

Войдя в комендатуру, он грохнул в дверь арестованных кулаком:

— Сын, воины! Сын!

Майора-связиста в комендатуре не было, уехал ужинать. За него дежурил помощник — старший сержант.

— Арестованных построить в коридоре, — приказал ему Варфоломеев.

Вдоль строя прошелся он нетвердым шагом. Остановился. Посмотрел на Гвоздикова. Сказать хотелось что-то особенное, необыкновенное, чтобы на всю жизнь ребятам этим запомнилось.

— Человек родился, воины! Целый мир новый в жизнь входит. Глубина-то какая, воины! Иваном назову. Запомните: Иван Васильевич Варфоломеев. Может, услышите еще когда имя это. А сейчас... сейчас... Амнистию вам объявлю. Подходи, получиай документы.

Распустив арестованных, Варфоломеев не стал дожидаться дежурной машины и отправился домой пешком. До городка было семь километров. Но уже давно не чувствовал в себе Варфоломеев такой силы и легкости. Шел с песнями.

Утром Варфоломеева разбудил посыльный. Его срочно вызывал к себе начальник гарнизона. Голова у Варфоломеева раскальвалась, в желудке горел огонь. Он никак не мог вспомнить: действительно разогнал вчера арестованных или приснилось ему это. Ведь за такое дело под трибунал идти придется, ведь это на всю армию позор...

Генерал Морозов с Варфоломеевым был краток. Приказал немедленно сдать комендатуру.

— Не ожидал от вас, товарищ капитан, ничего подобного. Бражничаете в ресторане в служебное время, песни ревете по городу. И это — комендант!

Капитан Варфоломеев не знал, как выдержать позор, свалившийся на него. Хотя генерал и не упомянул об арестованных, они не выходили у него из головы. Неужели приснилось?

Варфоломеев позвонил в комендатуру.

— Арестованные умнее вас оказались, — сердито пояснил дежурный майор-связист, — через полчаса вернулись. Просили меня не докладывать никому об инциденте. Не доложил, а надо бы. . .

Позднее Варфоломеев узнал: возвратиться в камеру уговорил арестованных ефрейтор Гвоздиков.

Встречи с командиром полка капитан Варфоломеев просто-напросто страшился. Черт знает какое дикое коленце выкинул он в комендатуре по хмельному делу. Кажись, руку дал бы себе отрубить, только не смотреть в глаза командиру. Ведь позор его, Варфоломеева, и на Якова Степановича ложится. . .

Встреча с командиром полка произошла у капитана Варфоломеева примерно так, как он ее представлял.

— Слышал, слышал о твоём неудачном комендантстве, — сказал полковник Семченко. — Сын как?

— В порядке, — поднимая глаза на командира, произнес капитан.

— Сегодня вечером загляну к тебе, поговорить надо. . .

Капитан Варфоломеев уловил в голосе командира нерешительность и помог ему:

— Говорят, товарищ полковник, бумага на меня пришла. В запас?

Глаза их встретились.

— В запас, Вася.

* * *

Капитан Варфоломеев сидел на крыльце, курил. Доски крыльца порядком уже подгнили, и их надо было менять. Да все не доходят руки. Вот сейчас, кажись, чего не взять топор, не подновить крыльцо. А лень. Устал что-то сегодня, да и без детей в доме не по себе. Зря их Аннушка в деревню отправила, справился бы сам как-нибудь. Надо бы еще в танковый парк сбегать, проверить, как там смотровую эстакаду для машин бетонируют. . . Да теперь, видно, не его это уже забота — Сердюка. Старательный паренек. Тиховат,

правда, но дело знает. Практики ему маловато, ну да это навязное. Сказать надо ему, чтобы выше делал на эстакаде отбивной бортик. Молодой, неопытный, заезжать на эстакаду станет — долго ли до греха.

Потом Варфоломеев вспомнил, что скоро увидит сына, и повеселел. Стал поглядывать на солнце, которое скрывалось уже за лесом, на дорогу, что сбегала к озеру, к ДОСам. Скоро должен подойти Яков Степанович. «Может быть, с Ольгой Евгеньевной придет», — подумал Варфоломеев и вдруг заволновался. Вспомнился подполковник Новиков и его необычное задание — разговор о любви. Подумал: «Ну до чего же Новиков на Иволгина похож, помначштаба нашего бывшего. Лицо, фигура, брови также над носом росли. Вот бы кому лекцию о любви читать — Иволгину. Большой знаток этого дела был. Частенько в медсанбат заглядывал по женскому вопросу. А уж каким потом вокруг Ольги Евгеньевны ходил! Хоть и держала Ольга Евгеньевна Иволгина в строгости, равнодушной к нему не была. Ох не была, не в обиду тебе, Яков Степанович, сказано. Точный у меня глаз в этом деле, прицельный. Интересно, вспоминает она когда Иволгина? Спросить надо у Ольги Евгеньевны. Впрочем, нет, не стоит. Сердечные дела — большая деликатность, лучше не вступать. А ведь я и сам к Ольге Евгеньевне имел большую симпатию...»

Варфоломеев крикнул и едва не поперхнулся от глубокой затыжки. Он остро, будто вчера это было, ощутил, как под шинель к нему лезут заледенелые ладошки девушки, а нос щекочит выбившиеся из-под шапки волосы. Сколько раз потом в дневальные напрашивался, по две смены стоял у КПП, чтобы Ольга с дежурства мимо пробежала. Не остановилась больше. Правда, морозов потом сильных и не было...

Варфоломеев насторожился, привстал. По дороге вдоль озера шла группа людей. Двоих он узнал сразу: Яков Степанович с супругой Ольгой Евгеньевной, третьим был Максимыч — старшина Коробов, а вот четвертый...

Варфоломеев торопливо вошел в дом, стал накрывать на стол. Рюмки в серванте не тронул, расставил на столе кружки, поставил чашку с солеными огурцами, рядом с буханкой хлеба положил старый складной нож, фронтовой еще подарок комбата, потом достал из холодильника флягу...

Кружки все подняли первый раз молча, без тостов. За столом Варфоломеев внимательно приглядывался к незна-

концу. Представил его Яков Степанович так: Андрей Осипович Александров — управляющий районным отделением «Сельхозтехники». Варфоломеев сразу смекнул, зачем привел к нему комбат этого человека. Но управляющий и сам не стал скрывать цели визита. Когда вышли все из-за стола, он взял Варфоломеева под локоть, отвел в сторонку, проговорил:

— Извините, Василий Егорович, что незваным гостем явился. Наслышан о вас от Якова Степановича с самой лучшей стороны. У нас в «Сельхозтехнике» место главного механика свободно, вот боюсь, как бы не перехватили вас от меня.

Варфоломеев на предложение управляющего соглашаться не спешил, однако стал расспрашивать о специфике работы главного механика. Особенно заинтересовала его автоматическая комплектовочная линия в ремонтном цехе, которую задумали создать в «Сельхозтехнике» для ремонта двигателей колесных и гусеничных тракторов.

— Только вот места в цехе для ее размещения не хватает, — сокрушался управляющий, — и так и этак прикидывали. Вот посмотрите. — Управляющий достал из кармана карандаш, блокнот, нарисовал схему. Варфоломеев задумался, почесал подбородок, попросил:

— Вырвите листок этот мне. Покумекаю на досуге. . .

Разошлись друзья капитана Варфоломеева в полночь. Он проводил их до калитки, вернулся в дом, прилег на диване не раздеваясь. Спать не хотелось, разные мысли лезли в голову. Стал думать о сыне, об Аннушке, потом про эстакаду в танковом парке вспомнил, потом про автоматическую линию в «Сельхозтехнике». Достал чертеж управляющего, задумался. «А что, если сделать пока линию для ремонта только гусеничных тракторов или, наоборот, — колесных? Тогда кассеты под запасные детали на линии меньше будут, тогда можно разместить. . . »

Варфоломеев вскочил с дивана, зажег настольную лампу, стал чертить что-то на бумаге.

«А что, если вообще отказаться от ремонта колесных, передать их в соседнюю «Сельхозтехнику»? Ведь при узкой специализации быстрее дело пойдет. Одна эта линия сколько даст. А соседи пусть на колесных специализируются. . . »

Заснул Варфоломеев далеко за полночь, твердо решив сходить завтра в «Сельхозтехнику», посмотреть это хозяйство.

Проснулся капитан Варфоломеев мгновенно. Сбросил ноги с кровати, прислушался. Старый будильник на тумбочке деловито вспарывал тишину. За окном светало. «Никак тревога?» — подумал Варфоломеев, весь уйдя в слух. Вот он совершенно отчетливо уловил звук грузных торопливых шагов. Варфоломеев отбросил одеяло, метнулся к окну, приник к влажному холодному стеклу. В сером предутреннем тумане с трудом рассмотрел силуэт бегущего солдата. «Посыльный», — догадался Варфоломеев. Босиком, в одних трусах, бросился он к двери. Выскочил на крыльцо, крикнул:

— Эй, служивый! Какому батальону тревога?

Но солдат завернул уже за угол дома. Варфоломеев услышал лишь, как хлопнул у него на спине вещмешок с автоматом. И тотчас в дверь домика старшины Коробова загрохотали удары, донесся голос посыльного «Товарищ старшина, тревога».

Варфоломеев стоял на крыльце не шелохнувшись еще несколько мгновений. Между домиками мелькали силуэты бегущих людей, в офицерских ДОСах у озера засветились окна. «Никак полковая, — ахнул Варфоломеев и бросился в дом. — А где же мой посыльный, черт его дер! Неужели забыли про меня!»

Сидя на пороге, Варфоломеев натягивал сапог, когда пол под ним мелко задрожал от дальнего глухого гула. Он толкнул босой ногой дверь и, натягивая второй сапог, прислушивался к явственному теперь гулу моторов, пробормотал облегченно: «Средние... Голланова батальон». Но вот в общем глухом гуле Варфоломеев уловил сухой отчетливый треск, словно дали из автомата длинную очередь. Среди тысячи других звуков безошибочно узнал бы он голос своих «плавающих». Только по тревоге дают такие обороты непрогретым моторам.

Капитан Варфоломеев перекинул через плечо сумку с противогазом, на другое плечо — полевую сумку, присел перед кроватью на корточки, стал шарить под ней рукой. «Тревожного» чемодана на привычном месте не было. «Аннушка, — прошептал он, — никак чемодан мой уже раскомплектовала? Вот дура баба!» И Варфоломеев неумело, витиевато выругался. Не найдя чемодана, он бросился в кладовку, схватил старый, холостяцкий еще свой чемодан, вытряхнул

из него гвозди и прочую рухлядь. Огляделся, подумал секунду.

В танковом парке ревели моторы.

Варфоломеев отбросил чемодан в сторону, стал закрывать дверь на ключ, бормоча: «Ну, Аннушка, попадись ты мне сейчас под горячую руку...»

К танковому парку капитан Варфоломеев побежал налегке, без «тревожного» чемодана.

Он опоздал. Задыхаясь, вбежал в распахнутые настежь ворота парка, возле часового придержал бег, спросил хрипло:

— Давно?

— Только что, — часовой махнул рукой в сторону леса, из которого доносился слабеющий гул моторов. — К Черному озеру пошли.

— К Черному озеру, — застонал Варфоломеев и заметался по парку, — неужели оказии никакой нет?

— Товарищ капитан, у северных ворот ЗИЛ с катером застрял, — подсказал часовой, — завести не могут.

Придерживая на бегу противогаз, сдувая пот с бровей, капитан Варфоломеев молча побежал к северным воротам. На его счастье, ЗИЛ с буксирным катером на прицепе еще стоял возле ворот. У машины суетился солдат. Он то остервенело крутил рукоятку, то заглядывал под открытый капот двигателя.

— Манушкин! — узнал Варфоломеев писаря.

— Товарищ капитан! — обрадовался Манушкин. — Вот... навязался на мою голову. Сурайкин в отпуске. Кармазиков в госпитале, меня посадили на их машину. Никак не завести эту колымагу.

— Заведем, Манушкин, заведем, — успокоил капитан Варфоломеев солдата, залезая в кабину, — догнать наших надо, к Черному озеру пошли.

Здесь, в кабине, среди рычагов, циферблатов, привычного легкого запаха бензина, капитан Варфоломеев сразу успокоился. Неторопливо снял противогаз, полевую сумку, сложил их рядом на сиденье. Потом придвинулся к рулю, попробовал педали, поиграл рычагом переключения передач, крикнул:

— Манушкин, залазь в кабину!

Солдат, недоверчиво поглядывая на офицера, открыл дверцу.

— Манушкин, Манушкин, — проворчал Варфоломеев, — нет в тебе искры к технике. Про мотор тот уже и не вспоминаю. А вот когда машину заводишь, между прочим, зажигание включать надо.

И не глядя на растерянное лицо солдата, капитан Варфоломеев повернул ключ в замке зажигания, нажал стартер. Мотор кашлянул, фыркнул раз-другой и ровно загудел.

Прежде чем тронуться с места, Варфоломеев оглянулся назад, спросил:

— «Хомуты» крепления на катере проверил? — И не дожидаясь ответа, выскочил из машины, обежал прицеп, подтянул «хомуты».

— Догоним, Манушкин!

Сразу за парком дорога шла в гору. Варфоломеев вел машину не спеша, на второй скорости — прогревал мотор. Так же, не торопясь, спустился с горы, переехал бревенчатый мостик через гнилой болотный ручей. Спросил у Манушкина:

— Гвоздики с гауптвахты вышел, не знаешь?

— Вышел.

— Опасаюсь я, Манушкин, на этом мосту за его машину. Если Гвоздики за рычагами — еще ничего. А как молодого посадят?

За мостом капитан Варфоломеев поднажал на газ. Замелькали сосны, среди которых еще плавала пыль, поднятая прошедшими танками.

— Догоним, Манушкин, — бодро проговорил Варфоломеев и, сделав крутой поворот, дал машине полный газ. ЗИЛ, взлетая на ухабах, стремительно помчался по извилистой лесной дороге. За ним на прицепе застонал, заходил ходуном катер.

— Товарищ капитан, катер перевернется! — прокричал Манушкин и, вцепившись в сиденье, пригнулся, чтобы не удариться головой о крышу кабины.

— Не перевернется, Манушкин! — азартно прокричал в ответ Варфоломеев. — У меня, Манушкин, сын родился!

За лесом дорога вновь пошла в гору. Машина, надрывно ревя мотором и зарываясь колесами в песок, медленно ползла вверх. Капитан Варфоломеев, потный, раскрасневшийся, высунулся из кабины, пробормотал: «Не догнать... Яков Степанович колонну ведет, его почерк».

На вершине горы в глаза Варфоломееву ударили первые солнечные лучи. Капитан притормозил машину, прикрыл гла-

за ладонью, огляделся. Внизу, почти до самого горизонта, раскинулось озеро. По берегу вдоль озера, медленно разбухая, двигался пыльный вал. «Голланов в обход пошел, на старую мельницу, — догадался Варфоломеев и вдруг встревожился: — А мой-то, мой! Никак с ходу форсировать озеро надумали? При таком-то ветре! Ну, Манушкин, надо поднажать!»

ЗИЛ взревел, рванулся вперед. Прицеп с катером встал на одно колесо, потом выправился, ринулся по косогору за машиной вниз, к озеру.

И вновь капитан Варфоломеев опоздал. Когда вылетел ЗИЛ на отлогий берег озера, танки были уже на воде. Оставляя за собой пенистые буруны, зарываясь по самые башни в крутые волны, шли они к противоположному берегу. Лишь неподалеку, в пенистом прибое, колыхался беспомощно на воде одинокий танк. «Никак Гвоздикова машина», — екнуло сердце у капитана Варфоломеева. Он сделал резкий разворот, подал прицеп к воде, скомандовал:

— Манушкин, отвинчивай «хомуты»!

Солдат выскочил из машины, быстро освободил катер от крепления.

— Готово, товарищ капитан!

Варфоломеев резко рванул машину вперед. Катер вздрогнул, замер на мгновение и вдруг плавно, как по стапелю пошел в воду.

— Манушкин, машину в укрытие, замаскировать и быстро на катер! На воде мы их в момент догоним.

Через несколько минут буксирный катер, кренясь на борт, деловито застучал к танку, крутящемуся на волнах, словно утка с перебитым крылом.

— Так и есть, Манушкин, Гвоздикова машина! — прокричал капитан Варфоломеев. — Недаром у меня душа за нее боледа!

К танку Варфоломеев подвел катер осторожно, на самых малых оборотах. Прокричал:

— Эй, в машине!

Люк приоткрылся, выглянула голова в шлеме.

— В чем задержка?

— Водометы включить не можем.

— Это ты, Гвоздиков?

— Я, товарищ капитан.

— Что предлагаешь?

— Может, назад, на берег выйти?

— Ишь ты, гусь какой, — хмыкнул капитан, — все вперед, а ты, значит, назад. Видал, Манушкин? Трос есть?

— Есть.

— Давай цепляй! На буксир возьмем. На ходу пробуй водометы.

Капитан Варфоломеев распутывал с Манушкиным промасленный трос, когда подлетел к ним полковой аварийно-спасательный катер.

— Товарищ капитан, помощь нужна? — крикнул с катера лейтенант Пальмский.

— Обойдемся, Коля, ты за остальными поглядывай.

— В случае чего — красная ракета! — крикнул лейтенант. Спасатель лихо развернулся и с ревом помчался прочь.

— Ну, Манушкин, двигай помаленьку, — отдал команду капитан Варфоломеев, — самый малый ход. А ты, Гвоздиков, двигатель не включай, держи на средних оборотах, видишь, какая волна.

Зарываясь в волны по самую башню, задрав вверх ствол пушки, танк медленно тронулся на буксире вслед за катером. Варфоломеев слушал, как в машине лязгал металл, — Гвоздиков с товарищами пытался исправить, включить водометы.

Погода вконец испортилась. Небо затянуло низкими грозовыми тучами, порывистый ветер заходил, закружился смерчами, взбивая на волнах белые пенистые гребни.

Капитан Варфоломеев с тревогой посматривал назад. Волны перепрыгивали уже через башню танка. На середине озера башенный люк приоткрылся, танкист крикнул:

— Товарищ капитан, в машине вода!

— Включить аварийную помпу! — приказал Варфоломеев и вдруг вспомнил: «Манжеты! Неужели Гвоздиков не успел заменить на помпе манжеты? Ведь сколько раз говорил!» Варфоломеев прислушался к работе помпы, пробормотал тревожно: «И как это я помпу упустил? Ну, Гвоздиков, придем домой, поговорю с тобой серьезно, не посмотрю, что детдомовский. И с начальством поговорю насчет посыльного ко мне».

Капитан Варфоломеев выругался, приказал:

— Манушкин, стоп катер! Эй, на танке! Глуши мотор. Всему экипажу покинуть машину. На катер к нам пере...

Договорить он не успел. Корма танка стремительно осела. Он вздыбился, задрал пушку в небо и, захлебываясь открытым люком, начал быстро погружаться в пенящиеся волны.

— Буксир! Отдать буксир! — отчаянно закричал Варфоломеев.

Вдвоем с Манушкиным они кинулись к буксирному устройству и, сталкиваясь лбами, стали лихорадочно отсоединять трос. Еще секунда, и многотонная машина камнем пойдет на дно, а следом за собой потащит и легкий катер. Успели вовремя. Трос, обжигая ладони, рванулся из рук Варфоломеева. Капитан оглянулся и похолодел. Там, где еще минуту назад дыбился танк, плясал в кипящих бурунах ярко-красный аварийно-сигнальный буй.

Буй этот свободно крепится тросом на броне танка. Утонет танк — буй всплывет, по нему водолазы быстро находят затонувшую машину.

Сейчас за буй, захлебываясь, хватались двое танкистов. Третьего, Гвоздикова, не было.

На поверхность воды вырвался вдруг громадный воздушный пузырь и глухо лопнул.

— Гвоздикив, выходи, — зарычал Варфоломеев, плюхнулся задом на палубу катера и стал стаскивать сапоги. — Выходи, Гвоздикив, выходи. . .

Зашипев, щелкнула в небе красная ракета. Манушкин дал сигнал тревоги.

Варфоломеев срывал липнущую к спине гимнастерку, кричал мокрым растерянным танкистам, взобравшимся на катер:

— Чего рты разинули! Трос бую выбирай, живей, живей! Какая глубина?

Танкисты, словно проснувшись, принялись лихорадочно выбирать трос. Манушкин рассмотрел на металлическом кольце троса цифру, крикнул:

— Глубина пять с половиной метров!

Варфоломеев, не снимая брюк, плюхнулся в воду, схватился за трос бую. Несколько мгновений от перехваченного в ледяной воде дыхания тарачил на солдат глаза, потом прохрипел:

— Внатяжку трос держите.

Он сделал глубокий вдох, бултыхнулся в воду, перевернулся. В воздухе мелькнули его голые пятки, и, перебирая трос руками, капитан исчез в глубине.

В небе хлопнула вторая ракета.

Голова Варфоломеева вырвалась из-под воды. Он фыркнул,

ухватился за буй. На этот раз движения его были медленны, он жадно и тяжело дышал раскрытым ртом.

— Товарищ капитан! — со слезами в голосе прокричал Манушкин. — Вылезайте, утонете! Спасатель идет!

Надрывно ревя мотором, спасатель мчался к месту аварии изо всех сил. Уже можно было различить на палубе водолаза, одетого в гидрокостюм, и хлопочущего возле него лейтенанта Пальмского. Вот водолаз взялся руками за спусковой трап, поднял вверх согнутую в локте руку — сигнал обещающему, что в аппарат включился, к спуску готов.

Капитан Варфоломеев вновь скрылся под водой. На этот раз он шел только вперед, не оставляя себе секунд на выход. Только вперед! Несколько сильных рывков по тросу вниз, и он достиг башни затонувшего танка. Не раздумывая ни мгновения, скользнул вниз головой в черноту люка, ударился о завор пушки, ухватился за спинку сиденья.

В запасе оставалось еще несколько секунд.

Капитан нащупал в темноте тело Гвоздикова, отодвинул его в сторону, стал шарить руками возле сиденья, у рычагов.

В висках стучало.

Но вот ладонь его наткнулась на гофрированную трубку, он легонько потянул ее на себя, взял в руки водолазный аппарат. Маска аппарата была разорвана.

Дыхание рвалось из груди, оставались мгновения.

Капитан стиснул зубами резиновый загубник маски, взял за рычаг клапанной коробки. Остался последний поворот рычага и... Но если Гвоздикив уже поворачивал рычаг на «кислород», тогда дыхательный мешок заполнен водой, тогда все...

Варфоломеев повернул рычаг, нажал кнопку подачи кислорода. Дыхательный мешок зашипел, всхлипнул. Воздух! Варфоломеев сделал жадный вдох и вдруг почувствовал, как сознание туманится, ускользает. Он рванулся, едва не выпустив загубник изо рта. «Спокойнее, спокойнее, Егорыч, — мысленно подбодрил себя Варфоломеев, — промывку надо сделать! Как это Коля-лейтенант учил: вдох... теперь добавим в мешочек кислорода... так... теперь выдох носом. Еще разок...» Варфоломеев почувствовал, как сразу прояснилось в голове, задышалось легко, свободно. Он нащупал тело Гвоздикова, ухватил его одной рукой за воротник комбинезона, подвинул вперед в башню, к светлому пятну люка.

Ходить под водой с одним только загубником, без маски, капитану Варфоломееву еще не доводилось. Самое опасное в таком положении сделать вдох носом или выпустить загубник изо рта. Лейтенант Коля Пальмский показывал ему этот аварийный прием, да не освоил он его, вернее, и не старался. А вот сейчас очень бы надо уметь. . .

Тело Гвоздикова из танка Варфоломеев вытолкнул легко, а вот сам застрял в люке, зацепился аппаратом. Пока выбирался, едва не сделал вдох носом.

Над головой уже стучал мотором спасательный катер.

Теперь капитану Варфоломееву оставалось последнее: выйти с телом Гвоздикова на поверхность. Дело было тоже новое. Один всплывал, а вот вдвоем не приходилось.

Варфоломеев обхватил Гвоздикова рукой за плечи, другой рукой нажал кнопку байпаса — подачи кислорода в дыхательный мешок. Мешок стал быстро раздуваться. Не снимая пальца с байпаса, Варфоломеев прижал к себе Гвоздикова плотнее, приготовился. Раздувшийся мешок властно дернул его вверх. Капитан сделал глубокий вдох, повернул рычаг клапанной коробки, перекрывая выход кислорода из дыхательного мешка. Выплюнул загубник изо рта и, резко оттолкнувшись от брони танка, полетел с телом солдата вверх. Капитан Варфоломеев даже не забыл прокричать «Лечу-у-у», как учил его лейтенант Коля Пальмский, чтобы выдохнуть из груди воздух и не получить при всплытии болезнь — баротравму легких.

С того момента, как скрылся под водой танк, и до выхода капитана Варфоломеева с телом Гвоздикова на поверхность прошло ровно две минуты.

В крошечной каюте аварийно-спасательного катера тесно. Гвоздики, лежа на откидном диване, устало жмурится на тусклый свет плафона да изредка заходится в кашле. Врач полка майор Азарочкин еще раз пощупал пульс солдата, положил шприц и ампулы в чемоданчик, проговорил:

— Расторопнее надо быть, молодой человек. Веселее из тонущей машины выходить. И водолазная подготовка у вас, видимо, хромает.

— Не скажи, Борис Григорьевич, — возразил врачу капитан Варфоломеев. — Гвоздики — парень шустрый. Ты думаешь, он из танка выскочить не успел? Как бы не так!

Варфоломеев поудобнее устроился на жестком деревянном лежаке, подобрал под себя голые ноги, запахнулся в ши-

нель. Хоть и растер его доктор спиртом с головы до ног и внутрь дал принять, а все еще не согреться.

— Как бы не так, — повторил капитан Варфоломеев. — Знаешь, почему Гвоздиков выйти не успел? Мотор сунулся выключать. Затони танк с работающим двигателем, что будет? Вода в цилиндры попадет — динамический удар. После этого мотор выбрасывай. Вот Гвоздиков и сунулся. Плохо мы, Борис Григорьевич, еще людей знаем. Я возле него третий год рядом, а не знал, что он детдомовский. Плесни-ка, Борис Григорьевич, еще рюмочку, не согреться мне.

В каюту заглянул лейтенант Пальмский.

— Товарищ майор! Можно вас на минутку?

— Посматривай за ним, Василий Егорович, — кивнул майор на лежащего солдата и выскочил на палубу.

От второй рюмки Варфоломеева слегка разморило. Тепло стало, уютно. За бортом, возле самого иллюминатора, плескались волны. На палубе слышались голоса, скрежет металла, звучно чвыкала воздушная помпа. Шли аварийно-спасательные работы по подъему затонувшей боевой машины.

— После армии-то куда думаешь, Гвоздиков? — спросил капитан Варфоломеев. — Молчи, молчи, я к тому говорю, что оставался бы ты здесь, в наших краях. Места красивые. Я скоро в «Сельхозтехнике» работать буду, в ремонтном цехе механиком. Давай ко мне в помощники, а? С Веркой у меня пока поживете, свадьбу справим, потом и насчет квартиры что-нибудь придумаем. А, Иван?

Гвоздиков прикрыл глаза и, кажется, задремал. Грудь его, прикрытая шинелью, вздымалась высоко и ровно.

Капитан Варфоломеев поудобнее устроился на лежаке, заложил руки за голову и вдруг хрипловато, тихо запел:

Бьется в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза.
И поет мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза. . .

А передовые танки тем временем достигли берега. Подминаемая под гусеницы пожухлые осенние камыши, с ревом карабкались они на крутой каменистый берег, сползали назад, рушились в воду, вновь ползли вперед. Те машины, что вышли, разворачивались и тросами помогали выходить остальным. Затем, на ходу выстраиваясь в колонну, танки помчались к проселочной дороге, зажатой невысокими лесными холмами.

Полк продолжал марш.

Валерий Мельников

РАБОТА

Работа —
Это молот, плуг и скрипка,
Обуховой усталая улыбка,
Рыбацкий невод,
Почта в край ненецкий,
Искусство ослепительной Плисецкой.

Работа —
Строчки нервные в тетради,
Работа —
Жить во имя, а не ради!
И цель любого звездного полета —
Во имя человечества
Работа!

ГОД РОЖДЕНИЯ

Жизнь без фугасок и без риска
Казалась нереальным сном.
А немцы около Урицка,
И метроном, и метроном. . .
И мой отец, типично штатский,
А не военный человек,

Уже лежит в могиле братской,
А на могиле алый снег.
И я вот-вот уже рождаюсь,
В районе тех печальных мест,
Где в Пушкина стрелял Дантес,
Блестящий молодой мерзавец.

* * *

Подарите мне озеро,
лес,
Золотистую гроздь винограда,
Только скуку осенних небес
Не дарите,
прошу вас,
не надо.

Подарите полет журавлей,
Алый факел рябины из сада,
Только скуку осенних дождей
Не дарите,
прошу вас,
не надо.

Подарите мне тайны свои.
Тайна — это почти что баллада.
Только скуку осенней любви
Не дарите,
прошу вас,
не надо.

Анатолий Белов

ЕГОР ЗАРЕЧНЫЙ

Текла река от дальнего пригорка.
В реке ловились щуки на живца.
А у реки в избушке жил Егорка,
Белоголовый внучек кузнеца.

Он на реке с восхода до заката
Рыбачил, не пугаясь глубины.
И часто деревенские ребята
Ему с другой кричали стороны:

— Егор заречный,
Сверчок запечный! . .

А годы шли, река текла, и скоро,
Когда цвели ромашки на лугу,
Приметили заречного Егора
На противоположном берегу.

И парни расходились удрученно,
Поняв, что не помогут кулаки.
А самая красивая девчонка
Егору говорила у реки:

— Егор заречный,
Дружок сердечный. . .

На свадьбе до утра кричали: «Горько!»
И вся деревня пьяною была.
Но вот и боевая гимнастерка
На плечи на Егоровы легла.

И много было споров-разговоров,
И снова были слезы солоны,
Когда Егор Егорович Егоров
Вернулся, весь израненный, с войны.

— Егор заречный,
Солдат увечный. . .

Течет река. Вдали стучит моторка.
И кажется, что лету нет конца.
А у реки другой живет Егорка,
Во всем пока похожий на отца.

Он на реке с восхода до заката
Бросает серебрястую блесну.
И снова деревенские ребята
Июльскую пугают тишину:

— Егор заречный,
Сверчок запечный! . .

ЗЕМЛИ ВЕСЕННИЕ ЗАБОТЫ

Апрельским утром,
Напыля
На всю деревню,
Друг за другом
Машины вышли на поля —
И лопнула земля под плугом.
И под напором
Подалась,
И поняла уже навеки,
Что над ее судьбою власть —
В неугомном человеке.

И еще лучше поняла,
Что быть землей
Совсем не плохо,
Что силы влаги и тепла —
Не только для чертополоха.
И догадалась,
Что сама
На этот раз
Проснулась раньше,
Что отступившая зима
Еще мечтает о реванше.
И с человеком заодно
(О нем подумав:
«Ну и глуп же!»)
Еще незрячее зерно
Запрятала в себя поглубже.
«Природу торопить не надо.
Ты лучше варежки надень...»
Но ожидает снегопада
Продрогший сад не первый день.
Гляжу на ясени и липы,
Надвинув шапку до бровей,
И слышу скрипы (может, всхлипы?)
Стволов бескровных и ветвей.
Какая все-таки досада.
Ее ничем не притупить.
Но снова слышу я: «Не надо
Природу торопить...»

СЕЛИГЕР ПРИВЕЧАЕТ ОПЯТЬ...

Ничего в этом
вроде зазорного,
Ничего необычного нет:
Из родимого края озерного
Я уехал за многими вслед.
И меня,
до сих пор не уставшего
Раньше летнего солнца вставать,

Вот сошли
на сырую траву.
Громко стукнула
в лодке уключина:
Перевозчику
в ночь отплывать...
Сколько раз,
ожиданьем измучена,
Нас встречала
у берега мать!
Сколько раз,
если отпуск окончится,
Долголетней
привычке верна,
Далеко-далеко
за околицу
Снова нас
проводжала она!
Вот и нынче:
на письма ответила,
Обещала: «Медком помогу»,
Ожидала,
да так и не встретила
В этот час
на родном берегу.
Думал я,
что нигде не уместится
Это горе,
не только мое,
И не верил,
что с августа месяца
Стонет бор
над могилой ее.
Только помнит
погост Троеручица
Не одну запоздалую речь.
...Может, завтра
другие научатся
Материнское сердце беречь.

Анатолий Конгро

НЕТ, МЫ ТАКИМИ НЕ БЫЛИ

РАССКАЗ

Сегодня ППР ткацкого, что в переводе на человеческий означает — планово-предупредительный ремонт. Мне нравится такая работа своей неспешностью, гулкой тишиной в цехе, где обычно грохот, гомон, суета, свист, лязг, визг. Кажется, что станки и те отдыхают, остужают свои подшипники, прислушиваясь к перегретым местам, к усталости стальных втулок, к хворым деталям. Если раньше все моторы были для меня на одно лицо — железом, которое все терпит, — то нынче с первого взгляда ясен и характер, и здоровье мотора. Включится с мягким шелестом, гудит мощно, ровно — молодец, здоров. Если слышен клеток, значит, подшипники съели смазку и пора их кормить тавотом. Вплетается в эту гамму хруст — дело плохо, срочно меняй подшипник. И знаешь заранее, что стоит покачать вал, он отзовется сухим характерным стуком. Раньше мне ничего не стоило «исправить» такой мотор молотком: дать пару раз по валу, он осядет плотнее — и весь ППР. А теперь не мог я молотком, руки не поднимаются; хоть всю смену провозишься с одним мотором и заработаешь рубль двадцать. Это как повезет.



Сегодня мне хотелось попасть на станки, где работает Нинка, но как? Позади осталось полцеха, бригадир выделил станки Шуру, Павлову, Капустину... Впереди две группы станков и нас двое: Кряхтунов и я. И тут Кряхтунов сам повернул к другой группе. «Я вот эти возьму, — объявил он, — а Сергей пусть берет другие». Бригадир нахмурился. Кряхтунов объяснил: мол, старость не радость, глаза не те, хочется ближе к свету, к окнам. И добавил, вроде бы спохватившись: «Если наш молодой коллега не возражает». Я, конечно, не возражал. Кряхтунов успокоенно покивал: почему-то он так и думал. Бригадир посмотрел на него, на станки, ничего не понял и пошел прочь из цеха.

Была у меня традиционная цель: в понедельник утром увидеть Нинку. А для этого один из моторов следовало так «исправить», чтоб без монтера его не включить. «Кто делал ППР на станке девяносто семь? — грозно спросит бригадир в понедельник утром. — Пусть сам свои недоделки исправит!» И я пойду виновато и скромно исправлять свои недоделки. И вроде случайно — официально пять минут пообщаюсь с Нинкой. Так я думал, а руки сами собой крутили гайки с первого фланца. Тишина в огромном цеху, тишина... Никого не видно, как в огромном железном лесу. Изредка звякнет далекий гаечный ключ Капустина или Шура да на минутку глухо застелкает, застрекочет двигатель — пробный пуск.

Еще мне нравились эти воскресные будни тем, что здесь можно было побыть наедине с собой. Единственное, пожалуй, место, где это было возможно. Помечтать наедине с собой, о чем полагалось мечтать молодому рабочему на рабочем месте, но особенно о знакомых девушках.

И на этот раз все серьезные мысли перемешало легкое, веселое возбуждение. Вечером мы с Гошкой идем на танцы! Проблема сама решилась, без моего участия. Я не заметил даже, когда она успела решиться. То — быть или не быть, а тут сразу — быть. Правда, еще, может, совесть заговорит и отменит танцы, но втайне я понимал, что совести тоже интересно побывать на танцах. Не то Гошка завтра затынется сигаретой и с жутким самодовольством скажет: «Я вчера блондиночку два раза поцеловал». А ты стоишь, как дурак, изображаешь, будто тебе плевать на Гошкины достижения, или тоже совершь что-нибудь в этом роде... а на душе кошки скребут от личной неполноценности и зависти к великому другу.

Должен сказать, что нас с ним с мальчишеских лет связывала дружба-вражда, что называется здоровое соревнование. Мы подбивали друг друга на более или менее опасные затеи. Естественно, что наши родители меж собой не ладили, в гости не ходили и нарушали правило лишь затем, чтоб сказать: «Ваш сын портит нашего сына». После таких демаршей нам строго-настрого запрещали быть вместе. И посему дружба наша крепла день ото дня.

Но как люди разумные, хомо сапиенсы, встречаясь после очередного разноса, мы рассуждали с похвальной объективностью: портим ли мы друг друга? Гошка тыкал мне пальцем в грудь: «Это ты меня портишь?!» В смехе слышались обидные для моего самолюбия нотки. «А может, ты меня портишь?» — и я презрительно кривил губы.

Затем мысли наши обращались на вещи более возвышенные. На трубы, скажем. Трубы, сами по себе безвредные, таили некий вызов. Стальные цилиндры большого диаметра лежали длинной чередой вдоль тротуара. Дальше горбился мост. Мы любили разгоняться с его уклона на велосипедах в трубы. Не зря же их положили здесь! А соль заключалась в том, что голова оставалась целой, если нагнуться ниже руля.

Дух соперничества впитался в нас, пронизывал нашу сущность и бытие. Кто дальше прыгнет с забора... да что там! Даже безобидный спортивный инвентарь мы превращали в средства самоубийства: рапиры и ласты, подводные ружья, коньки и лыжи. Некоторые опасные предметы Гошке покупали только в пику моим родителям, а мои — никак не могли отстать. «Типичная психология обывателей, — говаривал Гошка, — не нам их воспитывать».

Очередную заветную вещь мы начинали канючить с сказками: «А Гошке собираются купить ролики», — так в просторечии именовались роликовые коньки. Мать тотчас возмущалась: «Неужели его родители не знают, зачем вашему брату хулигану роликовые коньки?!» — «Да чтоб гармонично развиваться, — вставляешь ты, — в школе — умом, после школы — физически. . .» — «Для того, чтоб шею себе сломать! — в сердцах говорит она. — На Приморском шоссе, своими глазами видела, ватага мальчишек караулит на повороте грузовики, шофер только притормозит, как из засады выскакивают оболтусы и крючками из проволоки цепляются, кто во что горазд, и вся шпана летит сломя голову за машиной. Этого ты не знал?»

Именно для этого и требовались ролики. Но гримасу на физиономии приходилось изображать невинную, вслух ужасаясь и даже порицая всю свою закадычную шпану. Мать приходила в замешательство и некоторое сомнение: вдруг она сама подсказала вредную мысль?..

И вот теперь оболтусы выросли, запросы тоже: цели стали иными. Но дух соперничества оставался прежним. Гошка уже целуется, а ты, как дурак, «ходишь» с Нинкой. И даже попыток не делаешь: она для этого слишком умная. В театр ходишь с ней, в музей... Она разговаривает с тобой на разные возвышенные темы, а ты что? — рраз — и в губы ее?! Дикость. «Идиот, — скажет она, — иди-от!» На месте провалишься от стыда. В другой город сбежишь или вовсе на край света.

Как-то раз мы попали под сильный дождь. Он хлестал в лицо, слепил глаза, и мы бежали, взявшись за руки. «Прищурься, глаза прищурь», — прокричал я. Она воскликнула: «Ой, и правда лучше!» — «Ресницы, значит, не только для красоты?» И мы, конечно, расхохотались. Так и губы. Для красоты, что ли? Целоваться? Я весь затрясся, как от озноба. Нет, не зря она подала документы в педагогический. У нее в крови это — жилы из человека тянутся.

Гошка прав: он давно молчаливо и гордо порицал нашу дружбу. Гошка ревновал. Это был проклятый треугольник, на котором столько писателей стали классиками. Я деликатно умалчивал, где был, с кем, когда исчезал без него. Он обиженно-гордо переносил измену. Он никогда не упоминал ее имени, я тоже. Словно никакой Нинки на свете не было. Он маялся в одиночестве. Только рассуждал туманно о «некоторых», которые бывают необходимы, а «те» околачиваются черт знает где!

А потом для Гошки открылись танцы.

Танцы — это возможность познакомиться с девушкой. Танцы — это возможность ее проводить и назначить свидание. Какие важные взрослые слова! «Я ту блондиночку поцеловал пару раз...» Бррр!

Я однажды «потерял лицо», спросил у друга: как он это проделывает практически? Гошка снизошел до моего зеленого, школьного, даже хуже — детсадовского уровня. Он толковал покровительственно и охотно, удерживаясь от презрения и насмешек только в память о школьной дружбе. Он приглашает

ее на танец, потом он снова приглашает ее на танец, потом она приглашает его. Это очень важный момент, чтоб она пригласила тоже. Затем он спрашивает разрешения проводить ее. Если она согласна, то все в порядке. У парадной он говорит: «Можно поцеловать вас?» И все. Так уж и все? . . . Притворяться, что мне все ясно, не было никакого резона, я все равно обнаружил свое ничтожество. За такую цену стоило добиваться инструктажной четкости. А если она промолчит? Или стесняется сказать «да» и отвечает «нет»? Что тогда? Гошка вспылит, я стусевался и больше такую социологию не проводил, притворялся ловеласом не хуже Гошки. Да был ли сам Гошка таким прожженным гусаром? Это могло бы излечить мое самолюбие, кое-что выяснить. . . если пойти сегодня на танцы. А Нинка? «Я буду сидеть зубрить, — сказала она вчера. — И ты сиди занимайся». Легко сказать «занимайся»! Я в школе все последние годы мечтал отдохнуть от занятий. Тем более, через год — в армию.

Нинка сказала «занимайся» просто для очистки своей личной совести. Сняла с себя ответственность за мои возможные проступки. «Я же говорила тебе — занимайся!» Ради этой формальной отговорки.

Так бродили во мне вперемешку мысли и голоса, лица и фразы, приходило понимание чего-то и недоумение от чего-то непонятного. Я, наверно, хмурился, улыбался, хмыкал. . . а руки делали свое дело. Ловко крутили ключом «четырнадцать на семнадцать», проверяли подшипник на люфт; аккуратно, крест-накрест, затягивали фланец гайками. Мотор включался с мягким нутряным гулом, я трогал костяшками пальцев кожух, как пробуют у больного лоб, вслушивался и выключал двигатель. Молодец. Следующий.

Раньше не было зловредней инструмента, чем гаечный ключ. Он норовил извернуться, зашибить палец и прицельно упасть на ногу. Теперь я научился работать хорошо. А делать что-либо хорошо — доставляло мне удовольствие.

К тому же расценки на нормы ППР не зависели от того, сколько и чего ты сделал: просто смазывал или разбирал, снимал, вез в мастерскую, резал резьбу. Было приятно, если очередной мотор хорош и здоров и весь ППР сводился к смазке. Появлялось азартное чувство везения. Вроде ты такой мастер, что управился скорее всех. Пока коллеги делают три, ты — пять. Есть резон пройтись гоголем, выкурить лишнюю сигарету, подначить друзей. Капустин огрызался: «Я бы ту обезьяну,

которая первая слезла с дерева и взяла в лапы гаечный ключ, убил на месте!» Он вез свой невезучий мотор в мастерскую и словно бы случайно проверял качество моей работы. То вал шатнет, то включит двигатель — и ухо востро! Не дай бог тебе что-то прошляпить. Тяп-ляп твое и твои подначки вспомнит сторицей. В ближайшие дни рта не даст раскрыть за твое мастерство-гусарство. И все зависит от твоего умения терпеть чужие остроты, не обижаться и смеяться над собой со всеми вместе. А твой наставник и лучший друг Кряхтунов — ждешь — отшутится за тебя. А он прикинется, лоб потрет и отмочит такое, что все от этих незамысловатых шариков-роликов покатываются. А тут еще бригадир войдет во время экзекуции над тобой, что-то поручит сделать. Капустин мигом вытарашится дурашливо — такая опрометчивость! Нашли кому поручать! Все добросовестно ужаснутся, у бригадира брови, конечно, вверх, но товарищи уже расходятся, и ты норовишь улизнуть первым. Есть, есть в наших воскресных буднях что-то от спорта, театра и азартных игр.

У душевых уже раздавался голос Капустина. Он стоял у дверей и балагурил с тремя девицами. Я их вроде бы знал, вроде нет. Они языкасто отшучивались, и оставили моего коллегу с полным ртом острот. Заметив меня, он небрежно встряхнулся и захлопнул наконец рот. Мы вместе вошли в предбанник. Сосновые выскобленные лавки пахли сыростью. Я скинул комбинезон, шаркнул ботинки в угол. Капустин возился рядом. Подмигнул в сторону стены. Стена была толстой, но если прислушаться, угадывался смех и говор. Я вдохнул полной грудью, потянулся, в голове хмельно закружилось.

В душевой было еще прохладно, шершавый пол щекотал пятки. Капустин крутил красный вентиль, из воронки брызнуло, она затряслась и засвистела струей раскаленного воздуха. Мы отпрянули, наслаждаясь огненным вихрем. Матово заволкло светильники, и туман, взбухая, клубясь пластами, скрадывал все вокруг. На коже выступили мурашки. И я поплыл в горячем тумане, заглядывая в мыльницы, на полки, — как назло, забыл мыло. Так я добрался до свежей дыры в стене — меняли, видно, трубу, — привстал на носки, надеясь хоть на паршивый обмылок... и остолбенел! Что-то розовое, блестящее, живое двигалось перед глазами. Обозначилось запрокинутое лицо, плавный изгиб бедра, мокрые пряди волос на пле-

чах. Почти у самых глаз вдруг протянулась рука с мочалкой, опустилась на спину, густо-красную, в хлопьях пены...

Я опомнился, когда мою голову потеснили вбок. В щеку упиралась мокрая щетина Капустина. Он присвистнул и опять отстранил меня. Теперь весь экран закрывал его нахальный затылок. Мне наконец удалось его потеснить, но в последний момент он заорал бессовестно в дырку:

— Эй, подруги, кому потереть спину?!

За стеной отчаянно взвизгнули, Капустин отпрянул в сторону. Мочалка вмазалась прямо ему в лицо. По скулам стекала пена. Он, чертыхаясь от рези в глазах, ощупью искал воду. За стеной злорадно хихикали.

— Верните нашу мочалку, — приказали из дырки, и там вроде сверкнул черный глаз.

Я метнулся вбок и впаялся в стену. На той стороне раздавалось бормотание и черный глаз сменился голубым. Вот позор, подумалось мне. В понедельник я — конченный человек. И пойду я на танцы или нет, уже значения не имеет.

— Вон мочалка лежит, — сказали из дырки, — у твоих ног. Нагнись и подай.

Я ужаснулся, заскреб лопатками по стене, мечтая вмяться в бетон. Капустин продолжал изрыгать невнятное, жалостливое, на просьбу не реагировал. Стремглав я кинулся на мочалку, просунул ее в дырку.

— Спасибо, — сказали мне. По пальцам скользнули пальцы. Дыра была уже черной, там просто-напросто выключили свет.

— Дурак, — сказал мне Капустин, наконец разлепив глаза, и пошел к выключателю: — Это им не кино.

Я врубил холодную, как лед, воду, но долго не замечал ее студености. В губах и концах пальцев тюкала кровь, пульс отдавался в горле, стоило глотнуть струящуюся по лицу воду. Казалось, тронь пальцем губы — из них брызнет кровь.

Я стоял под тугими струями, пока не околел. Рядом был Капустин, и надо было прикидываться, что мне хоп что. Благо свет не горел.

Кое-как мы домылись. Когда вышли, у Капустина хватило нахальства постучать в соседнюю дверь:

— Эй, подруги, с легким паром!

Молчание. Он слегка толкнул дверь. Никого. Пусто.

— Ты, это самое, не разглашай в бригаде про мочалку, — сказал Капустин, — а то засмеют... тебя.

И мы расстались у проходной.

Меня несколько раз передернуло от стыда. Я закрывал глаза, мотал головой и стучал кулаком о кулак. Единственное шкодливое утешение: есть чем похвастаться Гошке. Он — про губы, я — про спины. Он — как поцеловал блондинку два раза, я — как тер спины трем блондинкам. Очко в мою пользу...

Мы встретились часов в шесть. Я довольно бойко выдал свою басню. Я и сам понимал, насколько она фальшива. Но Гошка не выказал сомнений, это было бы дурным тоном. Я ведь его враки терплю и даже искренне реагирую где положено. Но он реагировать не стал, и это меня слегка задело. Он был полностью поглощен собой. Гошка был высок, строен, рыж, бледнолиц, с твердым мужским подбородком, прямым носом и точно очерченными губами. Чего же еще?! Но по его туманным намекам можно было понять, что кое-чем он поменялся бы со мной. Например, ресницами. «Они у тебя как у девушки». И не мог понять, что большего оскорбления не придумаешь и нарочно. Мне пришлось обрезать, укоротить ресницы, но они после этого вымахнули пуще прежнего и отравляли минуты, когда я смотрелся в зеркало.

Гошка очень долго и нудно причесывался. Долго выбирал галстук, из тех двух, которые у него имелись. Испытывал кремы, пудры и прочую парфюмерию своей матери, замазывая веснушки. Наконец он был готов, а я весь извелся.

Ах, танцы, танцы! Нет на вас поэта! Кто идет на танцы, чтоб танцевать, то есть двигать руками и ногами? Ты даешь в кассу рубль или полтинник за входной билет? Нет! За билет лотерейный. Так написано в тираже для тех, кто умеет читать меж строк. Спешите, спешите! Последний день, последний вечер!

Фойе. Сколько девушек! Они никого не видят, ничего не слышат. Они даже молчат. Они расчесывают волосы, чтоб дыбом или волной, они что-то подводят и рисуют, накладывают и снимают, трут и мажут... Они вне времени и пространства, не мешайте им. Потом они отпочковываются от зеркала, их уже не узнать. Они горды, нет, надменны. Прочь, смертные, с их пути!

Да я на пушенный выстрел не подойду ни к одной. Я боюсь. Пусть меня лучше утопят в проруби, мне легче сунуть пальцы в 380 вольт. Я убеждал себя: если сделать равнодушное лицо,

никто не догадается, что тебе — жуть. На какую-то минуту подействовало. Я глянул на Гошку. Он крепился. Он влек меня по мраморной лестнице на второй этаж, в толпу, в залы.

Лица, лица, лица... мельтешение, гомон, смех... зубы, глаза, прически... взгляды всех сортов — наивные, лукавые, случайные, нарочитые и нечаянные... шепот, ропот, говор, галдеж, гвалт и треп... У Гошки на лбу выступили бисерины пота.

— Пойдем на лестницу, перекурим, — сказал он.

Я кивнул с облегчением. Достойная мужчин причина ретироваться. Оркестр в стартовом состоянии продувал свои дудки, а певичка цапнула микрофон. Мы убрались вовремя. За нашими спинами взвыли гнусаво трубы, застонала невразумительно в микрофон певичка... Танцы начались!

— Надо бы это самое, — сказал Гошка и щелкнул себя по горлу. Еще одна достойная мужчин причина для отступления. Мы нашли «это самое». И минут пятнадцать наше самолюбие не страдало. Потом меня дернуло взглянуть на часы.

— Я одну блондиночку присмотрел, — сказал мой товарищ и поднялся из-за стола.

Я тоже вроде бы спохватился — мол, пока мы прохлаждаемся, там самых лучших девушек разберут. «Если еще не разобрали», — добавил с надеждой Гошка.

Мы вошли, как обычно, вовремя. Оркестр заканчивал звонкую, затейливую мелодию. К стенам и колоннам из центра зала расходились пары. И тут я увидел ее. Она стояла одна или с подругами, я не понял, но отличалась от них, и вообще от всех. Это была она. Та, которая мне нужна позарез! А минуту назад я об этом подозревал? Так оно и случается. Гошка, провокатор, подталкивал меня плечом: давай, давай! Я упирался малодушно... И вдруг она исчезла, кто-то ее пригласил... Проклятый идиот, трус! Нет, пригласили другую. Она еще одна... И я обнаружил, что шагаю через весь зал к ней. И выговариваю косноязычную формулу: «Мжнова рзш...», что должно означать: «Можно вас пригласить, разрешите?» И потерял сознание. Потому что не помню, как ступила она вперед, подала руку в руку, а другую положила на плечо. Ударила музыка, и на глазах почтеннейшей публики крепко обнялись двое совсем незнакомых юных людей.

Я, конечно, и раньше танцевал на всяких там школьных вечерах. Нинка держала левую руку обычно перед собой и тем удерживала меж нами просвет. Если я чуть крепче прижимал

ее, она укóризненно поднимала на меня глаза, а при повторной попытке отступала и уходила прочь. Все это происходило молча, вроде ничего такого и не случилось. Заподозрить меня в умысле — кощунство, а сказать об этом вслух — значит, признать вину официально. А потом известно: какая дружба с подобным типом! Она меня запугала...

А здесь... Господи, думал я, ей бы мраморной стоять в Эрмитаже, а она рядом, теплая и живая... ее колени, плечи, щека... висок касается моей щеки. И никто не орет: ха, глядите! Не ржал народ, занимался собственным делом.

Колени наши на секунду соединялись, век бы этому длиться, но оркестр-то дудел ритм, и ноги скользящим движением размыкались. Упруго и гибко прижималось тело — ну еще секунду! — оркестр продолжал свое злое дело и разводил нас.

Это очень забавно — наблюдать со стороны, как все молча производят работу танца. Иначе это не назовешь, как тяжелым, выматывающим трудом. Вместо веселых, живых парней — истуканы с потусторонними лицами. Да, на меня сейчас стоило полюбоваться со стороны!

И вдруг, как несчастье, пришло ощущение рук, которыми мы держались. Моя была горячая и мокрая, хоть отжмай кисть, так вспотела. От неловкости и страха за такое подлое естество вся чувственность отключилась мигом, и осталась — беда. Ей, наверно, противно держаться за мокрую ладонь. Я мучился: как изящнее отнять руку и вытереть об штаны?..

К счастью, оркестр смолк. И я тотчас сунул в карман нашкодившую руку. Пары все разлепились, двинулись, пошли, потекли от центра. Она слегка отстранилась, и я, сообразив, расслабил правую руку, которой обнимал ее. Мышцы плеча заныли. Вот бедняга, терпела весь танец такие тиски. Сердце бухало. Я весь был переполнен раскаленной кровью; она кидалась волной по телу, захлестывала голову. И мне то слепило глаза, то закладывало уши, то накаляло до жжения лицо. Она кивнула головкой, — дескать, спасибо за удовольствие, и пошла. Я было следом. Она лавировала в тесноте быстро. А я сталкивался со всеми, отставал. Да зван ли я?! Я замедлил бег. Мы даже словом не перемолвились. Как звать ее? Я отстал окончательно, конфузливо повернул вспять, на лестницу, искать дружка заклятого Гошку.

Из распахнутого окна лился холодный воздух. Я ослабил галстук и подставил туловище под холод, как перегретый мотор. Достал сигареты, пачка была расплющена.

— Ничего себе, обнял девушку! — Гошка кивнул на пачку. Протянул мне зажженную спичку. Я мотнул головой и поднес сигарету к щеке.

— Провожать пойдешь? — спросил друг.

Я пожал плечами. Провожать... Я даже лицо как следует не запомнил.

— Ты пригласишь ее еще раз. Это значит, что она тебе нравится. Потом она пригласит тебя. Значит, ты ей тоже понравился. Потом идешь ее провожать. А там, у подъезда, ты и спрашиваешь...

— Она меня не пригласит.

Гошка возмущенно фыркнул. Он не находил слов. Пришлось мне еще раз пожать плечами, но уже вроде от скромности, извинительно. Гошка оценил меня всего с головы до пят заправским взглядом.

— Конечно, ей бы парня постарше, лет девятнадцати-двадцати. И вообще, ты молодо выглядишь для своих лет... А ты хмурься, хмурься, пусть у тебя морщины будут.

Друг называется. «Молодо выглядишь!» Можно подумать, что сам не молодо. Утешил...

С тем и вернулись в зал.

Я ждал, чтобы оркестр набрал в дых воздуха и выдал что-нибудь модерновое. Это я умел. И не дай бог вальс! И снова внутри была жуть, и снова я понуждал себя действовать. Но уже хоть что-то соображал, если вспомнил, что не умею вальс. Я подобрался ближе, маскируясь за чьи-то спины. Иначе увидит — подойти надо, а о чем мычать? Или делать вид, что гуляешь вокруг нее? Глупо и смешотворно.

Задудели, загомонили трубы, рокотнул ударник, гитарно рывкнули струны... Вальс или нет? Уши прямо шевелились от напряжения. Вот двинулись приглашать те, которые все превзошли, которые поняли, что играют. Вот уже первая пара обнялась... И к ней тоже тип подбирается! Что играют: вальс или нет? Но все! Он уже тронул ее за локоть; они выбирают из толпы... Все! И, как назло, не вальс!

— Во дают! — сказал Гошка. — Из рук прямо девушку увели.

Весь зал кружился, плясал, выкомаривал. Разметались волосы вокруг голов, сверкали глаза и зубы. И в раже этого головоломного слалома раздавалось гиканье и звонкий визг.

У стен и колонн сидели и стояли девицы более скромные, обойденные вниманием, жертвы естественного отбора. Я по-

пятился в эту печальную компанию. На краю скамьи сидела тоненькая девчушка и синими глазками поймала мои глаза. Привстала с испуганным выражением, что если я не приглашу ее... Гошкина уважительная гримаса сказала, как высоко я поднялся в его мнении.

Мы с ней отработали танец чинно-мирно, в слаломном темпе. Она, под стать Нинке, устала левую руку перед собой и пресекала мои попытки крепче обнять ее. Не понимала просвещенного обращения. Эта девушка была как раз для меня. Я пойду ее провожать, и будем мы толковать о разных разностях, открытиях и закрытиях. А у парадного на вопрос: «Можно поцеловать вас?» — в глазах ее мелькнет подозрение, испуг — а не псих ли я?

— Молодая слишком, — определил знаток Гошка. — Пусть школу сначала кончит. Промокашка.

Я только махнул рукой. Нечаянная мысль о Нинке отравила мне этот танец. Но я столько уже натворил за вечер, что никакого возврата и прощения не мыслил. Забубенная моя голова! Оставалось вытворять дальше. И пропади все пропадом!

— «Дамское!» — объявил пресловутый номер затейник. Он продолжал профессионально весело бубнить в микрофон на длинном тонком шнуре и бегать по залу. Но звук пропал. Наверно, кто-то обрезал шнур. На подмостки выскользнула певичка, и мечтательный, рыдающий шлягер полился в зал. И признаться — он действовал, вроде в каждом из нас нажали кнопку со знаком «сентиментальность». Я было вырвался к своей даме сердца, но спохватился на полпути — «дамское». Сконфузился и назад. Срам!

— Гошка, как ты проваливаешься сквозь землю?

— Ты не проваливайся, ты стой. Я тебя спиной закрываю от той молоденькой «промокашки». И чего ты в ней нашел? Жди свою. Ты отвернись от всех, ты стой и со мной разговаривай вроде. Вроде нам наплевать. А не пригласят, наплевать, мы пойдем курить...

— Может, сейчас пойдем, Гошка, а?

— погоди ты! Стой... Вон моя блондинка идет. Сюда идет!..

Гошка расплылся на тридцать три зуба, глухой и бесчувственный к конфузу друга. Он обрел наконец блондинку. И других парней развыбирали быстро и деловито. А ее, моей пассив, след простыл. Я огляделся конспиративно, затравленно, никому и даром не нужный — куда бы сгинуть! Хоть бы та,

«промокашка», подобрала бедного идиота. Жутко ведь: никому не нужный! Предмет смотрин и естественного отбора. Курить, курить! Вместе с другими, которым «наплевать». И тут меня тронули за рукав. Она! Она рядом. Она ждет. Она смотрит. Слегка прищуривается. И ждет вопросительно. Она!

Затейник больше не вякал, куда-то скрылся, похоже манипулировал со светом люстр. Они медленно тускнели, и в полумраке проявились цветные гирлянды; пришел в движение так называемый хрустальный шарик над головой, тонкие прожекторные лучи ударили в его грани, и завьюжилась по стенам бесшумная метель бликов.

Девушка стояла передо мною, как сивка-бурка. «Влезешь в левое ухо Иванушкой-дурачком, а из правого вылезешь...» Нет, нет! Зарапортовался я, стоп.

Она стояла таинственной, загадочно-недоступной красавицей. И то, что я обнял ее, было чудом. Вот это да! И она прильнула с откровенным удовольствием — это было для меня открытием. Неужели обнять меня какое-то удовольствие? Разве ей тоже... Мы обнялись медленно и со вкусом, нежно и более откровенно, чем первый раз. Наши пальцы соединились, будто они давно знакомы и понимали друг друга. Стоило мне шевельнуть ладонью, ее ладонь тотчас откликнулась. Моя «нашкодившая» рука была теперь сухой и горячеей, и ее прохладные пальцы были приятны. Певичка нежно ныла и нашептывала в микрофон тарабарщину. И до смешного просто управляла нашими чувствами; кнопка, простая кнопка есть в нас.

Ноги опять, скользя, размыкались в танце. Мы на секунду продлевали касание и отрывались уже толчком, только-только успеть за ритмом. Чуть поодаль, покачиваясь на месте, переступали в танце Гошка и его блондинка. И морда у него была одурелая.

Следуя великим заветам Гошки, я пошел ее провожать. Я не спрашивал, далеко ли живет она, не думал — успею или нет на последний транспорт. Даже в голову не приходили эти взрослые мысли.

Мы долго ехали на автобусе, шли по гулким улицам... Город опустел. Препятствий для главной части заветов не было. Я отчаянно трусил и мысленно казнил себя. Вон показался угловой дом, у него я должен положить ей на плечо руку. Так наказывал Гошка. Если я этого не исполню — я хуже всякого последнего труса! Опять врать Гошке?!

Так вот взять да обнять на улице чужого человека. В зале — другое дело. Там все спятили коллективно. А это означает норму. Общая чокнутость есть всегда норма жизни для всякого-каждого, индивидуально не спятившего. И даже наоборот, он и будет казаться спятившим. А здесь... Вон он, дом, уже рядом. Воздвигается многоэтажной теменью. На третьем этаже свет последний и тень на окне. Кто-то ходит по комнате. Я оглядываюсь — свет погас. Значит, мы миновали и этот дом. Значит, хуже я всякого распоследнего труса.

Вон впереди поворот и трамвайные рельсы. Там. Клянусь! Обниму и все. Да что тут такого? Рраз — и все! Может, она замерзла...

А если на повороте не обниму, то пусть я буду хуже, хуже... и мне пришло в голову самое жуткое богохульство, им я завершил клятву: я ее обниму — или чтоб мне не соврать больше ни разу в жизни!

Нет, мы с ней говорили. Это я мысленно клял себя, а еще приходилось говорить. Вслух. Беседовать.

Она. Я случайно попала на танцы.

Я. Я тоже по случаю.

А поворот все ближе...

Она. Подруги уговорили, сказали, оркестр хороший.

Я. Я тоже поддался на уговоры, а то делать нечего.

А поворот почти рядом.

Она. Но я не жалею, и музыка была хорошая.

Я. А чего жалеть? Я тоже рад, что вы не жалеете.

Поворот! Вот он. Рраз!

Она. Я... вы... как вам певица понравилась?

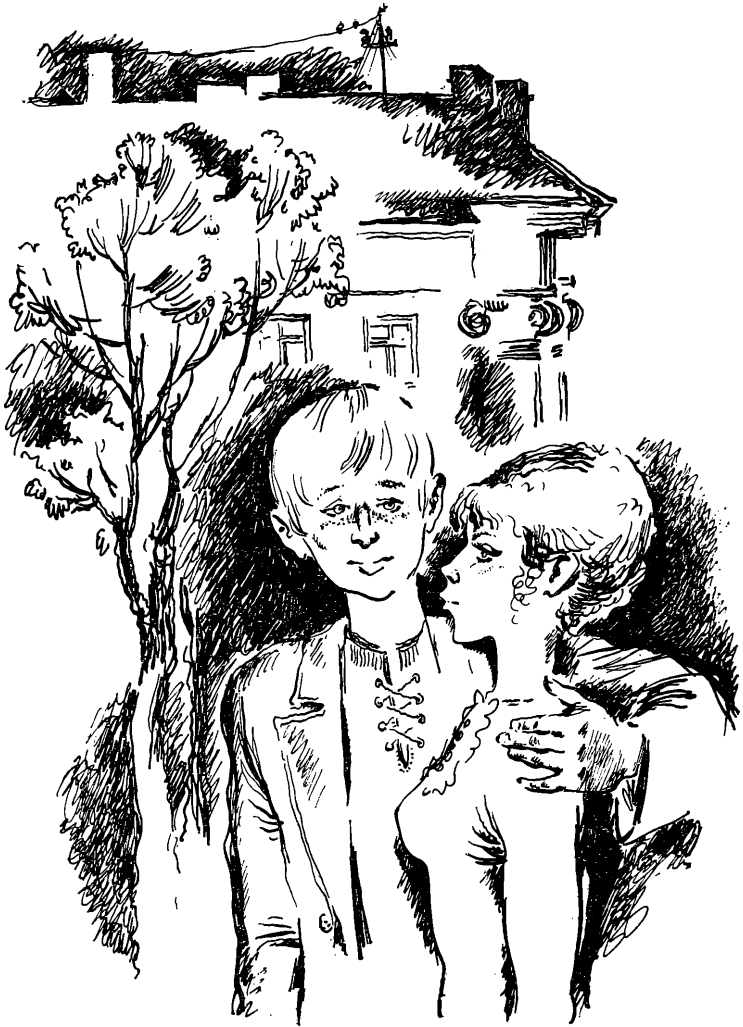
А рука уже на ее плече!

Я. Да... ага... певица, это самое, ничего хорошего, не очень красивая.

Она. Я говорю про песни, про голос ее...

Я. Ах, поет? Ну конечно! Поет она ничего, голосом поет...

Так мы беседовали остроумно, а идти до чего неудобно стало! Рука, как чужая, замлела, и шевельнуть боюсь, а то еще обратит внимание, что у нее на плече рука. Скинь, скажет, руку и прощай отсюда. А пока молчит. Наверное, из деликатности. Или думает, я обижусь, а ей по темным улицам одной топать. Страшно. Значит, я пользуюсь слабостью человека. Лучше самому снять. Да, пожалуй, сниму. Раз, два, три... Я сниму, а она что подумает? Подумает, что мне противно стало ее обнимать. Попрощаться, и все. Нет, оставляю. Вроде рука



не очень тяжелая, хотя стала как деревянная. Оставлю. Хоть бы скорей ее дом! Вот наказание.

В конце концов я исполнил великие Гошкины заветы. Промямлил: «Можно поцеловать вас?» Она смешалась (от удивления!) и сказала, как психу: «Ну кто же об этом спрашивает!»

А?! Каков друг! Спроси, говорит. Не спрашивают об этом! Откуда он взял, что спрашивают? Из богатого личного опыта? Или вычитал в Большой Советской Энциклопедии?

Я ляпнул куда-то губами, мимо... она в последний момент отвернула мордочку. Но официально можно было считать, что я поцеловал девушку.

Интересно бы взвесить человека в состоянии восторга. Наверняка он потянет килограммов на двадцать меньше. Отсюда ощущение полета, давно подмеченное теми же поэтами. В таком состоянии я шел домой по городу.

Мы назначили свидание завтра, поздно вечером, она работала во вторую смену.

Пришел я домой к утру. Жив и здоров, констатировала мать. Зря, значит, переживала. Она, кажется, не ложилась всю ночь. И дала понять, что в наказание «не разговаривает» со мной. Перед работой еще я успел поесть. Начинался тяжелый день — понедельник.

Как и было задумано, один станок не включался. Из ткацкого просили прислать монтера.

— Не пойду, — сказал я, — мне не сделать...

Бригадир послал Кряхтунова. Тот помедлил, собирая инструмент.

— Очень странно, — будто сам с собой рассуждал он, — почему не сделать! Почему «не пойду»? Не хочет... странно...

Он вернулся быстро, минут через пять. Словно невзначай, кинул на верстак щепку. Я густо покраснел. Не мог, дурак, умнее придумать, чем щепка между контактами.

В мастерской мы остались вдвоем. Остальные разошлись по заданиям. А у нас работа одна: монтировать пусковой щиток.

— Значит, ты познакомился потом с теми, из душа? — спросил Кряхтунов. Он сказал это игривым тоном, как и положено говорить о таких вещах. Но я уловил истинный смысл вопроса. Осуждение. Ему нравилась наша дружба с Нинкой. «Ах

болтун Капустин, ах болтун!» — мысленно застонал я, но лицом не выдал, как мне стыдно сейчас и тошно. Пожал плечами:

— Познакомился? С какой стати?

— Прошлый раз, помнится, тоже в понедельник, ты сам исправил поломку, а нынче мне пришлось... — и задержался глазами на щепке.

— Не видел я больше их. Был на танцах с другом.

— Выпили, как водится?..

Я кивнул.

— ...И подрались?

— Ну вот еще! С какой стати!

Он кивнул понимающе, словно знал остальное. Я хотел разозлиться, что он видит меня насквозь, нагрубить ему. Кряхтунов шуточно поднял руки:

— Замнем для ясности?

— Да, замнем.

И я усилием воли выгнал все мысли и чувства прочь. Занял голову схемой, руки — быстрым делом. Больше на эту тему мы с Кряхтуновым не говорили. Только в конце дня, когда сели перекурить, он изрек диковинное:

— Плохо не потому, что плохо, а потому что — плохо.

Я насторожился. Но самолюбия это вроде не задевало. Глаз его быстро мелькнул.

— Скромность, это хорошо или плохо? Взгляни на иную девицу. Юбка у нее до сих пор, ноги во всю длину голые...

— Считается, плохо, — насмешливо сказал я. — Старухи сидят на лавках и осуждают. От зависти.

— Это их дело, от зависти или нет. Но сама девица не понимает, что скромность хороша не потому, что отталкивает мужчину, а, наоборот, притягивает, дольше удерживает его. И скромность, она не против вашего, гм, секса, наоборот — за! Зря, что ли, накопилось у людей-человеков за долгий срок мудрое и простое: хорошо — плохо. Или подглядывать, скажем. Не фыркай. Парень ты молодой, заглянул куда не следует, кровь ударила в голову, и не успеешь опомниться, как натворишь такое, что потом всю жизнь расхлебывать. Дурное дело не хитрое. Невыгодно, стало быть, человеку подглядывать. Вот и страхуются люди испокон века: плохо, дескать, подглядывать. Плохо не потому, что плохо, а потому что — невыгодно для человека делать плохо. О выпивке я уж не говорю! Я не к тому, чтоб вовсе не пить.

А я вспоминал ее коленки, как обнимал ее. И сердце прямо застучало о ребра, отдаваясь в губы, словно исчезла с них кожа.

Плохо — хорошо... мне сейчас все равно. Думать... решать... Думают пальцы, которые разговаривали с ее пальцами. Решают губы, которые вспомнили ее губы. Решает тело, которое тоже само по себе. А разум? Уму тоже есть занятие: придумывать оправдание тем решениям, объяснять желания и мучиться совестью.

Обычно мы встречались с Нинкой за проходной. А как сегодня? Вот и новая «вилка»: да или нет? Утром я избежал встречи с ней, не пошел «исправлять» станок. Щепку принес Кряхтунов. Прятаться дальше? Да, да! Голову под крыло или в песок, а за отсутствием таковых — под верстак, за пазуху, заодно туда же и самолюбие, и возвышаться над галстуком мужественной и открытой бутафорией.

Хотя воздушных замков мы с ней не строили. О любви, кроме как Мастера к Маргарите, не говорили. Надо знать Нинку! Но чувствовал я себя препаршиво, будто всю ночь таскался в шкуре кота Бегемота, вальяжного и мерзопакостного животного.

Нинка вышла из проходной не одна, с подругами. И прошла было мимо, да я окликнул. Она кивнула очень естественно. Но что-то было не так. Я понял, что «не так»: подруги остановились поодаль. Ждали ее? Но обычно мы шли вдвоем... Дальнейшие наши реплики надо переводить, как морзянку и тарабарщину.

— Привет! (Это я. Мне не по себе, но хуже было бы не подойти.)

— Здравствуй. (Кому хуже? Если тебе, пожалуйста, говори.)

— Ну как дела? (Что толку говорить, ты все знаешь.)

— Да ничего. А у тебя? (Ты для себя сам выбрал.)

— Немного зашился утром. (Поверь, что зашился и забыл про секретную поломку твоего станка.)

— Да, бывает. (Могу оказать такую услугу: я поверила.)

— Куда сейчас? (Я не пойду с тобой сегодня...)

— Хочу пораньше домой, заниматься. (После всего, что ты натворил, я сама с тобой не пойду.)

— А чего вечером делать будешь?

— Не притворяйся! — сказала Нинка открытым текстом. Закусила губу, отвернулась и пошла к подругам.

И только тогда вся их стая снялась вдогонку за автобусом. Те вороны знали заранее, чем окончится наш разговор.

Тут и вышла моя совесть во вторую смену, сверхурочно. Перевыполнила, надо думать, план грызни человека. «Быть» — я выбрал в субботу. Быть на танцах — только и всего. И пошло, поехало... Автоматика, черт возьми!

Поздно вечером я вывел свой велосипед. Не идти же пешком обратно. Пусть предстоял далекий, через весь город. Я перевернул велосипед вверх колесами, отрегулировал цепь, подтянул гайки. При сем присутствовал Гошка.

— На свидание еду, — со значением сказал я. Исподтишка меня распирала какая-то шкодливая гордость. Совесть она не мешала. Совесть сама по себе, гордость сама по себе.

— Ты спрашивал: можно поцеловать вас?

— Кто же об этом спрашивает?! — отомстил я Гошке и вскочил в седло.

Меня не кусали слепни. Но по мне, как от слепней на лошадиной шкуре, пробегала дрожь.

Мы ехали с ней пустынными улицами к реке. «Боливар» вез двоих. Я тайно радовался, что открылось новое значение велосипеда. Она сидела на раме, я почти обнимал ее, вроде без всякой задней мысли. Рулить-то я должен! А когда крутишь педали, то одно, то другое колено касается ее ног. Если перестать крутить... Так мы несколько раз чуть не сверзились на-земь.

— Пошли пешком, — практично сказала она и соскользнула с рамы.

Это меня здорово огорчило. Попробуй теперь найти предлог, чтоб обнять ее! И еще «Боливар», проклятое железо, мешал. Ведешь его за руль — педаль больно бьет по ноге, толкаешь за седло — руль сламывается вбок.

Обнял я ее случайно, верное железо толкнуло под руку. Обнял и все, без всяких на то причин. И онемел, обалдел: она меня тоже обняла осторожно, легко, за шею. Потом крепче, сцепила руки за спиной, а я ее обнимал за плечи. И уже до хруста... И губы горячие, вздрагивающие... Не передать вкус девичьих губ.

Все это было ново и потрясающе. Гошка убедил меня отложить очередное свидание на пару дней, а потом снова сходить на танцы. Моя подруга легко согласилась: у нее тоже дела в субботу.

И мы с ней встретились... в субботу... на танцах. Стало до того стыдно, что мы «не узнали» друг друга. Вроде разные люди. А та, которая она, тот, который я, — в других местах, понятно, делают свои дела. Назначенное свидание отпало само собой. Она танцевала с другим, я провожал другую.

Умудренный опытом, я не спрашивал у другой наивных вещей. Там, у парадного, притянул к себе, но она отклонилась, скользнула из рук. И я подумал, что у Гошки сегодня будет на очко больше.

Гошка деловито переводил эмоции на язык цифр, вел спортивный счет: один-один, два-четыре, двенадцать-девять... Не знаю, как он, но я слегка «жилил», привирал очки в свою пользу.

Нинку я вспоминал редко и неохотно, как что-то из жизни номер один, заведомо невозможное в жизни номер два. Она, по слухам, поступила в свой драгоценный педагогический институт, а случайно в большом городе не встретишься. Иногда, чисто теоретически, возникал вопрос: как бы я, сегодняшней, отрицательный, повел себя с ней? И не знал ответа.

Я просто остолбенел, когда увидел Нинку на танцах. Мы столкнулись нос к носу. И раскланялись подчеркнуто светски. И рассмеялись. Тут ударили барабаны, заголосили трубы... Мы танцевали больше из вежливости, как двое старых знакомых, церемонно, на расстоянии. Как она? что она? с кем она?.. Как я? что? с кем? Я не помнил за собой вины. Столько воды утекло с детских, далеких лет! Месяца три, не меньше. Незаметно, но с удовольствием мы перешли на лично наш жаргон. Посмеялись над давнишними чувствами. Я взял покровительственный тон прожигателя жизни и ловеласа и предложил — великолепная какая мысль! — уйти с этих танцев, от лягга и грохота, побродить, потрепаться... Что давно потеряно, второй раз не потеряешь. Поэтому я ее не боялся. И она, недоτροга Нинка, терпела такое пренебрежение! Подчинялась вульгарному тону и обращению. Она ли это? Ей чуть ли не импонировали мои взятые напрокат манеры. Безропотна: да, уйдем... не каждый день встречаешь школьного друга...

Мы шли вдоль реки. Иногда она обгоняла меня, чтоб подбросить камешек, сорвать лист. Загорелые, высоко обнажались ноги. Я отводил глаза. Раньше надо было смотреть! Облокотилась о парапет, кинуть лист в воду... Раньше надо было смотреть!

Я шутиливо обнял ее за плечи... Глаза вдруг стали у самых глаз... Она испуганно прынула, схватилась за лацканы пиджака и спрятала там лицо, прямо затаилась, сжалась вся у груди, стиснула руки, что-то прошептала невнятно. Вдруг я опомнился. Мне показалось, мне подумалось... нет, это было невозможно!

— Скажи, ты знала, что я буду на танцах? Знала, что увидимся? — Я хотел заглянуть ей в лицо, шевельнулся. Она как затрясется вся, да как втиснется в лацканы, в кулачки свои. Прямо меня тряхнуло. И откуда сила! Чтоб я понял и не смел шевелиться. Прошептала снова:

— Все и так понятно...

Так мы стояли молча часа три, не меньше. А прохожие обтекали нас стороной, и ни один ничего не сказал, не пошутил, ничего. Я очень боялся этого, из-за нее. Хотя никого не видел. Как ослеп.

Знаю только, что много людей гуляло по набережной до этого, вечер-то был погожий. Значит, и потом они не исчезли с лица земли, нет. Но я никого не видел.

Николай Курицын

ЛАДОГА

В борта, словно память, стучится вода
И плещет в посудину нашу.
Я помню: в Борисовой Гриве тогда
Нам дали перловую кашу.

А лето — как нынче, волна — как сейчас,
Но в трюме селедочно-смрадном
Полсотни раскрытых медлительных глаз
Блокадных детей Ленинграда.

И нас прижимало к холодным бортам,
Когда, позабыв о компасе,
По трассе бомбежки крутил капитан,
Как мастер на слаломной трассе.

А где-то за нами, уже среди тьмы,
Под черным разрывом фугаса,
На дно опускались такие, как мы,
Ребята из третьего класса.

А нам посчастливилось плакать и жить,
Пройти по немислимой бровке.
Мне б на воду эту цветы положить,
Какие несут к Пискаревке.

РОСА

В густом бору, где птичий гомон,
Где чуткий папоротник спит,
На листьях-блюдечках весомо
Роса прозрачная лежит.

Начав работу вместе с солнцем,
Напьется ею муравей.
Его студеные колодцы,
Смотри, ботинком не пролей.

* * *

Здесь все давно. Здесь все от сотворенья.
Здесь бортничает ветхий лесовик.
Здесь от недугов пользуют коренья,
Здесь не лицо у каждого, а лик.

Здесь тропы вьются медленно и длинно,
А скрип телег осел на косогор.
Здесь горяча забытая калина
И сок ее от древности прогорк.

ФОТОГРАФИИ

Я лишь недавно понял, как богат,
Особым нестареющим богатством:
Открою стол — со мной заговорят
На языке мальчишеского братства

Мои друзья далеких школьных лет,
Воспитанники карточной системы,
Носившие, как будто амулет,
Танкистские промасленные шлемы...

И зазвучат, приглушены слегка,
Их робкие ершистые фальцеты,

И, возвратясь тогдашними из Леты,
Ребята снова встанут по бокам.

Какая власть и сила вам даны,
Расплывшиеся, выцветшие знаки,
Чтоб возвратить из темной глубины
Уже отколосившиеся злаки,

Чтоб выпитое в юности вино
Опять могло дурманить и искриться,
Чтобы любовь, остывшая давно,
Вошла в квартиру, скрипнув половицей.

* * *

Нужны крутые повороты,
С которых пройденное видно,
С которых жизнь — как день короткий
И за пустые годы стыдно.

И видишь — сделанного мало,
А силы были и уменье.
Чего ж тебе недоставало?
Простого, трудного — терпенья.

День изо дня простой работы,
Чтоб руки под вечер ломило.
Нужны крутые повороты —
На них к тебе приходит сила.

Диана Куваева

МОЙ БРАТ АЛЬКА

ПОВЕСТЬ

Смотрю на брата своего: Олег Сергеич! Шофер! Высокий, красивый, на висках барашки! Хм! Кому, может, и Олег Сергеич, а мне просто — Алька. Ох и люблю же я его! Может, и не совсем такой вышел, как хотелось бы, но все равно люблю.

Алька. Как был в детстве Алька, так и остался. Недаром бок о бок целых двадцать лет прожили. Встанем, бывало, на лыжи — и в лес. Он вон куда убежит! Вернется: «Устала, сестренка?» Пройдет немного рядом и опять убежит: натура у него такая. Или летит с горы и прямо к самому обрыву. Ну, думаю, я у обрыва стою, сейчас ухнет. Даже сердце зайдется. А он — стоп, и встал с разворотом. Вот это искусство! Я после на ровном месте так пробовала, да так и не научилась...

Или плавать. Кто из поселка лучше и дальше всех плавал? Алька! Недаром мать еще в малом детстве по десять раз на день его из залива ремнем выгоняла. Мы на берегу залива тогда жили.

А уж если гитару в руки возьмет — заслушаешься! И все на слух, о нотах и понятия не имел. Нет, на двух струнах — это не то, он по всем правилам играл. Да сначала гитару-то настроит как следует и играет, играет... и поет. А чуть нота не туда полезла, вмиг подкрутит.

А пел! И я с ним пела под гитару, в два голоса пели. Мать послушает и прослезится. Мы в комнате, а она на кухне у плиты.

Да и работать любил — дай бог. На все руки, как говорят, от скуки. Это все потом, когда взрослеть стали. А раньше-то, во время войны...

1

ВОЙНА

Что началась война, Алька узнал на даче. Что такое война, он точно не знал, но догадывался, что это что-то плохое и страшное, потому что мама плакала, соседка тетя Вера крикнула через изгородь: «Война!» — и тоже плакала, а папа перестал поливать грядки, не ответил на очередное Алькино «почему» и сказал, что поедет в город, что «надо явиться». Мама сказала, что одного его не отпустит, и стала собираться в город.

А у электрички что делалось! Все торопились в город и плакали.

Прямо с вокзала папа куда-то ушел, а Алька с мамой и сестрой Зиной поехали домой. А когда папа вечером пришел и сказал: «Завтра!» — у мамы весь вечер все из рук выпадало. Папа сказал, что Алька теперь единственный мужчина и за мать и сестру ответственность на нем.

Назавтра, когда Алька проснулся, папы дома не было, а у мамы все опять из рук выпадало. У Альки тоже почему-то стало выпадать: сначала мыло, когда он умывался, а когда ел кашу — ложка.

Играть Алька не захотел, залез на стул у окна и стал ждать папу. Папа пришел после обеда военным, с красивым кожаным ремнем через плечо. Алька был в восторге, а мама легла на диван и заплакала. И Зина тоже. Глядя на них, и Алька заревел.

Папа хотел всех успокоить и сказал, что Алька-то мужчина, что «мы их скоро прогоним», поцеловал Альку и Зину с мамой и ушел... на фронт. Что это такое, Алька не знал, а маме было не до него, потому что «горе свалилось». Пришла соседка тетя Таня, гладила маму по спине и говорила, что не у нее одной, и жить-то надо. Мама наконец-то поняла и накормила Альку и Зину макаронами с маслом.

А однажды мамы не было дома, и Алька с Зиной вышли погулять в сквер. Вдруг загудел гудок, как у паровоза, и стал греметь гром, но дождя почему-то не было. Все люди куда-то побежали, а одна бабушка уронила сумочку и залезла под скамейку в сквере. Альке с Зиной стало смешно, и они расхохотались. Бабушка велела и им куда-нибудь спрятаться, потому что это бомбежка. Алька с Зиной тоже залезли под другую скамейку. Вдруг раздался гром, и у соседнего дома упала стена. Альке стало очень страшно, и он заревел. Потом стало тихо, и все вылезли из-под скамеек. Бабушка подняла сумочку, подошла к Альке с Зиной и спросила, из какого они дома. У нее очень тряслись руки и голова. Тут подбежала мама, сказала: «Боже мой, какой ужас!» — пощупала Алькины и Зинины руки и ноги, как будто они могли их потерять, и увела домой.

Дома они стали собираться в эвакуацию. Это что-то вроде дачи, потому что вещи складывали в сумки и чемоданы. Алька спросил, почему они едут не на дачу, а на какую-то эвакуацию, мама велела помолчать и сказала, что немцы близко. Алька ничего не понял, но замолчал.

Потом их посадили в поезд с настоящим паровозом и повезли. Поезд часто останавливался, все выбегали из вагонов и ложились в канаву, потому что были бомбежки. Кругом кричали и плакали. Алька с Зиной тоже плакали. Самолеты летали над самой Алькиной головой и трещали. Если бы они просто так летали — это было бы здорово. Потом, когда все встали из канавы и побежали в вагоны, некоторые остались лежать в канаве, и их закопали. А одного мальчика не закопали, потому что «может, выживет», и быстро понесли в вагон. Алька так испугался, что мама ему мерила температуру, заставляла есть порошки.

Потом бомбежек не стало, и дальше ехали спокойно, потому что «наконец-то кончился этот ад».

2

БЕЖЕНЦЫ

— Скоро, дядя Кузьма? — спросила мать, когда наконец выехали из леса и вдали показались избы.

— А вот щас мост-то переедем, и тут как тут. Вишь, вон избы? Но-но! — дед Кузьма покрутил вожжой и хлестнул ею

кобылу. Лошадь пошла быстрее. Мать шла рядом с телегой, придерживая узел с пожитками и ребятишек.

Алька порывался соскочить с телеги, но мать не пускала: босые ноги его за долгую дорогу были в синяках и ссадинах. Сандалии все изорвались, да и малы уже. Ведь второй месяц в дороге.

Переехали мостик и въехали в деревню.

— Беженцы, беженцы приехали! — Несколько чумазных ребятишек в сопровождении собак бежали за телегой.

— Каки они беженцы, пострелята? Не беженцы, а вакуированы с самого с Питеру! Цыц, голопузики!

Ребятишки и впрямь голопузики: лишь на двоих, что постарше, штаны, остальные, трех-четырёхлетние, голышом, и не понять, чего больше на них: грязи или загара.

— Ишь, пострелята! Присмотрю-то нет: старшие все на уборке, — проворчал добродушно дед Кузьма, — мужиков-то я да Гоша-дурачок на всю деревню, остальные на фронте.

— Да, и сюда, за тридевять земель, война дошла! — вздохнула мать.

Подъехали к маленькой, окошки с блюдечко, избенке, покрытой соломой. К избе пристройка — хлев на одну корову да пару овец. У входа в избу стоит старуха лет семидесяти в платке, холщовой кофте и такой же юбке, подпоясанной цветастым передником, на ногах старые подшитые валенки. Старуха пристально из-под руки смотрит на подъезжающую телегу.

— Тпру! Вот и мы. Встречай гостей, бабка Дуня! Председательша наказывала к тебе привезть, с Панькой договорено!

— Ну и то, мне што, раз с Панькой. Вот только воли мало: изба мала. Ну да мое место ночью на печи, днем на завалинке, а им с Панькой хватит.

Бабка Дуня отворила дверь, пропустила вперед постояльцев. С улицы ввалились прямо в избу: ни крыльца, ни сеней. На пол-избы печь, в противоположном углу красна — старый ткацкий станок с натянутой уже основой, здесь же, на деревянной, вдоль всей стены лавке, прялка. При входе, у стены, деревянная кровать, покрытая цветастым лоскутным одеялом, в углу кровати гора подушек. Посреди избы деревянный, ничем не покрытый стол. «Воли» и правда в избе маловато.

Алька хотел было проверить, что это за диковина — красна, но мать достала из узла полотенце, повела на речку умываться. Голопузики, дожидавшиеся у ворот, двинулись следом.

Вода в речке холодная, горная. Алька плескался и повизгивал. Дома бабушка Дуня поставила на стол крынку молока и каравай пшеничного хлеба: «Ешьте, родимые, изголодались, видно».

Столько молока и хлеба Алька давно не видел. В дороге мать на остановках меняла последнюю одежонку на продукты, но все равно голодали. Не думала, что и довезет ребят живыми.

Наевшись до отвала и на всякий случай сунув в карман кусок хлеба, Алька достал из узла игрушечный пистолет и вышел на улицу. Мальчишки еще не ушли, стояли у изгороди и ждали нового приятеля. Алька остановился у крыльца, стал заниматься своей игрушкой, притворившись, что не замечает любопытства мальчишек. Мальчишки подошли поближе и с завистью наблюдали за ним. Через минуту общий язык был найден и пистолет пошел по рукам. Алька жевал хлеб, давал по очереди откусывать голопузикам и рассказывал про войну.

Вечер. Вернулись с поля взрослые, мычали пригнанные с пастбища коровы, блеяли овцы. Загремели подошники, захлопали калитки. Ребятишки разбежались по домам, и Алька остался один. Разом навалившиеся новые впечатления и звуки так его утомили, что, едва войдя в избу и дойдя до лавки, Алька уснул.

3

СКАЗКИ БАБУШКИ ДУНИ

Так и жили они в избенке общей семьей: тетя Паня, баба Дуня и Алька с матерью и сестрой Зиной. Мама с тетей Паней уходили рано на работу: мужчин ведь нет — рабочих рук мало. Зина тоже уходила вместе с деревенскими школьниками собирать в поле колоски. Хлеб был очень нужен фронту, поэтому каждый колосок был дорог. Алька тоже просился на работу, но мама говорила, что он еще мал, «сам как колосок», и Алька оставался с бабушкой Дуней хозяйничать дома: варить щи, картошку, чтобы, «когда труженики-то придут, поить што было». Потом бабушка Дуня брала прялку, садилась на завалинку и рассказывала сказки про Змея Горыныча или

лешего. Приходили голопузики, не занятые на колосках, и тоже слушали.

— Ох-хо-хо! — прерывая сказку, вздыхала бабушка Дуня. — Что-то долго письма нет от мого Митеньки. Немцы проклятые, погибели на них нет — окаянных!

— А немцы кто? — спрашивал Алька. — Змеи Горынычи?

— Знамо — змеи, а кто ж они, коли горя столько от них — поганых!

Бабушка Дуня переставала прясть и вытирала концом платка глаза. Присмирившие ребятишки, тихо шмыгая носами, с жалостью смотрели на бабушку. А немцам бы Алька все три головы снес саблей, если бы был побольше и если бы его на фронт отпустили, чтобы горя от них не было!

— Ну, будет горевать-то, давайте дальше сказку слушать: слезами ить горю не поможешь, — говорила бабушка Дуня и гладила шершавой, ласковой рукой головы ребятишек.

Первого сентября Зина пошла в школу — небольшой серый домик с тремя большими окнами. Алька очень завидовал сестре и тоже просился в школу.

— Тебе еще подрасти надо, — сказала мама, — вот домой вернемся, когда война кончится, тогда и пойдешь, а пока играй.

Но наступили холода, и на улице много не поиграешь: морозы лютые, снегу выше головы, под самую крышу, а одежонка легкая, вся в заплатках. «Жильцов» прибавилось: в углу за кроватью теленок рыжий и овца с ягнятами. Ох и проказники эти ягнята! Стали подрастать — на месте не удержат: прыг туда, прыг сюда, то на кровать, то на лавку. Разбалуются и на стол норовят прыгнуть. Алька тоже прыгает и визжит от удовольствия. А то сядет рядом с тетей Паней и смотрит, как она ткет или прядет. Веретено в ее руках так и жужжит. Тетя Паня и Альке давала повертеть, но у него ничего не получалось.

Долгими зимними вечерами Алька с Зиной любили слушать сказки бабушки Дуни, заберутся к ней на печку и слушают, слушают. Ох и много же она сказок знала, каждый вечер новую рассказывала, и все предлинные! В избе темно, и Альке кажется, что ведьмы и лешие по углам трещат и по крыше ходят. Откуда баба Дуня столько сказок узнала? Мама го-

ворит, что, наверно, ей давно ее бабушка рассказывала, что это «устное творчество».

Иногда мама рассказывала сказки про царевну и золотого петушка, про царя Салтана и еще всякие истории. Алька слушал и засыпал, и что ему только не снилось тогда!

4

ДЕД КУЗЬМА

Когда мороз спадал, Алька с Зиной выходили на улицу, катались с ребятами с горки на доске или по дороге на самодельных деревянных коньках.

Иногда дед Кузьма сажал ребятшек в сани, укрывал овчиной и катал по деревне.

— Но-но-но! — понукал он свою старую рыжую лошадедку. — Тряхни-ка стариной, Рыжуха, а то вовсе обленилась, еле ноги волокешь. Рысью, рысью!

Кобыла, набравшись духу и несколько раз «тряхнув стариной», опять шла шагом.

— Да, — вздыхал дед Кузьма, — скотина-то тоже снашивается, как и человек. Всему свой черед. . . Ну как, Гришуха, — спросил он, помолчав, у одного из мальчишек, — от батьки письмо-то давно было?

— Давно. Мамка извелась вся, и мы извелись. А ну как убили? — ответил шестилетний Гришуха.

— Ты что мелешь? Жив твой батька! И матери так скажи. Ужо я сам скажу, как встречу. Ишь, выдумали: «Убили!» И письмо скоро будет! . . . А исть-то что есть? Вас ртов-то у матери вона сколь! . . . Ежели голодуете, пусть мать до председательши идет.

Дед Кузьма заботливо подоткнул овчину под ребячьи бока и хлестнул кнутом лошадь.

— Мои-то оба-два тоже воюют, так ить и мыслей нет, что не придут! Как же им не прийтить? Ох-хо-хо! . . . А письма тоже нет что-то, — сказал он грустно и остановил лошадь у правления колхоза. — Будет, наверно, ездить-то. Не измерзли? Вы, ребята, домой тикайте, а я в контору загляну, радио послушаю: как там дела на фронте.

Ребятишки тоже захотели «послушать радио» и домой не пошли.

— Мама говорила, что тоже придет известия слушать, — сказал Алька. — Я ее здесь подожду.

— Ну-ну! — согласился дед Кузьма и отослал ребят к печке «греть носы», а сам включил радио. Из серой, засиженной мухами тарелки вырвалась торжественная музыка.

Народу в правлении много: радио в деревне не у всех, поэтому слушать новости с фронта люди идут сюда.

Газеты и письма приходили тоже редко: до станции больше пятидесяти километров — каждый день туда-обратно не наездишься.

— Говорит Москва! Говорит Москва! От Советского Информбюро! Дорогие товарищи, нашими войсками под Сталинградом одержана крупная победа над немецкими захватчиками! . .

Дальше Алька ничего расслышать не мог: поднялся такой шум! Женщины смеялись и кричали, у кого уже получены похоронки — плакали навзрыд.

— Будет, бабы, будет реветь-то! Победа ить! — Дед Кузьма выморкался и убежденно сказал: — Недолог час, когда и вовсе наши немцу хвост прищемят! Мы ить поперво́й только отступку давали — сил накопляли. А теперь! Раз наш мужик осерчал, его не остановишь — до самого Берлину, логова ихнего, идтить будет, пока немца вовсе не пришибет! А там и наши мужики возвернутся!

— От мово-то ничего нет!

— Дожил бы сынушка-то до победы! — причитали наперебой женщины.

— А мой-то все! Николи не вернется! не видать родимому победы! — ревела одна из женщин навзрыд.

Ребятишки смотрели расширенными глазами на взрослых и не знали, что им делать: радоваться ли победе или реветь вместе с ними. Алька стоял у печки и жалел, что еще очень мал, чтобы идти на фронт и отомстить поганым немцам.

— Мама, мама, победа! — встретил он криком вошедшую в правление мать. — По радио сказали! Дедушка Кузьма говорит, что теперь наши до самого ихнего логова идти будут! А папа тоже, да?

— Где, какая победа? — спросила бледная мать, села на лавку рядом с дедом Кузьмой и заплакала: — Отец наш в блокадном Ленинграде, сынок, в госпитале раненный лежит.

— Да под Сталинградом немцев побили! Таперича все! Будет, господа хрицы, побаловали! А ты не реви: скоро и с Пи-

теру блокаду снимут!.. Пойду к председателю схожу, поговорить надо!

Дед Кузьма ушел.

Вскоре разошлись по домам и остальные колхозники.

...Однажды мама прибежала домой со слезами, но глаза ее сияли:

— Блокаду сняли! Прогнали немцев от Ленинграда! Значит, скоро война кончится — надо домой собираться!

Алька весь вечер расспрашивал мать, где папа, когда они поедут, а на следующий день сообщил своим приятелям, что они скоро уезжают, «вот мороз спадет», а то папа с фронта придет, а их дома нет, что мама «вся извелась и весны ждать не может».

Тетя Паня и дед Кузьма отговаривали ее, опасаясь, что мать ребят заморозит, но та, видно, и правда извелась.

Чуть морозы отступили, мать сложила в мешок пожитки, Алька простился с приятелями, оставил им на память пистолет. Из колхоза дали тулуп и деда Кузьму с лошастью.

— Ишь ты, как заприщичило, аж тепла не дожидаться! И вправду беженцы — бегут, на мороз глядя. Нет бы обождать, мороз-то ишо вон какой, ребята ить замерзнуть могут, — ворчал дед Кузьма. — Ну ить ладно: кажинная душа своо места просит.

Альку с Зиной посадили в сани, накрыли тулупом и повезли на станцию.

5

ПАРТИЗАНКА ТАНЯ

Поезд медленно подходил к станции.

— Бологое, Бологое! Дальше вагон не пойдет! — объявил пожилой военный с повязкой на рукаве. — Товарищи эвакуированные, вам придется здесь выйти и подождать в здании станции!

Мама собрала вещи в узел, одела Альку с Зиной, и они пошли на станцию.

Алька удивленно глазел по сторонам: так много вагонов он еще не видел. Все пути забиты составами: одни из них спешат на фронт, другие — в тыл. Из теплушек выглядывают раненые и нераненые бойцы и, улыбаясь Альке, суют ему кто сухарь, кто кусок сахара.

Вот и станция. Из растворенной двери вырвались наружу клубы пара, пахло теплом и печеной картошкой.

— Быстрее, быстрее дверь закрывайте, тепло выпустите! — торопит Альку и Зину мама.

В помещении полно народу, и все женщины с детьми. Посреди комнаты топится «буржуйка», которую окружили о чем-то спорящие ребяташки.

— Виктор, прекрати! Ты же большой: надо уступать младшим! — ругает пожилая женщина двенадцати-тринадцатилетнего парнишку.

— А что он мое место занял, пока я за картошкой ходил? — обиженно говорит Виктор.

Алька подошел к детям и заглянул за чье-то плечо. Железная печурка и труба облеплены пластиками картошки. Ребята отколупывают кто ножом, а кто лучинкой испекшуюся картошку и тут же съедают ее. На освободившееся место прилепляют сырые пластики. Алька проглотил слюну и подошел к матери.

— Я тоже хочу такой картошки, — прошептал он ей на ухо.

— Где же я тебе ее возьму? Ешь сухарь, — сказала мама. — Зина, я пойду узнаю, где можно карточки отovarить, а ты караул место, на улице не выходите.

Мама ушла, а Алька стал осматривать помещение. Он только сейчас заметил висевший на боковой стене большой плакат. На плакате девушка с коротко стриженными волосами, глаза ее широко открыты. Она старается ослабить руками затянувшую ее шею веревку и что-то кричит. На груди доска с какой-то надписью. Внизу плаката тоже надпись. Читать Алька не умел, поэтому не знал, что там написано.

— Зина, Зина, — дергает сестру за рукав Алька, — это кто?

— «Партизанка Таня», — читает Зина надпись на доске, — а внизу: «За меня отомстят! Смерть немецким оккупантам!» Наверно, немцы ее схватили и повесили. Она — герой!

Альке страшно и холодно — буржуйка плохо греет, — но он точно знает, что, когда вырастет, обязательно будет героем и отомстит за партизанку Таню.

Потом пришла мама и принесла хлеба и картошки. Алька, указав на плакат, спросил у нее, кто такая партизанка Таня.

— Это партизанка Зоя Космодемьянская, — объяснила мама, — ее еще в сорок первом году немцы схватили, когда она на разведку ходила, и долго били и пытали, чтобы она ска-

зала, где находятся партизаны, но Зоя не стала предателем, и ее повесили. Немцам она сказала, что ее зовут Таня.

Когда Алька лег спать на лавке, ему всю ночь снилось, как будто он в шапке со звездой скачет верхом на коне и бьет немцев саблём направо и налево, а с плаката на него смотрит партизанка Таня и кричит: «За меня отомстят! Смерть немецким оккупантам!»

— Алик, Алик, успокойся! — будит его мама, укутывая ему ноги стареньким одеялом.

Алька просыпается, испуганно смотрит на мать, потом отворачивается к стенке и снова засыпает.

6

НЕМЦЫ

Вернувшихся из эвакуации Альку с матерью и сестрой Зиной поселили в трех-четырёх километрах от города, в небольшом поселке.

Алькина мама работает почтальоном, она говорит, что почта — самое необходимое учреждение, что люди не должны быть оторваны и что это связь со всем миром. Как будто в подтверждение этого здание почты стояло целехонько, в то время как все дома вокруг превращены в развалины.

Мама в шутку говорит, что ее ежедневный пробег десять-пятнадцать километров: сначала бежит в город за почтой, потом разносит письма по поселкам, хотя народу в поселках мало — всего по десятку семей в каждом.

Как-то, уходя за письмами, она взяла Альку с собой. Шли быстро: мороз, а одежонка не ахти. Алька бежал вприпрыжку рядом с матерью и глазел по сторонам.

Вдоль поселка чернели трубы на месте сгоревших домов, часть домов уцелела, в них и жили приехавшие из эвакуации.

Дальше за поселком стояли воинские части, освободившие город. Часовые, поглядывая на Альку, улыбались и подмигивали. Алька в ответ тоже улыбался, пытался остановиться, но мать дергала за руку — торопила.

Потом шли по большому мосту мимо возвышавшейся над разбитым городом серой старинной крепости с толстыми стенами и малюсенькими окошками — бойницами называются. У входа в крепость тоже стоял часовой. Алька смотрел на него

с завистью и уважением: «Небось все ходы и выходы в крепости знает, все облазил. Вот бы мне туда! Но некогда, да и нельзя, наверно».

А в городе вообще сплошные развалины, ни одного дома целого, стоят одни коробки. Алька задирает голову, а на него в проемы окон смотрит небо.

Вот и почта. Мама получила пачку писем, в основном треугольники, посмотрела, нет ли от отца, испуганными глазами быстро пробежала написанное на четырехугольном конверте со штампом вместо обратного адреса, вздохнула. Опять похоронка. На этот раз соседке тете Клаве. И когда это кончится?

Каждый раз, когда ей на почте вручали такой конверт, мать бледнела: не отец ли? Потом, прочитав на конверте чужую фамилию, с облегчением вздохнула, но на сердце осталось горькое, тяжелое чувство.

Самое трудное — вручать эти конверты. Она иногда по нескольку дней носит их в сумке, от этого сумка кажется еще тяжелее. Как сегодня она отдаст этот конверт тете Клаве? У нее на фронте муж и два сына. Кто из них?

Обратно шли молча. Алька с тревогой поглядывал на мать: уж очень вид у нее расстроенный, бежал рядом, стараясь не отставать и боясь нарушить молчание.

Так прошли половину пути.

Вдруг Алька увидел колонну военных, но одежда на них была какая-то необычная, не такая, как у других военных, которых он видел: шинели какие-то не такие, на голове не то фуражки, не то шапки. У некоторых на шее шарфы намотаны или платки женские. В руках не винтовки, а ломы и лопаты. Рядом с колонной шли обыкновенные красноармейцы с винтовками.

Колонна остановилась у разрушенного дома, и военные стали долбить и разгребать мусор и обломки.

Алька рассматривал лица людей и даже идти стал медленнее. Некоторые из работающих искоса поглядывали на Альку и быстро отворачивались, а один улыбнулся и помахал рукой. Алька остановился, человек перестал долбить и сплющил нос пальцем, как будто он у Альки курносый. Алька тоже улыбнулся и показал язык.

Этот немой разговор прервала мама. Дернув Альку за руку, она с силой потащила его за собой:

— У, ироды! Из-за вас, окаянных, похоронки через день ношу, фрицы проклятые!

Так это были немцы! Пленные! Алька шел и оглядывался. Немец, который строил ему рожи, виновато, украдкой посмотрел на Альку и, ссутулившись, взялся за лопату.

Алька шел и удивлялся: немцы! Он думал, что они похожи на лешего или Змея Горыныча: папа ведь писал, что они скоро «добьют гадов», да и бабушка Дуня говорила, что они змеи, а они обыкновенные люди, особенно этот, который улыбался. Спросить обо всем этом у матери он не решался.

Придя домой, Алька позвал Зину в угол и, поглядывая на мать, шепотом рассказал ей о немцах. Четырехлетний Гена, внук тети Клавы, сидел за столом и мастерил что-то из спичек. Мама молча сидела у стола на табуретке и гладила его по голове, в руках у нее тети Клавина похоронка.

— Гена у вас?— спросила входя тетья Клава.

— У нас, — ответила, бледнея, мать и спрятала в карман похоронку. — Посиди, тетья Клава, чайку попьем.

Мать стала суетливо растапливать плиту, руки ее дрожали.

— Что с тобой, Аня? — спросила тетья Клава. — Что прячешь? Опять кому-нибудь горе принесла?.. Не мне ли?

Мать уронила полено, и слезы полились из ее глаз.

Тетья Клава сидела с бледным лицом у стола и не спускала с матери глаз.

— Не томи, Анна, скажи правду!— выдохнула она со стоном.

Мать молча вынула из кармана похоронку, положила ее на стол и вышла за дверь.

Тетья Клава распечатала конверт и, пробежав глазами извещение, закричала и упала головой на стол. Заплакал Гена.

Вбежала мама и стала ее успокаивать.

— Алик, уведи-ка Гену домой! — сказала мама.

Алька взял Гену за руку, и они вышли на улицу.

— Ты не реви, — успокаивал он маленького друга, вытирая ему кулаком глаза, — бабушка сейчас придет, а немцы совсем не обыкновенные, а злые! Ну и что ж, что они люди, — все равно злые и поганые! — Алька всхлипнул и пнул ногой щепку. — Они только притворяются обыкновенными, а сами... наших убивают!

ЛЫЖИ

— Мама, можно? — ныл Алька.

Мать сжалилась:

— Ну уж ладно, иди, нытик, только ненадолго, а то замерзнешь.

— Не, мама, я ненадолго, только по дороге туда и обратно.

Алька накинул ветхое, все в заплатках, пальтишко, нахлобучил солдатскую шапку — ее дал ему какой-то военный, вытащил из кладовки «трофейные» лыжи и вышел на улицу.

На улице вроде потеплело, мороз, лютовавший несколько дней кряду, сдался наконец, будто ему жалко стало Альку, который все эти дни сидел у окна, дул на стекло и потом, уставившись в растаявший глазок, рассматривал улицу и не мог дожидаться, когда мать отпустит его и он вволю накатается.

Все эти дни лыжи стояли в кладовке. По несколько раз в день Алька обтирал их варежкой, трогал крепления, примерял на кухне.

Ну и что же, что они взрослые, зато настоящие, коричневые, с загнутыми носами, не то что самодельные, которые он мастерил там, в эвакуации. Вот только крепления! Как ни прилаживал их Алька к своим стареньким подшитым валенкам, ничего не получалось. Даже материны галоши пробовал надевать на валенки, чтобы ноги больше казались. Натолкает в галоши тряпок и наденет, пока мать галоши не отняла.

Мама говорит, что перед войной у него были настоящие лыжи, по возрасту, и папа брал иногда трехлетнего Альку на лыжные прогулки.

Когда они заняли этот дом, вернувшись из эвакуации, Алька нашел лыжи на чердаке. С тех пор он еще ни разу не вставал на них: стояли большие морозы, и мать на улицу не пускала. Ну, а сегодня-то он накатается вдоволь. Вот только крепления! Как Алька ни старался привязать их веревками, все равно они были не по возрасту. А тут еще шапка — так и лезла на глаза! Наконец, привязав кое-как лыжи к валенкам, Алька ушел. Ушел и пропал.

Уже темнеет, а Альки все нет. Два часа, как ушел. Мать извелась вся, несколько раз на улицу выбегала. Нет Альки. Замерзнет где-нибудь, и зачем только отпустила! Только бы



живой вернулся! Накинув наскоро платок и фуфайку, мать вышла на улицу и побежала.

В поселке пусто, только в нескольких домах окошки светятся. Печные трубы на месте бывших домов зловеще напоминают о недавних боях.

Из-за поворота показалась черная точка. Алька!

— Мама, мама, а я дяденьке военному лыжи на хлеб променял! Ты не ругайся: я ждал, когда он хлеб вынесет!

Только сейчас мать заметила, что Алька шел не на лыжах, а пешком, в охалке две буханки черного хлеба, угол одной из них обкусан. Шапка съехала на глаза. Алька задрал голову, из-под шапки светились счастливые глаза:

— Он мне завтра обещал еще дать!

— Горе ты мое, кормилец ты мой! — Мать поправила ему шапку. — А как лыжи-то? На чем кататься-то будешь?

В глазах Альки на мгновенье показалась грусть, но, посмотрев на хлеб, он молча, с достоинством отдал его матери и, стараясь шагать пошире, деловито направился к дому.

8

РЫЖКА

— Ты что вертишься? А хлеб куда прячешь? Ну-ка, доедай за столом! — ругала мать Альку. Он делал вид, что доедает, а когда мать отворачивалась, опять совал что-нибудь в карман: то картофелину, то корку хлеба.

— Мама, Алька опять прячет, — ябедничала Зина. Алька показывал ей из-под стола кулак и, вылезая с невинным видом из-за стола, бежал на улицу. У него была тайна. В подвале соседнего, никем не заселенного дома жила собака. Рыжая, пушистая, как лиса. Алька назвал ее Рыжиком.

В первый раз увидел он Рыжика, когда тот осторожно вылез из дыры подвала и, пугливо озираясь, стал искать пищу. Подошел и к их дому, но, заметив Альку, который наблюдал за ним из-за угла, бросился наутек обратно в свое убежище. Как ни выманивал его из подвала Алька, Рыжик вылезать не хотел. Когда же Алька принес ему корочку хлеба, Рыжик сдался. Осторожно взял хлеб и забрался опять в подвал. С тех пор каждый раз Алька оставлял Рыжику часть своего скудного обеда: корку хлеба, сухарь или картофелину.

А Зина все-таки разгадала Алькину тайну.

— Мама, он собаке хлеб носит, в соседнем доме живёт, я сама видела.

— Я же свой ношу, а не твой, ябеда!

Зина показала Альке язык, а он дернул ее за косу.

— Ну-ка, уймись! — Мать щелкнула обоих по лбу. — Это еще что за новости? Какая собака? Я еле концы с концами свожу, чтобы вас-то прокормить, из сил выбилась, а он хлеб — собаке!

Алька засопел носом и опустил голову:

— Она ничья, в подвале живет.

— А какая красивая! Рыжая, как лиса, и совсем не злая, — встала Зина.

Мать, помолчав, сказала:

— А ну-ка, покажи своего нахлебника!

Алька повел мать к подвалу, но как ни звал Рыжика, тот не показывался. Мать заглянула в подвал, оттуда раздавались какие-то странные звуки, как будто кто-то скулил тоненьким голосом.

— Да у нее щенята! Ах ты, голубушка, нашла время! Тут самим-то впору прокормиться, а она...

С тех пор мать и Зина отдавали часть своего обеда Альке, тот собирал все в железную миску и нес Рыжику.

Вскоре из дыры в подвале стали вылезать и щенята, их было трое: два черных и один рыжий с белым пятном вокруг одного глаза. Когда щенок, глупо уставившись на Альку, лаял или урчал, Альке казалось, что он ему подмигивает — дескать, это я так, а ты внимания не обращай.

Потом все собачье семейство переселилось к Алькиному дому. Он смастерил будку — приспособил ящик из-под патронов, наложил в него всякого тряпья и перетащил туда щенят. Рыжка, как теперь стал звать собаку Алька, бежала рядом, беспокойно заглядывая ему в глаза.

Хотя трудно было прокормить такую ораву, но делать нечего: пока щенки сосали мать, никто из поселка их брать не хотел. Зато как весело было с ними Альке. Сядет Алька на крыльцо, строгают что-нибудь — а он всегда что-нибудь строгал или приколачивал: зимой через день коньки выстругивал, потом самокат мастерил, — а щенки рядом крутятся; то друг дружку треплют, то Альку за штанину тянут, вроде сказать хотят: хватит тебе пустяками заниматься, видишь, как нам весело. Особенно проказливым был Очкастый — так назвал

Алька рыжего щенка: спрячется за крыльцо, а оттуда незаметно подкрадется и хватъ Альку за штанину, потом отскочит и лаем заливается, играть зовет.

Рыжка лежит у будки и добрыми глазами смотрит на свое потомство. Альке почему-то кажется, что она в это время улыбается. Когда щенки подросли, двух черных отдали соседям, а Очкастого Алька себе оставил. Щенок так привязался к нему, что порой не знал, кому предпочтение отдать, матери или Альке. Лежит около матери, то за уши ее треплет, то на шею заберется, то за хвост тянет, а стоит Альке появиться — сразу к нему. Потом опять к матери, как будто прощения у нее просит за свое непостоянство.

Алька на самодельном самокате гоняет по поселку. Очкастый за ним, лаем заливается. Рыжка сидит на краю дороги, снисходительно посматривает: дескать, что с них возьмешь — дети!

9

ТАНК

Иногда Алька исчезал из дому на целый день. Ох и попадало ему за это. Здесь недавно были бои, и всюду валялись патроны, винтовки, осколки. Хоть и написано везде: «Мин нет», а чем черт не шутит, были же случаи, что подрывались.

Алька за поселком даже разбитый пулемет нашел. Полствола не было, рядом валялась часть пулеметной ленты, гильзы от патронов и еще какие-то железные предметы, названия которых он не знал. Алька притащил пулемет к дому, целый день тащил, из сил выбился, а мать взяла и выбросила его на помойку, сказала, чтобы у дома его не видела, потому что «и так сердце разрывается».

Больше свои находки Алька к дому не приносил, а складывал за сараем и целыми днями возился там со своими железками.

— Зина, поищи Альку, опять куда-то пропал.

— Да вон он за сараем, слышишь?

— Трра-та-та! Дзiiiи-и-и! Бах! Бах! — Это Алька «вел бой».

Как ни гоняла его мать от сарая, не успеет оглянуться, Алька опять там.

А однажды за поселком в лесу Алька обнаружил подбитый танк: сбоку большая пробоина, одна гусеница повреждена и

свалилась, крышка люка откинута. На башне было всего две буквы. Вторую-то Алька хорошо знал — это «а», а вот первую... Второе слово показалось ему знакомым. «Родин...» — прочитал Алька, а последнюю букву опять не знает. Читать Алька не умел, писать тоже не умел, но буквы кое-какие знал. Мама научила Альку писать слова: папа, мама, Зина, Москва, Родина. Он долго расспрашивал и не мог толком понять, что такое «Родина». Мать терпеливо объясняла:

— Вот папа, например, воюет с немцами за Родину, то есть за тебя, меня, за Зину, за лес наш и землю.

Алька забрался на танк и заглянул в люк, из танка пахло гарью и сыростью. Он хотел было влезть в люк, но не решился — страшновато, спрыгнул с танка и побежал домой.

— Мама, я танк нашел! Он наш!

— Опять новости! Может быть, и его к дому притащишь?

— А на нем «Родина» написано! — Алька еле переводил дух, глаза его сияли.

Мать помолчала.

— Ты видел за поселком братскую могилу? Там похоронены танкисты с этого танка и другие красноармейцы, которые поселок освобождали. Они вот за Родину-то бились, да все и погибли.

— Как Генин папа?

— Да, и Генин папа тоже.

Алька постоял, подождал, когда мать займется своим делом, и направился к братской могиле.

10

КОРМИЛЕЦ

Петр Орешкин служил поваром. Как в начале войны поставили на кухню, так и кухарил всю войну. Сначала было обиделся на такое назначение, потом обвык и понял, что должность у него наиважнейшая: в походе ли, во время передышки без повара войско — не войско, его накормить надо, тогда больше надежды на успех в любой боевой операции.

Уже май сорок пятого. Вот и война кончилась. А он, Петр Орешкин, со своей ротой застрял здесь, выбив врага с этого важного пункта на границе с одним из государств — бывшим союзником Гитлера, стережет эту границу как зеницу ока. Ну

и что же, что вместо автомата в руках у него поварешка, когда надо, он и автоматом поработать может. Эх, скорей бы демобилизоваться, поедет Петр Тимофеевич в свой родной колхоз на Псковщине и сядет снова на комбайн. Как-то там его Нюра с сыном Алешкой? Помешал в бачке щи, попробовал кашу, вытер пот со лба. Духота! Подошел к окошку, что выходило прямо на дорогу, приоткрыл — пусть ветром обдует. Прямо перед окошком стоял мальчик лет семи. Бледный, с большими карими, не по-детски серьезными глазами. По-видимому, запах кухни привлек голодного ребенка.

Увидев повара, мальчик повернулся и хотел уйти.

— А ну-ка, иди сюда! Ты чей, как здесь очутился?

Ближайший поселок, где жили гражданские, прибывшие из эвакуации, находился от воинской части в полутора километрах.

— Я из поселка, маму встречаю, она почтальонша, за письмами на почту ушла.

— А дома кто есть?

— Сестра Зина.

— Большая?

— Большая, девять лет!

— А ну, неси кастрюлю, каши наложу.

В глазах мальчика сверкнула радость, и лицо его сразу стало детски наивным и непосредственным. Он бросился бежать в сторону поселка, а через некоторое время явился с кастрюлей, к ушкам которой был привязан ремешок.

— Дяденька, а я маму-то прокараулил, она другой дорогой домой пришла, — доверчиво сказал мальчик.

— Ну-ну! На вот, корми своих... Наведывайся ко мне, у меня дома тоже такой пострел растет. Тебя как звать-то?

— Алька!

Мальчик ушел, а повар смотрел ему вслед, и такая жалость к нему и ненависть к фашистам поднялась в его душе, что он, скрипнув зубами, с яростью стал мешать поварешкой в кастрюле.

Алька приходил каждый день, рассказывал домашние новости, слушал рассказы дяди Пети про войну, что «фрицев добили в логове», что скоро откроют школу и «все пойдет своим чередом, как надо», брал за ремешок кастрюлю с едой и шел домой.

Орешкин так привык к нему, что, когда Алка однажды не пришел, он забеспокоился. Чего только не передумал: заболел,

наверно, а может, мать заболела, или уехали? Видеться с Алькой стало необходимостью. За четыре года войны он так истосковался по дому, по детскому голосу, что Алька стал ему вроде сына.

Через день Алька явился без кастрюли, в кулаке его был зажат черный сухарь, он грыз его. На голове красовалась офицерская фуражка с красной звездой.

— Дядя Петя, а у меня папа с войны вернулся! Без руки вот только... Много сухого пайка привез! Во! — Алька показал сухарь.

— Поздравляю! Повезло тебе, друг! А что без руки — это ничего: голова есть — без руки обойтись можно... Я уж забеспокоился, думал — ты заболел, что не приходишь.

— Не! Мама и папа спасибо велели сказать, и я тоже.

— На здоровье, сынок, а ты не забывай, заходи.

— Ладно.

Алька поправил сползавшую на глаза фуражку и направился к дому.

Орешкин долго смотрел вслед удалявшейся фигурке.

Галина Букалова

КАМЧАТКА

Ты была не моя, ты была не по мне,
Ты, Камчатка, — не Русь, да и только.
Как проснусь поутру — три вулкана в окне,
Три вулкана — на что мне их столько?

Здесь шумит океан да плывут корабли —
Все, что есть в океане земного.
Мне на самой черте, на обрыве земли
Было боязно, честное слово!

И подальше от края отпрянула я —
Потянулся кустарник вдоль тропки. . .
Но ни разу не слышала я соловья
В низкорослом каракуле сопки.

Здесь, куда ни пойдешь и на что ни смотри, —
Все чужое — и суша, и море. . .
А однажды, однажды меня изнутри
Обожгло и оплавило горе.

Покривилась любовь, обеспамятел дом,
И вся жизнь одичала нелепо,
И соленые щеки осенним дождем
Мне умыло камчатское небо.

Но проглянула синь, и подумала я,
Что смогу свое горе нести я:
Это небо — родное, Камчатка — моя,
Да и обе мы вместе — Россия.

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ

В темноте вскочила я:
Показалось мне сначала —
Под землей прошла змея,
На извивах закачала.

Стали чашки дребезжать,
Безделушки — вниз катиться...
Поздно из дому бежать,
Нет опоры — ухватиться.

Сотрясала дом беда,
Снизу в донце колотила,
Подбежала я тогда,
Сына на руки схватила,

И утихло все кругом.
Только стены чуть дрожали.
Мы друг друга, мы свой дом,
Мы всю землю удержали.

СТАРЫЙ ГОД

А когда отзвучали удары
И остались в минувшем году,
Елка вспыхнула, начали пары
Целоваться у всех на виду,

Все кругом поднялись, загалдели,
Протянули бокалы вперед, —
Я подумала вдруг: неужели,
Неужели пришел Новый год?

Как шагал он от самой Камчатки?
Я представить себе не могу
Тех незримых шагов отпечатки
На огромном российском снегу. . .

Новый прибыл. А где теперь старый,
Да и разве он нужен кому?
Вот сейчас — и стеклом, и гитарой
Навсегда отзвонят по нему.

Вот сейчас — подберу и осколки,
И немедля проступит из тьмы
Дом один — там, где книжные полки,
Там, где ты, там, где я, там, где мы.

Я гляжу на веселые лица
И сама улыбаюсь в ответ,
Старый год мой все длится и длится. . .
Ну а твой-то — прошел или нет?

ВОСПОМИНАНИЕ

Помню: густой, непродышный
Послеобеденный зной
Над мостовою булыжной
Белой навис тишиной.

И среди этого зноя,
В центре белесого сна,
Я, по-трехлетнему ноя,
Встала зачем-то одна.

Где они все? . . И тогда-то,
Вдруг, приближаясь ко мне,
Дикий разбег самоката
Зарокотал в тишине.

Ближе, грозней разрастался,
Рухнул — как падает дом!

С криком мальчишка промчался
На самокате своем.

И пролетел, и направил
Свой самокат в забытье.
Крик свой на память оставил, —
Имя оставил мое.

Помню, что после мне снова
Голову жгла тишина.
Помню, что двадцать второго
Так началась война.

БИОГРАФИЯ

Подробною анкеткою
Расспрашивать меня
Я вам не посоветую, —
Ни ночи в ней, ни дня,
Ни одного мгновения,
Когда жила вполне —
С ознобом вдохновения,
Бегущим по спине.

Хотите — все, что скажется,
На пункты разделю?
Была любимой (кажется).
Любила. И люблю.

Хотите — под вопросами
Впишу я о себе,
Что я ногами босыми
Ходила по судьбе.
Что вся-то биография
Моя невелика,
Но есть в ней география,
И люди, и века —
Туманы ленинградские,
Вздых мамы, взгляд сестры,
И дальние, сарматские,
Забытые костры. . .

Виктор Того

МИМОЛЕТНОСТЬ

Над суматохой пыльных улиц,
над повседневной суетой,
где, как в аварии, столкнулись
век каменный и золотой.
Над громким смехом, тихим плачем,
над «хиппи» и футбольным матчем,
над миром, где и смок, и стресс,
где слабый бог и в силе бес,
прокрался на неслышных лапах
давным-давно забытый запах...

Откуда?! По какому праву?
Из коих глубей и веков
пахнуло этим разнотравьем,
мотивом скошенных лугов?..

И вот плывет такая музыка!
Такая ласковая грусть.
Такая ясная и русская,
что я расплакаться боюсь...

И вспоминается далекое:
по пояс мокрая трава,
коса, звенящая и легкая,
и в потных струях голова.

А сзади давят, поддают!
Так вкус работы постигают
и радость жизни познают!

Спасибо, запах увяданья,
за этот дорогой привет.
За это мнимое свиданье
почти что через двадцать лет. . .

* * *

Лес горел осенним ярким пламенем,
как бывает только в октябре. . .
В воздухе неслышно листья плавали
и шурша скользили по коре.
Опускались в сети паутины,
связанной из ниточек стекла.
Опускались в темные стремнины,
где река спиральями текла.
Я бродил с ружьишкой, виды видевшим,
по полянам глухарей шугал.
Я, в лесу родившийся и выросший,
равнодушно по нему шагал. . .
Там, где речка образует пойму,
небо утонуло в глубине. . .
До сих пор то ощущение помню:
будто я парил в голубизне. . .
Зашептались листья возбужденно,
под ногами гулко затряслось —
к водопою, так непринужденно,
шел огромный горбоносый лось.
Он обнюхал воду. Приложился.
Заходил кадык туда-сюда.
Он с голодной жадностью напился,
и сочилась с губ его вода.

Владимир Кавторин

СОЗЕНКА, РЕКА ЛЕСНАЯ

РАССКАЗ

1

Время — штука непонятная. Иной раз дни так и мелькают. Крутишься, как белка в колесе. Кажется: полгода нажила, никак не меньше, а заглянешь в календарь — батюшки, все тот же тянется август или все тот же июль... А то и так: ничего не увидела, не услышала, через плечо, как говорится, не плюнула, а оглянешься — нет года, как и не было.

Давно ли Лизка в Уразово приехала, с Шестаковым говорила в конторе? У-у, давно! Полжизни прошло, ей-богу... А посчитаешь, и окажется, что было это всего два месяца назад. А что до совхоза было, так и вовсе не упомянуть уже.

Текла жизнь, как ручеек под горку, — ходко, весело... А тут в совхозе, в Новоселках этих, запнулась чего-то, потянулась через пень-колоду... Каждый день одно и то же: утренняя дойка, чистка, вечерняя дойка. Домой, к тетя Глаше придешь — темно уже, плечи ломит, пальцы гудят. Чего уж тут — ложишься спать, а с утра — все по новой идет... Всего радости, что выдастся днем часок свободный — идешь на речку посидеть. Сидишь на мостках, ноги свесишь, болтаешь тихонечко в прохладной воде, плечи тебе солнце пригревает — хорошо

так, дремотно. Стрекозы шуршат сухими крыльями... И тихо кругом, до того тихо, что мотор лодочный за три поворота слышать. Вот ведь и она, можно сказать, деревенская, а никогда такой тишины не слышала — точно тонешь в ней...

И сидишь вот так, вспоминаешь...

Зиму вспомнишь. Прошлой зимой ужас какие холода были. Вечером в школу на собрание пока добежишь, щеки побелеют... Варежкой их трешь. Все с морозу разгоряченные, шумные, а в класс войдут, заробеют и притихнут, сидят паиньками, только в кулаки хихикают. Все-таки как-никак само районное начальство пожаловало — второй секретарь комсомольский.

Прежде из района редко кто в школу к ним ездил. А этот — зачастил. За зиму сколько раз приезжал так вот, по вечерам, проводить среди них работу! И пока собирался народ, сидел себе он в углу, у голландки, отогревался — худенький такой, белобрысый очкарик.

Потом директорша вносила в класс фанерную трибунку, ставила ее на угол стола, объявляла собрание открытым и предоставляла ему слово. Он складывал свой шарф и варежки на стул и, направляясь к трибуне, словно бы ширел в плечах, становясь с каждым шагом выше и значительнее. Молодой бас его звучал неожиданно густо, и он уверенно объяснял им, что хлебороб — это самая романтическая профессия, что новые совхозы, создаваемые сейчас на базе самых отсталых колхозов района, ждут их, что на совхозных полях и фермах проходит передовой край и что долг каждого комсомольца...

Отходя от трибуны, он снова мельчал и становился долговым очкариком в подштопанном свитере.

На таких собраниях Лизка молча сидела в дальнем углу, вопросов не задавала, но слушала все очень внимательно.

Про романтику она понимала плохо. Романтика ей была ни к чему. Ей важно было другое. В аттестате у нее ожидалось сплошняком тройки, а даже Катька, у которой по математике были четверки, собиралась после школы податься на фабрику. Катьке, впрочем, хорошо. У нее на фабрике и отец и мать, и есть кому словечко за нее замолвить... А у Лизки — сколько ни заглядывай вперед, никаких таких радостных перспектив не намечалось... Да и что на той фабрике хорошего — один грохот.

А комсомольский секретарь, между прочим, когда отходил от трибуны, то на место шел не сразу. Задержавшись у другого угла стола, он будничным голосом добавлял, что совхозам

нужны не только доярки и механизаторы, но и специалисты и что через два года, когда они хорошо подготовятся. . .

Слова эти говорились как бы между прочим, но все понимали, что они-то и есть — самое главное. И в этих словах перед Лизкой вырисовывался четкий путь на ветврача или даже на экономиста. Нужно было только отработать два года. И стипендию тогда дадут не такую, как у всех, а совхозную — можно будет учиться без маминых десятков. Это тоже было очень заманчиво, так как оторвать даже одну десятку от шестидесяти нелегко. Лизка это знала.

В апреле Лизка решила и написала заявление.

Препятствие, правда, вышло неожиданное. Когда мать узнала про совхоз, да еще и не свой, а дальний, грянул скандал.

Мать стучала на кухне кастрюлями и кричала, что она не для того десять лет учила ее, идиотку, и вывозила на собственном мозольном горбу, чтобы ей коровьи хвосты крутить и навоз грести. . . Что Лизка круглая дура и не понимает, куда суется. Что у всех дети как дети, идут в институты или на фабрику, а у нее выродок несчастный. . .

Лизка сидела в комнате и слушала все это молча, не возражая. У них всегда так было: чем больше шумела мать, тем тяжелее, как свинцом, наливалась Лизка тихим упрямством. Как замолкнет, так и ни слова, пока мать не перебурлит и не помягчает. . .

— Ехай! — сказала наконец Анна Степановна, остывая. — Ехай! На свою голову едешь. . . Умней матери хочешь быть — ехай! Жив бы отец был. . . Мне-то что — баба с возу. . . Через месяц назад прибежишь — ехай!

И Лизка поехала.

2

Двадцатого июня был в школе последний экзамен, а первого июля она уже ехала в Уразово, к директору Уразовского совхоза. С собой у нее был маленький чемоданчик и клеенчатая сумочка, в которой лежало направление.

Ехала и боялась. Ей казалось, что кабинет у директора совхоза обязательно такой, как у Петра Алексеевича Бровцына в ихнем поселке, — большой, с полированным столом для заседаний, с тремя телефонами. . . Никак не могла представить, как это она войдет в такой кабинет, что скажет. . .

Но контора в Уразове была в обыкновенной большой избе, и кабинет, на который ей показали, был тесный, в одно окошко. В нем уже сидел, боком к столу, очевидно, как и она, ожидая директора, коренастый парень с лохматыми рыжими бровями, в рыжем дождевике.

— А Шестаков скоро будет? — спросила она.

— Скоро, — пообещал парень, приветливо улыбаясь.

Она уселась в уголок и, так как молчать, находясь с кем-нибудь вдвоем в комнате, неловко, стала рассказывать, что вот, мол, хотелось бы сегодня и устроиться, и потому-де, не дожидаясь автобуса, попросилась на попутку с удобрениями.

— С удобрениями? — подозрительно переспросил парень. — А куда же она шла?

— А туда... дальше, — не очень ловко пояснила Лизка.

— Ах, дальше... вечно у них дальше. — Он зло метнулся за директорский стол, защелкал тумблерами рации, закричал в микрофон, вызывая «Сельхозтехнику», спрашивал кого-то, багровея от злости, отчего это опять его надули, и обещал завтра же, не сойти ему с места, быть по этому поводу у Воронина.

Жилы на шее у него вздулись от крика, лицо стало ужасно некрасивым и как-то по-мальчишески обиженным и злым.

Наконец чей-то голос, прорвавшись сквозь треск и писк рации, клятвенно пообещал, что завтра все пять машин будут, и, буркнув: «Так-то лучше», парень отключил рацию. Посидел, остывая...

— Ну ладно, — сказал, — давай твое направление.

— Не, — сказала Лизка, — мне к директору.

Он посмотрел на нее удивленно.

— Так я и есть директор. Шестаков моя фамилия, — и, видя, что она все еще смотрит на него недоверчиво, раздраженно предложил: — Ну, хочешь, документ покажу?

Но она уже затрясла отрицательно головой и протянула ему паспорт и красные корочки «Комсомольской путевки». Он задумчиво покрутил в руках и то и другое, не раскрывая, но время от времени вскидывая на нее пристальный недоверчивый взгляд из-под мохнатых рыжих бровей.

— Корова у вас была? — неожиданно спросил он.

— Была.

— И ты ее доила?

— Ну?

— Ну и пойдешь дояркой.

— Не, — решительно сказала Лизка. — Мне в районе обещали, что обязательно лаборанткой. Так там и написано, вот откройте. . .

— А я что — не обещаю, что ли? Откроем лабораторию — пойдешь лаборанткой. А это временно, недельки две от силы. Понимаешь, — придвинулся он к ней, — у них там, в Новоселках, группа беспризорная. Раньше хоть по очереди доили, а теперь не хотят, бунтуют. . . Ты не сомневайся, — тут же добавил он, — мы туда старушку найдем. . .

— Не, — Лизка помотала головой, — не берете лаборанткой — назад поеду.

— Езжай! — сказал он зло. — Гоняй! Тоже мне комсомольцы-добровольцы, понимаешь! Небось, заявление еще пишете: прошу послать на передний край, а у самих на уме только что стипендии совхозные. На! Можешь ехать обратно! — чуть не криком выпалил он.

Но документы все же не в руки ей отдал, а положил на край стола. Подойти взять — было неловко, и Лизка продолжала сидеть на месте, понуро глядя в пол.

— На три недели предложил работу потяжелее — так сразу в кусты! — сказал Шестаков после паузы и уже помягче. — Лаборанткой ее, видите ли, прислали, да у нас самих эту лабораторию каждый божий день во как требуют! — И он так отчаянно схватил себя волосатой рукой за горло, что Лизке его даже жалко стало.

— Ну, так пойдешь или нет?

Она промолчала, и он заулыбался.

— Вот, смотри, — сказал, записывая что-то на листке бумаги, — смотри, мы и в приказе так запишем: временно, сроком на один месяц, с дальнейшим переводом в лаборантки. Идет?

3

Подойти корову — дело нехитрое. И потому, соглашаясь поработать эти несколько недель дояркой, Лизка никак не ожидала, что в первый же день ухайдакается. После вечерней дойки она не знала, что и с руками-то делать. Поужинала с трудом — пальцы плясали, и из ложки выплескивалось. . .

Недоев, пошла к себе в заднюю комнату, отделенную от остальной тетя Глашиной избы не доходящей до потолка перегородкой. Тут Лизка разделась и, со стоном влезая под про-

стыню, крепко закрыла глаза, чтобы как можно скорее хоть сном избыть гудевшую в руках муку.

— Слышь-ко, Лиз, что я еще тебе порасскажу, — остановилась у занавески, висевшей на двери, тетя Глаша, — слышь-ко?

Лизка не ответила.

— Умаялась деушка, — решила тетя Глаша. — И то сказать — без привычки. . . Без привычки оно конечно.

Она потушила лампу и ушла к себе — спать на холодной печке, и долго еще там по своей старушечьей привычке сама на себя ворчала, укладываясь на ночь.

А Лизка не спала, как ни силилась. И под грудь укладывала руки, и меж коленками пыталась их согреть, и трясла ими, протянув вверх над собой. . . Ничего не помогало! Руки гудели тяжелым телеграфным гудом, а чуть заснешь — так и привидишь их — огромными, налитыми водой, как тугие пухыри. . . Проснешься в страхе, пощупаешь — нет, ничего вроде, нормальные. . . Потрешь их, помнешь немного, и снова забота: куда бы их приткнуть, чтоб хоть с часок не мешали.

Под самое утро забылась на минутку — и тут же тетя Глаша тронула ее за плечо:

— Вставай, девонька, на ферму пора. . .

— Да провались она — ферма ваша! — с сердцем сказала Лизка.

Хозяйка потопталась над ней еще немного, не зная, видимо, что сказать.

— Так не пойдешь, что ли? . .

— Ну да, — сказала Лизка, — как же я не пойду, куда же это я денусь?

Попили холодного молока с хлебом и пошли.

Теть Глаша повела не улицей, не вчерашним путем, а ближайшей тропкой: вниз по косогору и потом вдоль речки.

Чуть светало. В садочках, меж домов и по-над сараями лежала тьма, но небо было уже ясной, почти дневной синевы, а верхушки леса за Созенкой наливались первой нежнейшей розовостью. . .

Подымался туман. Не такой, как в сентябре, конечно, не молочными плотными клубами, а так только — будто кто набросил на речку легкую прозрачную кисею, и эта кисея, шевелясь как живая, шла теперь вверх, прочь от притихшей, заленившейся к утру воды.

Тишина была... В их поселке у большой дороги и сроду такой тишины не бывало! Слышно было, как мягкая, невидимая глазу волна шлепала по днищу лодки у мостков, как пробегали в камышах по тому берегу маленькие кулички... Такая была тишина. А воздух был прохладен, чист, пропитан запахом мокрой осоки и сладостью цветущего клевера.

Они спустились со своего косогора, перешли по кладушкам заросший остролистником ручей, впадавший тут в Созенку, и поднялись на большой, крутолобый холм, наткнувшись на который, Созенка делала широкую петлю и разворачивалась почти что вспять... Так и текла она дальше, петляя между холмами, то образуя узкие, глубокие быстринки, то разливаясь широко, медленно и напрочь почти зарастая осокой и кувшинками. С этого холма путь ее не то чтобы был виден, но четко угадывался по темно-зеленым жирным разлужьям, по красноватым глинистым срезам крутого берега.

Да и вообще не так уж далеко было видно с этого места, но то, что увиделось, показалось Лизке таким вечным и бесконечным, как сама жизнь. Она остановилась, вздохнула несколько раз, набирая полную грудь душистого воздуха и медленно, с сожалением, выпуская его из себя. И как-то сразу почувствовала, что она очень молода, что впереди у нее непочатая еще жизнь, да и руки не так уж сильно болят, чтобы из-за одного этого чувствовать себя несчастной, как полчаса назад.

Она легко нагнала тетя Глашу, вошла с ней в длинный бревенчатый коровник и поздоровалась со всеми степенно, как взрослая.

— А, — приветствовал ее завфермой, — комсомол! Ну, понравилось тебе у нас работать?

— Век мечтала! — сердито сказала Лизка.

Вздохнув, она взяла ведро с теплой водой, скамеечку и пошла к своей группе...

Худо ли, бедно ли, а день был начат.

4

Ну, а раз начат день, то будет и кончен. Никуда от него не денешься, да и он от тебя — тоже. И работы твоей никто другой делать не станет. А сил не хватает, так давай тяни на одном упрямстве — ну и вытянешь!

Так вот и потекли ее дни в Новоселках, отмеченные разве что большой усталостью и малым разнообразием. Так и потекли. . .

Книги, припасенные, чтобы готовиться в институт, как положила она их в первый день, так и лежали себе аккуратной стопкой на краю стола. Придешь после утренней дойки, сядешь к столу заниматься, а глаза сами слипаются. Ну, и поспишь. . . Чего уж особо себя мучить? Да к тому же и временно все это: вот переведут в лаборантки — будет полегче, там и позанимаемся. . . Поспишь часок-полтора, теть Глаша управится по домашеству, войдет потихоньку, сядет в ногах на стул.

— Спишь, Лиза?

— Сплю, — скажешь, но все же к ней повернешься. — Чего, теть Глаша?

— Да спи! Спи. . . Я так. . .

И понимаешь, что просто поговорить старухе не терпится, ну а послушать — труд невелик.

— Наши-то офицеры, — начинает теть Глаша, смиренно сцепив на коленях руки, — им бы все только водку жрать. . . Совсем без понятия стали. Вчерась, слышь, велели коров на осоку гнать, а лизунца-то нет. . . А ить без соли она осоку жрать не станет. Она скотина, а не баба-дура какая, ее за сиськи дурником не потянешь, нет. . .

«Офицерами» теть Глаша зовет всякое начальство, от бригадира и выше, и все ее обиды на них и вовек не пересказать, верно. А то начнет теть Глаша рассказывать про довоенное богатство этих мест, да сколько было скота, да сколько навоза, да какие урожаи. . .

— А теперя — че? . . . Теперя деньги правильные платить стали, да мужиков, считай, все равно нет. Так только — на тракторах пацанва, да кто в офицерах. . . Ну а с бабы много ли спросу? Ей бы пошабашить скорее да до плиты своей дорваться, до носов своих сопливых. Нет, чего уж! Знамо дело: без мужика и баба не родит, а тут земля.

Говорит, говорит теть Глаша, душу всю выговаривает, потом спохватится:

— Ой, девонька, да вить на ферму пора!

Посмотришь на ходики: и правда пора. Всего-то и осталось времени, что щец похлебать. Щи у теть Глаши вкусные, молочком забеленные, яичком. . .

А на ферме тоже каждый день одно и то же, одно и то же. Летом скотника не полагается — значит, придешь, почистишь,

успела почистить — стадо пригнали. Обмывая, дои... Подошла — мой посуду. Помыла, выглянула во двор, а там уже и ночь, и звезды уже по небу высыпали... У других не в пример быстрее получалось. Иной раз до слез обидно: все разойдется, а у нее еще посуда не мыта, марля не стирается. Как все равно в школе с задачками — понятия не было, так одним только упрямством брала. А домой придешь с фермы:

— Ну что? — скажет тетя Глаша. — Разменяли день, и слава богу!

А на что они его разменяли?

Одно разнообразие, что завернет со своим мопедом на ферму Колька Мокшин. Раньше был он тут гость редкий, хоть и числился слесарем по механизации ферм. Так ведь ферм много — сыщи-ка на них Кольку...

Теперь зачастил. Каждый день во время вечерней дойки то автопоилки чинит, то еще что-нибудь. Бабы над ним смеются.

— Слышь, Лиз, — кричат, — ты не уходи от нас, пока он всей механике не починит, а? Вот жить-то зимой будем!..

— А че? — добавит другая. — Смотри не проворони! Чем Колька не жених? По две сотни гребет. Правда, не служил еще, да ведь их у нас как до армии не окрутишь, так потом и не найдешь...

Лизка на подначку не обижается. Только скучно все это! Она и сама не дура, видит... Но странный он уж очень — Колька. То сзади незаметно подойдет, как гаркнет, так иной раз даже обомрешь вся. Или на улице норовит на своем мопеде так промчатся, чтобы тебя из лужи грязной водой окатить... Хороша любовь, дальше некуда! У них в школе мальчишки до чего грубые были, а и те хоть в кино приглашали, что ли...

Дни тянулись вроде такие длинные, а месяц мелькнул — и не заметила даже. Четвертого августа было на ферме после утренней дойки собрание, подводили итоги, и Лизка неожиданно для себя вышла в передовики.

Завфермой, одноногий Фрол Матвеевич, хвалил ее очень за старательность и за самый большой прирост надоев и советовал другим держать равнение на их новый комсомольский маяк.

— Ну и маяк у нас! До того яркий, — крикнула из своего угла Евдокия Сергеевна, — так красным и полыхает!..

— Больно нужно, — сердито буркнула Лизка.

Все засмеялись.

Потом Фрол Матвеевич стал говорить, что очередная задача их небольшого, но сплоченного коллектива — это не допустить снижения надоев, не отступать от рубежей, взятых в июле. Задача трудная, но, соревнуясь с Глинниковской фермой, они должны...

— А как это можно не снижать? — удивилась Лизка. — Ведь это же от природы положено так, что коровы...

— Коровы — они глупые, про соревнование не понимают, — крикнула тетя Аня. — У них все от быка зависит...

Женщины засмеялись, а Лизка покраснела до ушей, но все-таки сказала еще, что и дома у них корова всегда в августе давала молока меньше, чем в июле, а в сентябре...

Фрол Матвеевич ужасно рассердился и ничего больше про надой не сказал, а только посоветовал Лизке, поскольку она зеленая еще и комсомолка, не брать примера с некоторых крикуний, потому что хоть у них коллектив в целом и здоровый, но крикуньи у них есть. Достаточно у них крикуний. А еще он должен сказать, что зимой будут выбраковывать старых коров, а взамен дадут им группу первотелок, и достанется эта группа той, кто будет лучше всех работать, а не больше всех кричать. Понятно это Лизке?

— А мне до них че? — сказала Лизка. — Я у вас временная, я все равно в лаборантки пойду.

Каждый день все собиралась она съездить напомнить Шестакову об их условии, да все не вырваться было никак на центральную усадьбу — некогда! Так все и тянулось, пока он сам не показался на ихней ферме.

— А, — сказал он, увидев Лизку, — комсомольцы-добровольцы! Наше почтение смене! Наслышан о твоих трудовых подвигах, и о язычке твоём наслышан, и, поверь, рад за тебя! Правильно ты Фрола отбрила. Надо дело делать, а не фразы говорить!

— Чем за меня радоваться, — нахально от смущения сказала Лизка, — лучше бы замену нашли мне. А то ведь на курсы надо уже ехать!

— Ну, положим, ехать еще не завтра, успеем! Чего ты волнуешься, — засмеялся он, — боишься, обману?

— Не, не боюсь.

Ехать действительно было не завтра, а через четыре дня, но замену Лизке не нашли и попросили задержаться еще на недельку — догонит, мол, курсы... А потом она вдруг стороной узнала, что на курсы лаборанток человека уже послали —

из Уразова поехала туда Катька Максимова, дочь совхозного главбуха.

Лизка хотела ругаться, брать расчет, даже поплакала от обиды в подушку... Но, поплавав, вышла к речке посидеть на мостках. Солнце ласково ее пригрело, высушило слезы... И Лизка неожиданно для себя подумала, что не так уж ей и хотелось на эти курсы. А подумав, она махнула рукой и никуда не пошла ругаться.

5

А дни становились все короче и прохладней и, может быть потому, мелькали все незаметнее...

В одну из ночей налетел холодный северный ветер и зазолотил на березах вдоль улицы первые прядки. И утром, как ни спешили люди, а все же останавливались, разглядывали из-под руки лес за речкой, налившиеся тяжелой краснотой гроздья рябины и осинки, что пылали уже то тут, то там как тоненькие свечи... Стояли, думали, а поди пойми со стороны, о чем человек думает: о том, где ему достать свежей дранки на крышу, или о быстротечности времени и жизни? Или о том и другом разом?

А потом дни снова пошли тихие, теплые, ласковые... Только блестящие паутинки лениво летели на юг, покачиваясь в прозрачном воздухе, да по вечерам подымались от реки плотные туманы. В густеющих сумерках туман, медленно клубясь, переполнял речную низинку, всплывал над берегами, и если выбежишь в это время из фермы на минуточку, то остановишься невольно и видишь, как далеко-далеко петляет меж холмов молочная речка в синеватых сумеречных берегах. И просторно-то как тогда, господи!

И на ферме тоже начались перемены... Еще в июле в Глинниках срубили три двухквартирных дома. В газете еще тогда Шестакова ругали, что вот, мол, ремонт зерносушилок у него не закончен, а плотницкая бригада занимается черт те чем, какими-то домами, в которых неизвестно еще кто и когда поселится.

Но квартиры пустыми не застоялись. Шестаков сам куда-то ездил и привез жильцов, не по-здешнему шумных и многословных, но ничего, работающих. Мужики все были трактористы, а бабы так — по разности. Одну из новеньких и определили под-

менной дояркой сразу на две фермы: к ним, в Новоселки, и в Глинники, и стали им раз в две недели давать выходной.

Сам Шестаков прикатил на ферму сообщить об этой новости: веселый пришел, суетливый. Все потирал руки и говорил, — то ли, мол, еще будет, вы только, бабоньки, на пенсию не спешите. На будущий год, говорил, смонтируют электродойку и какой-то штанговый транспортер, который будет сам выгребать навоз и складывать за фермой, а подвесную дорогу снимут, как устаревшую.

— А годика через три у нас с вами работа будет двухсменная, как на фабрике, вот увидите. . .

— Бреши, Емеля, твоя неделя, — обобщила тетя Глаша эти сладкие речи. — А выходной — оно, конечно, хорошо. . . В район съезжу, что ли. . .

Когда все расходились, Шестаков подошел к Лизке и спросил, сердает ли она еще на него. Лизка хотела сказать ему что-нибудь злое, но только отвернулась, заморгала увлажнившимися от нахлынувшей обиды глазами. . .

— И правильно делаешь, что сердачешь, — одобрил он вполне серьезно. — Я и сам на себя сердчаю, да только что поделать? Ведь эта корова толстозадая, бухгалтерская-то, — она ведь дояркой бы не пошла, уехала бы в район. . . У них там дядька живет и все такое. . . А так хоть лаборанткой, а останется, а? Мне люди, понимаешь, во как нужны!

— Я тоже могу уехать, — сказала Лизка. — Думаете, не могу?

— Не, не можешь, — засмеялся Шестаков. — Ты у нас передовая и сознательная, как же ты уедешь?

— Наплюнуть мне на сознательность, — сказала Лизка дрожащими от обиды губами. — Наплюнуть. . . — и пошла прочь.

И чего это ей так обидно стало — непонятно. В душе она давно примирилась с тем, что не быть ей лаборанткой, и горевала об этом не очень. Даже совсем не горевала. А тут — разревелась. . .

«Вишь у них как. . . А ты дурища, — ругала она себя по дороге, — не соглашалась бы тогда, так и сидела бы в лаборатории и горя не знала. Кто смел, тот и съел, — это правда. . .»

Но опять-таки поругала себя и забыла, а дни потянулись еще медленнее — оттого, наверное, что каждый ждал теперь выходного. . .

И Лизка тоже с нетерпением принялась ждать выходного дня, сочиняла на этот день десятки планов, но так, кажется, ничего и не придумала путного.

Выходной договорились бабы брать так: после утренней дойки сдаешь группу, и выходишь на другой день только к вечерней. Так удобнее было: получалось больше суток свободных, и в район можно было на базар съездить, и куда хочешь, и по дому что сделать — все можно было.

Но на первый выходной все планировали куда-то ехать. «Рвутся, как жеребцы стоялые», — смеялась тетя Глаша, хотя и сама собиралась ехать в район — поспрашивать насчет оформления пенсии. Ну и Лизка поначалу собиралась съездить домой, повидать маму, тем более что писем длинных они друг другу не писали — смешно было заводить регулярную переписку, живя в одном районе, — а поехать повидаться все ни она никак не могла, ни Анна Степановна. Впрочем, Лизка не очень-то и хотела, чтобы мама приезжала. У Анны Степановны гнев и так еще не прошел, а если бы она узнала, что никакая Лизка не лаборантка, а просто доярка, да и не «елочкой» доит, как в ихнем совхозе, а вручную — тут бы крику было! . .

Но хоть и разделяло их не больше сотни километров, а все же маршрут был сложный — катером до района, а оттуда — автобусом. И как ни крути, а за одни сутки не обернуться.

Выходной день представлялся ей бесконечным и вольным, как небо над головой. И, в конце концов, был бы выходной, а как его провести, она всегда успеет придумать.

Начался ее выходной с происшествия несколько необычного.

Они уже помыли все после утренней дойки, сидели в закутке у Фрола Матвеевича, разговаривали. . . И тут к ферме подкатил «газик», и вышли из него трое: пожилая полная блондинка, девушка с косой и парень в очках и в серых, простроченных красными нитками джинсах. Они спросили завфермой и сказали ему, что являются бригадой народного контроля и приехали проверить, почему они так много молока сдают кислым.

Фрол Матвеевич сразу спал с лица и как-то неприлично, неуважительно к самому себе засуетился перед крашеной да-

мой, приглашая ее все осмотреть, потому что у них-де никаких упущений нет, а кислым они молоко сдавали только раз, когда у телеги в лесу ось лопнула, два часа там молоко простояло, ну и. . .

Но тут девушка с косою вытащила из сумочки длинную, как полотенце, таблицу на желтой миллиметровке и, поведив по ней крашеным ноготком, объявила, что их ферма сдает молоко в среднем на полтора градуса кислее нормы и что совхоз на этом за первую декаду сентября потерял 187 рублей, а за август — 832 рубля.

— Да-а, деньжишши, — удивилась тетя Глаша.

— Вот, — сказала крашеная дама, — рекомендую: Женя Иванова, старшая лаборантка головного молокозавода. Их данные говорят иное, чем вы.

— Ихние данные! — криво усмехнулся Фрол Матвеевич. — У нас лаборатории своей нет, вот они и пользуются, гребут с нас денежку. А как сам поедешь с ними проверять, так за- всегда нормальные градусы выходят. . .

Обладательница роскошной косы ничего ему не сказала, только усмехнулась надменно. . . Лизка следила за ней пристально и все думала о том, что, будь она лаборанткой, эта пигалица ею бы командовала, поди. Это ей почему-то казалось смешным. Но с другой стороны, у нее самой, у Лизки, были бы тогда, быть может, такие же пальцы — тоненькие, с розовыми ноготками и сами светящиеся розовым, когда поднимаешь руку, чтобы заслониться ею от солнца.

Впрочем, лаборантка у них больше ничего не проверяла, плелась только всюду за толстой блондинкой, обходя свежие коровьи лепешки и усмехаясь всему с легким презрением. . . Парень в очках тоже шел следом и записывал в большой блокнот все, что говорила блондинка, настырности и дотошности которой хватало на всех троих. Она требовала показывать баночки с вазелином, мол, не смазывает ли кто из них рук соли- долом, словно сами они дуры и не понимают, что это не только для молока, но и для рук вредно, и полотенца, которыми вымя вытирают, смотрела, и марлочки, через которые молоко цедают, и резинки из бидонных крышек вынимала, скребла их ногтем и нюхала. . .

Фрол Матвеевич суетился вокруг, чертя протезом, как циркулем, отчаянные круги, и покаянно вздыхал:

— Это мы все изживем, конечно, и претворим, не сомневай- тесь. . .

Доярки поспешно хватали из рук контролерши плохо постиранные марлечки и со всех ног бросались полоскать резинки, пахнувшие кислым. . .

Одна Лизка сидела в углу неподвижно, и вся эта суета злила ее ужасно. Злила сама контролершина манера делать все с таким видом, точно она одна и знает, как подмывать корове вымя и просушивать бидоны. И теть Глашу, у которой больше всего упущений нашли, было ей жалко, и даже Фрола Матвеевича: чего он так перед ней суетится? Что же они — без нее не знают ничего, или ленивые какие? . .

— Да мы стараемся, — сказала теть Глаша, — и бабы у нас вроде не неряхи какие, аккуратные вроде бабоньки. . .

— Почему же у одной Москвиной все чисто, а у других — нет?

— А это наш молодой маяк, — поспешил Фрол Матвеевич разъяснить про Лизку, — по комсомольской путевке, так сказать, с молодым задором. . .

— О, — обрадовалась контролерша, — вот это очень приятно! Видите, какая у нас молодежь! А вам, товарищи доярки, стыдно должно быть, что неопытная девочка, вчерашняя школьница, и так вас по всем статьям обошла. . .

Тут уж Лизка не выдержала. Почувствовав знакомый холодок в кончиках пальцев, она шагнула из своего угла, ясно сознавая, что наговорит сейчас такого, что. . .

— Чего ж это им меня в глаза тыкать? — спросила она каким-то незнакомым, осипшим от гнева голосом. — Чего тыкать-то? Я, может, целый день на ферме торчу, а они не могут! И так не по восемь часов работают, а еще по домашеству надо, они детные, вон у Евдокии четверо. . .

— А это здесь при чем? — растерявшись от неожиданного натиска, спросила контролерша.

— При том! Если б у вас было четверо. . .

— Во дасть девонька! — засмеялась теть Глаша.

— Ну, знаете ли. . . — развела контролерша своими пухлыми руками.

— Чего там знать. . .

— Не дело говоришь, Москвина, — строго оборвал ее Фрол Матвеевич, — производство допрежь всего должно быть. . . Отсюда кормимся. Деньги хорошие теперь вам платят, не как в колхозе. . .

— Значит, что получается, — сказала контролерша, — зна-

чит, если у человека дети, так он, по-вашему, вот так работать должен?

Она все еще держала в руках теть Глашину марлю с желтым пятном посредине и сейчас протянула ее Лизке в качестве вещественного доказательства.

— Да выварю я ее, выварю сегодня, — торопливо сказала теть Глаша.

— От одного желтого пятна молоко не скиснет, — упрямо сказала Лизка.

— От одного — да, но...

— Вы знаете, Мария Марковна, — спокойно сказал парень в джинсах, стоявший до этого в сторонке, — по-моему, мы не о том спорим... Марлю можно стирать плохо, можно хорошо, но это все равно будет хуже, чем лавсан. Почему у вас нет до сих пор лавсановых фильтров? — повернулся он к Фролу.

— Не выдавали нам, — развел тот руками.

— Так побеспокойтесь... Зоотехника потеревите своего. Лавсан в «Сельхозтехнике» есть, выписать можно. И титаны есть отличные, электрические. Разве ж это дело, чтобы доярки на плите воду грели? Ведь это полчаса лишней работы в день. Ненужной работы, бросовой...

Он говорил тихо, и все тоже затихли, слушали, и Фрол Матвеевич кивал ему головой: так, мол, так, все так...

«Ишь ты!» — завистливо подумала Лизка, слушая.

Злость ее как-то сама собой прошла, и стыдно уже было своих «бабих», как она подумала, выкриков. И ведь в душе у нее было все правильно, как он и говорит... Не от них одних все это зависит, что же стыдить людей зря... А она раскричалась, намолочила глупостей... У этого небось и в школе пятерки были, а она, конечно, дура душой, что с нее возьмешь?...

Под шумок, пока все разговаривали, смущенно повесила она свой халат на гвоздик в кладовке да и пошла домой — начинать свой выходной день.

Но под косогором, у самых кладушек, окликнул ее парень в джинсах.

— Вы извините, — попросил он, догоняя, — я вас хочу на пару минут задержать...

Лизка остановилась, повернулась к нему.

— Я, собственно, из газеты, — сказал он. — Багрецов моя фамилия. Вы здесь по комсомольской путевке, и я бы хотел побеседовать с вами и подготовить заметочку о вашем житье-бытье, так сказать...

— Ой, — сказала Лизка, краснея, — не надо, ладно?

— Ну почему же не надо? Очень даже надо... Да вы не смущайтесь, мы вообще хотим писать обо всех тех, кто пошел после школы в совхозы. Это, понимаете, очень важно, чтобы молодежь...

— Да я не потому, — краснея, торопливо сказала Лизка, — только все равно не надо! — и кинулась бегом через кладушки.

Не могла же она сказать, в самом деле, про маму, которая числит ее лаборанткой, и, не дай бог, он напишет, а мама прочтет!..

7

Столько ждала она этого выходного, а теперь вот и не знала, куда себя приткнуть... Открыла учебник по зоологии, прочитала страничку, ничего не поняла и положила на место. Придвинула зеркало и долго разглядывала себя, оттягивая кожу под глазами, мяла щеки, покусывала губы... Но все равно нашла, что за два месяца здесь сильно подурнела, а это совсем плохо, потому что красавицей она и раньше никогда не была. «Наверное, оттого, что устаю сильно, — решила Лизка. — Отдыхать больше надо».

Она встала, потянулась лениво, медленно, до боли, и, как была в платье, не снимая одеяла, повалилась на свою койку... И то — до вечера, кроме как отдыхать, податься было некуда.

Лежала так, спала не спала — думала. Даже не то чтобы думала... Она вообще редко думала. Ее и в школе за это Матрена Саввишна честила — что думать совершенно не умеет... И была права. Лизка и сама понимала, что думать не умеет, оттого наговорит и наделает всегда кучу глупостей — потом кается. И что это очень большой недостаток — понимала. Все собиралась она научиться думать. Начиная с шестого класса собиралась, да только как этому научишься?

Ну вот... И сейчас не думала она, а просто представляла себе разных людей и еще представляла, смогла бы она жить, как они, или нет. Евдокию Сергеевну представляла с ее четырьмя чумазыми ребятами. А что? Не настолько уж и старше ее Евдокия — на восемь лет всего. Вот если бы Лизка была Евдокией, сумела бы она так вертеться? Лизка закрывала глаза, представляла себя среди четырех детишек, рядом

с таким мужем, как Федор, вечно молчащим и ласково усмевающимся, и ощущала себя слегка затурканной и все же счастливой. . . И представляла себя тетя Глашей, старой уже, одинокой. И почему-то непременно зимой, когда снег несет за мерзлым окошком, а в избе тепло и пустынно, и ходишь из угла в угол, разговаривая с кошкой о былом житье-бытье. . . Это было грустно, но что-то и здесь было по-своему хорошим, таким, что сладко щемило сердце и хотелось плакать. . . Пожалуй, она согласилась бы быть и тетя Глашей. . . И этой вот пигалицей Женей Ивановой согласилась бы побыть, чтобы поднять руку к солнцу и пальцы чтобы светились внутренним розовым светом. Она бы только не усмехалась так презрительно — к чему, верно? И Шестаковым побыть хорошо — гонять на мотоцикле по полям, возить на багажнике на всякий случай рыжий дождевик и чтобы люди вслед тебе говорили, что с тобой им повезло, что ты хоть и хитрец, и слова не держишь, но все-таки — хозяин! Правда, у нее бы так, наверное, не получалось. . . Вот такую девчонку, как она, не стала бы обманывать, и не было бы у нее в совхозе лишней доярки. А не было бы лишней доярки, не смогла бы она другим давать выходные и другие не так бы ее любили, как Шестакова. . .

И представлялось ей в таких полумыслях-полудреме почему-то, что жизнь ее теперешняя не настоящая, что должно с ней что-то случиться в самом ближайшем будущем и тогда она заживет по-настоящему, не так, как сейчас. И мать ей сердито кричала: «Ехай! На свою голову едешь! Коровий хвост тебе там медом намазали! Ехай!» А она смотрела на солнце сквозь ладошку, и все вокруг было розовое, в мелких косых радугах. . .

Когда она проснулась, солнце уже свернуло за избу, в комнатке стало прохладней, а в раскрытое окно заглядывали большие бордовые шары георгинов. Слабый ветерок чуть пошатывал их. . .

Ой, Созенка, —

тянул где-то высокий голос, —

Река лесная,
Удивительной красоты,
Ой, несется, куда не зная,
Словно падая с высоты. . .

Новоселковские девчата шли уже в клуб, в Глинники, и Маня-маленькая заливалась своей любимой, ею же, наверное, и сочиненной песней.

Лизке эта песня тоже ужасно нравится. Какой-то тайный, очень важный смысл чудится ей в этих словах. . . Может быть, это потому, что Созенка их и в самом деле не совсем обыкновенная речка. Вытекает из огромного Петровского болота, которое начинается где-то там, далеко за Окуловским лесом, но на болотную речку она никак не похожа. Вода в ней быстрая, прозрачная и холодная даже летом. И плотины на ней есть, и пруды, и даже старая мельница водяная, полусгнившая, в Окулове — все есть. А уж поворотов, самых неожиданных, плесов, бочажков — так и не сосчитать. И действительно, иногда кажется, что и сама-то речка не знает, какой она будет за следующим поворотом, что там ее ждет, за лесом ли, за холмом ли.

Ой, несется, куда не зная,
Словно падая с высоты.

— Лиз, а Лиз, спишь, что ли? . . Исть иди!

У теть Глаши сегодня блины со сметаной, молоко топленое. . . Но есть не хочется. Переспала, видно, теперь рукой пошевелить лень. . .

— В клуб сходила бы, что ли. . . — ворчит теть Глаша. — Сидишь тут вся кислая. Вон девки кажин день бегают, а ты и в выходной все только спишь. Ну съешь еще блинчик, а? — предлагает она. — Не хочешь? Вот оттого ничего и не хочешь, что сидишь дома, как мык, никакой радости не видишь. Не съедят тебя в клубе, я чай. . .

— Сходить и правда, что ли?

— Сходи, деушка, сходи. . . Судьба вить и та за тобой в дом не придет. . .

— Схожу.

8

В Глинники она шла одна и все поглядывала с удивлением на свое муаровое платье, ни разу еще после выпускного вечера не надеванное. Сегодня надела и удивилась несказанно, потому что еле в него влезла. До того она, оказывается, раздалась здесь и в груди и в бедрах. А все ведь бедной девушке казалось, что худеет, что работа ее замучила. Спать меньше

надо, девушка, а то совсем как Маня станешь — поперек себя шире. . .

До Глиникова километра три, но дорога лесная, а лесные дороги всегда кажутся короче. Идти по ним легко.

Лизка шла, и всю дорогу думалось ей, что танцевать сегодня будет непременно до упаду, и все — вальсы. И все — улыбаясь. Но как только вошла в зал — точно воздух из нее выпустили, поняла: ничего такого сегодня не будет.

Зал был большой — на шесть окон — и вымыт чисто, по стенкам расставлены стулья. В одном углу сидела кучка ребят, все больше ей незнакомых, курили, гасили слюной окурки и выстреливали их щелчком в урну: кто метче. В цель окурки попадали редко. Девчата стояли несколькими кучками, посмеиваясь, и грызли семечки. Шелуху сплевывали в кулечки, чтобы не мусорить. Лизка подошла к той группе, где была ихняя Маня-маленькая, но о чем тут говорили, понять не успела — заиграла пластинка и девчата с девчатами пошли танцевать. Парни остались на месте. Колька дурашливо помахал ей из угла рукой — привет, мол.

У проигрывателя сидел, разговаривая с завклубом, знакомый корреспондент в джинсах. И когда началась музыка, он один пошел через зал приглашать девушку, а из мужского угла косились на него враждебно. . .

Станцевали так танца три или четыре. Парни стали исчезать куда-то по двое, по трое и возвращаться, блестя повеселевшими и осмелевшими глазами. Танцы сразу оживились, слышался смех, веселая перебранка. . .

Лизка пару танцев станцевала с Маней-маленькой, а потом ее пригласил Колька. До этого отлучался он раза три, и теперь от него крепко несло водкой, и двигался он уж слишком уверенно и размашисто.

Она пошла, но тут же и раскаялась. Танцевать он почти совсем не умел, наступал на ноги, а что еще хуже — держать все норовил не за талию, а пониже. . .

— На ноги-то не наступай, — сказала она, — давай я лучше вести буду. . .

— Думаешь, как городская, так больше всех знаешь? — спросил он чуть ли не с ненавистью.

Еле его Лизка утихомирила.

Кое-как дотанцевали, и она вышла на крыльцо, сказав, чтобы теперь пригласил он Маню-маленькую, а то, мол, ей неудобно. Колька послушался.

Крыльцо у клуба было просторное, огороженное разными перильцами и столбиками. Облокотившись на перильца, спиной к двери, курил корреспондент.

— Подышать вышли? — спросил он, не поворачиваясь.

— Жарко там.

— Да, клуб у вас тесноват, — согласился он после паузы, — да и работы в нем почти никакой. . .

Стояли рядышком у перил, молчали. . . Сигаретка его в темноте то разгоралась, то совсем гасла. Далеко где-то тархтел трактор, и светлые пятна от его фар медленно плыли по темной стене бора.

— Вы на меня не обиделись там, у ручья? — вдруг спросил он.

— С чего мне было обижаться. Не-а. . . — протянула Лизка, думая совсем о другом.

Снова помолчали. Он докурил, выбросил окурок и постоял, переминаясь с ноги на ногу.

— Ну что? Пойдем веселиться дальше?

— Не-е. . . — сказала она, — скучно! Я уж лучше домой пойду. Хлопцы пьяные. . .

— Да, — сказал он, — разучилась молодежь веселиться по селам. То ли оттого, что молодых мало, то ли. . . Не знаю, в общем, но разучилась — факт! А знаете, — обрадованно добавил он, — мне ведь тоже в Новоселки идти. Я там ночую, а утром поеду домой катером. . . Так что пойдемте вместе! Идет?

Лизка промолчала.

9

У него был карманный фонарик, и круг неяркого желтого света плясал перед ними на дорожке, выхватывая то небольшую лужицу, то кусок травы, то странный, ни на что не похожий куст. Пожалуй, без фонарика дорога была бы даже видней, но все-таки с фонариком идти было лучше — уютнее и спокойней. Лес ровно шумел в верхушках, где, вероятно, уже поднимался ветер, но внизу воздух был неподвижен, влажен и прохладен.

— Вот раньше, — говорил Багрецов, — в деревне были свои специфические формы веселья, формы общения молодежи. О, осторожней, здесь лужа. . . Посиделки, например. . . Девушки приходили с рукоделием. . .

— А думаете, на посиделках водки не пили?

— Думаю, что нет. . . Хотя, кто ж его знает. . . Во всяком случае, вы со мной согласитесь, что клуб ваш работает по шаблону и пользы от такой работы мало. . .

— Не знаю, — сказала Лизка, — я в нем первый раз была. Нам раньше выходных не давали. . .

Багрецов помолчал, что-то соображая.

— Живется, значит, не очень весело? — подытожил он наконец.

— Уж дома, конечно, веселей было. И кино все время, и в школу придешь на вечер — все свои. . .

— А работа вам нравится?

— Работа как работа, — сказала Лизка. — Сначала тяжело, конечно, а потом привыкла. . . Платят много — больше, чем на фабрике. Руки иногда только гудят, а так ничего.

— Вас хвалят, — напомнил Багрецов, — что же вы — коров любите?

— Чего? — она засмеялась. — За что мне их любить? Конечно, если заболит какая или там копыто собьет, то жалко. И глаза у них красивые, а так. . . Нет, чего мне их любить? Я вообще-то ведь по направлению сюда лаборанткой поехала, это уж так получилось. . . — И она, бог знает отчего, скорее просто из удовольствия поговорить, стала рассказывать ему, как попала в доярки.

Но Багрецов, выслушав, возмутился, стал, размахивая руками, объяснять, какое это безобразие, и что Шестакова за подобные штучки не следует гладить по головке, потому что он подрывает авторитет прекрасного начинания, потому что. . .

— Озябли? — спросил он вдруг, обрывая себя на полуслове.

— Зазябла чевой-то. . . С вечера тепло было, вот кофточку и не взяла. Дуреха, правда?

— Позвольте, я куртку накину.

— Да не надо. . .

— Да чего там не надо? Мне все равно тепло, на мне рубашка шерстяная. . . А Шестакову надо все же хвоста накрутить, чтобы не самовольничал. Прислали ему лаборантку, а он, видите ли. . . Воспользовался, понимаешь.

— Да чего уж теперь, — сказала Лиза. Куртка ее согрела, идти под ней было удобно, пахла она незнакомо и уютно — мужским теплом. — Теперь это дело прошлое. . .

— Ничего не прошлое. . . Вполне вы еще поехать можете. . .

— Да я теперь и не знаю уже: хочется мне ехать или не хочется. . .

— Чего же это так?

— Да так просто. . . Скучно, конечно, а только вот выйду на речку или так, знаете, пойдешь, пойдешь куда-нибудь по дорожке, так вот с косогора на косогор. . . И никуда бы отсюда не уезжала. . .

— Да, — согласился Багрецов, — места здесь красивые, можно сказать, красивейшие в нашем районе, а уж о речке и говорить не приходится. . . Но ведь не одной красотой жив человек, как говорится. . .

Сквозь шум сосен стал прослушиваться дальний рокот тракторов — под Новоселками, наверное, пахали зябь в ночную смену. . .

И хорошо было идти по лесу, с теплой мужской курткой на плечах, говорить культурно, по-умному. Лизка даже удивлялась про себя, как это все так умненько и складно у нее получается. Хорошо! . .

Но еще лучше было смотреть на себя как бы со стороны, издалека, точно в перевернутый бинокль: идут по лесной дороге парень и девушка, оба молодые, стройные, идут, болтают беспечно, он осторожно предупреждает ее насчет луж и обводит посуху, чуть держа за локоть, и на плечах у нее его куртка. . .

Вот эта картина, видевшаяся как бы издалека, до того была хороша, что хотелось закружиться, раскинув руки, и потребовать себе у судьбы чего-нибудь такого, та-акого!

Дошли они так быстро, что даже обидно было.

— Ну, — сказала она, вежливо, дощечкой протягивая ему руку, — счастье вам.

— Но я бы на вашем месте все-таки не смирился так просто с тем, что вас обманули. . .

— Да ну, — сказала она, — надо же и коров кому-то доить, а то вот у нас в Новоселках, например, половина — старушки. Только и уговаривают их, чтобы на пенсию не уходили.

Багрецов помолчал и, вздохнув, согласился:

— Это верно.

Помолчали.

— Ну. . . счастье вам.

— И вам счастье.

Она прошла по тропинке между георгинами, задевавшими ей руки и обдававшими холодной влагой. Взошла на крыльцо, оглянулась. . . Огонек его сигареты плыл по улице, как по черной реке. Луны не было и звезд тоже, и казалось, будто черные сумрачные леса вплотную обступили Новоселки. Только от Созенки, чуть угадывавшейся в просвете между соседними домами, шел слабый мягкий блеск. Где-то очень далеко кричала ночная птица. . .

10

Теть Глаша давно уже спала, и Лизка быстро бесшумно разделась и, как ящерка, скользнула в постель, заворочалась, угреваясь, укутываясь в одеяло, и, закрыв глаза, только и успела что подумать: как это хорошо, что не надо завтра на ферму, а можно спать хоть до полудня. . .

Сны, однако, ей в эту ночь выпали беспокойные — такие, от которых человек обычно ворочается в постели, сбивает подушку в безобразный и жаркий ком и просыпается наконец с чувством облегчения. . .

Снился ей какой-то большой зал с колоннами и громкой, но невнятной музыкой. И в этом зале она все танцевала не то с Колькой, не то с Багрецовым — не разобрать было, да и некогда ей было разбирать, потому что этот самый не то Колька, не то Багрецов такую рукам давал волю, за которую наяву непременно бы схлопотал по морде. А во сне она хоть и понимала, что это неприлично, хоть и стыдно ей было до ужаса, но ничего не могла поделать, еще и сама прижималась к нему грудями совершенно бессовестно. . .

Наконец — проснулась. . .

Полежала, успокаивая себя, что это только сон и наяву ничего такого с ней случиться не может. Да и во сне случилось только оттого, что тетя Глаша закрыла вечером окно и теперь в комнатке так было жарко, что она прямо сомлела вся. . .

Будь завтра рабочий день, она, пожалуй, насильно бы сжала глаза и отогнала от себя всякие мысли, чтоб поскорей заснуть и хоть чуть-чуть к утренней дойке отоспаться. Но сегодня торопиться было некуда. . . Лежала себе в душной тьме, смотрела на слабо синеее сквозь занавески окно, слушала, как глухо тукало сердце: «тук-тук, тук-тук, тук-тук. . .».

Потом села на кровати, сунула ноги в низко обрезанные старые валенки, заменявшие ей тапочки, и вышла на крыльцо,

в сенцах на ходу прямо на ночную рубашку накинувши длинный теть Глашин ватник.

Ночь как-то полиняла, не такая уже была черная, и по небу скользили серые языки облаков, то закрывая, то показывая звезды. . . Крыльце было мокрое от выпавшей росы, но в дом Лизка не вернулась. Не так уж было и холодно, скорее просто свежо.

Сидела на крыльце, подстелив ватник, думала непонятно о чем. . . Все у нее в жизни выходило пока что не так, как планировала, не так, как мечтала, и не знала она, хорошо ли это, плохо ли. . . Ведь чего человеку в самом-то деле надо? Чтобы планы его сбывались? Толку ли в ее планах. . . В институт вот надо поступать. Надо, наверное. Хотя. . . и без дипломов живут люди, и счастливы бывают не меньше, чем с дипломами. Нет, институт — это не то, а вот случилось бы с ней что-нибудь такое. . . Та-акое! . . Ну, чтоб каждая жилочка в ней зажила и задрожала, как этот вот прохладный воздух, влажный от испарений прогретой за лето и остывающей теперь земли. . . Или полетела бы она куда-нибудь торопясь, самое себя перегоняя, как вот это облако. Хотя куда ей лететь? И что с ней могло случиться?

Но непременно все же должно было что-то такое случиться, что бы подхватило ее, закружило в заботах, в радостях, пусть даже в бедах, только чтоб некогда было ей оглянуться на себя. . .

— Ой, Созенка, река лесная,
Удивительной красоты, —

неожиданно для себя пропела она тоненьким, слабым, неузнаваемым голосом человека, который поет очень и очень редко. Пропела и, смутившись этого голоса, закончила куплет шепчущей скороговоркой:

— Ой, несется, куда не зная,
Словно падая с высоты. . .

Потом встала и прошла по привычной тропиночке на косогор, к речке. . .

Утренний туман уже заткал воду, но она еще светлела сквозь него чуть-чуть, почти совсем неслышно шлепала о стоявшие на приколе лодки. Было все-таки еще очень темно, и не разглядеть было толком ничего, кроме тропинки, ближнего куста, обрыва и маленького треугольника воды, а дальше все



тонуло во тьме. . . Но странное дело — все казалось еще просторней и бесконечней, чем днем, и Лизка с легкостью представляла всю реку до самого горизонта и даже за горизонтом, до самого Окулова, до Уразова. . . Пахло сыростью, мокрой осокой, осенними умирающими кувшинками. . . Не было вокруг земле ни конца, ни краю, и все на ней — каждая травинка и каждая букашка — было исполнено жизни и соблазна. . .

— Ой, несется, куда не зная,
Словно падая с высоты. . .

«А что? — думала Лизка. — Может, вода и правда не знает, куда несется, что будет с ней за поворотом». Зато Лизка точно знает, куда течет их Созенка: до Первомайского, где сливается с речкой Красухой, и дальше, уже широко и полноводно, на юг до Двориков, и впадает там в Волгу, а Волга течет к Дубне, к Кирам и дальше на восток, потом на юг. . .

Так что никакой загадки тут нет. Другое дело — ее собственная, Лизкина, жизнь. Куда она несется? Что в ней должно случиться? А ведь будет она еще долгой. . . Длиннее, чем вся Созенка, длиннее даже, чем сама Волга, — вот какой будет у нее жизнь! А так ли она потечет или по-другому, — это, наверное, не столь уж и важно, потому что жизнь хороша уже сама по себе, потому что плохой жизни и вовсе не бывает. . . Сколько Лизка ни знает жизней, о скольких ей ни рассказывали, все кажется: любую бы прожила она с удовольствием, а еще лучше — все сразу.

Здесь, у реки, она окончательно промерзла и, прибежав в дом, поспешно, стуча зубами, забралась под одеяло, еще хранившее тепло ее недавних охальных снов. . . Угреваясь, она вдруг вспомнила о матери, которая все еще была сердита и недовольна, что Лизка поехала сюда и вообще за всяческое ее житейское самовольство. «И чего сердиться, мамочка? — подумала вдруг Лизка с какой-то внутренней радостью и ясностью. — Ведь живу же! Живу!»

И фраза эта, ужасно бессмысленная и ничего не поясняющая по существу, показалась ей важной, неотразимо убедительной и умной, и она заснула покойно и легко.

Наталья Пирогова

ВОЛГА

Волга наша — река рабочая,
Днем и ночью грузы ворочает.
Дышит мерно широкой грудью
И одета в лиловый дым.
Вся в испарине, Волга грузит
Тяжесть дизелей,
Свежесть дынь.
Волга морщит лоб от заботы.
В белой пене — ее песок,
И звучит,
Словно гимн работы,
Басовитый ее гудок.
Я гляжу на нее
И невольно
Удивляюсь ее размаху,
И не волны я вижу,
Не волны —
Вижу мускулы под рубахой.

Владимир Петруничев

* * *

А детство было без игрушек —
тех заурядных погремушек,
мячей оранжевых да синих,
которыми все магазины
теперь торгуют безотказно.
А мы встречали, словно праздник,
тот день, когда подарит взрослый
нам скомороха из бересты
иль смастерит из щепок сани,
впряжет в оглобли тараканов. . .
Но так нас баловали редко.
Обыкновенно мы над речкой
копали глину, шли на камень,
лепили страшных великанов.
Мы представляли: это Гитлер
и миллион фашистов хитрых
идут, коверкая слова,
идут, чтоб нас завоевать.

Мы в оборону уходили —
из-за бугра по немцам били.
Летели глиняные фрицы
в реку с захваченных позиций.
— Прицельней! Пули на исходе.
— Еще один свалился в воду!

— Победа!
.. Ни врагов, ни пушек.
Овладеваем высотой.
Мы мстили Гитлеру за то,
что нас оставил без игрушек.

ЗАКЛИНАНИЕ

Среди ночей коростели
кричат на «о»: «Какое поле-то!
О красоте своей земли
судите по зиме и по лету!»

«Ку-ку!» — кукушка за рекой.
Ах, эта щедрость беспримерная:
наобещает век такой —
лет до двухсот, не менее.

Луна по тракту забрела
куда-то в клевера медовые.
Берез округлые тела
грустят в ночи почти по-вдовьему.

От обнаженной красоты
смущенно небо зарумянилось...
Благослови, земля святынь,
босых друзей из сказок маминых!

Благослови, густая рожь!
Благослови, широко полюшко!
Благослови, беспечный дождь!
Благослови, высоко солнышко!

Благослови, весенний клич!
Благослови, зима морозная!
Благослови меня, Чарозеро,
И дай все сущее постичь!

ПЕСНЯ СВЕРЧКОВ

Звонкое лето
все отцвело,
румяной кометой
ушло за село.
Не возвратится,
как ни проси.
Осень стучится
в прохладную синь,
медленно стелет
листья в кустах.
Что мы не спели —
не наверстать.
Но мы не тужим
об этом ничуть,
поскольку до стужи
далек еще путь.

Родились весной —
поем о весне
снова и снова.
И ляжем под снег
с песнею прежней
о мае в лесу.
Верность и нежность —
вся наша суть.

* * *

Как иголка в стоге сена,
в океане белый сейнер,
день обыденный в годах —
я затерян в городах.

Ни ответа, ни привета
не услышишь от меня,
твои письма бросил ветер
в вихрь осеннего огня.

И пускай не позабылось
увлечение тобой,
не жалею, что не любила, —
пережил я эту боль.

И на горе ли, на радость,
но душе моей слышны
в грустных песнях листопада
гимны будущей весны.

Вячеслав Всеволодов

ШУТЕЙНОЕ ДЕЛО

РАССКАЗ

Всякий раз, когда человечество движется вперед, в первых его рядах, рядом со знаменосцами, идут музыканты.

Д. Шостакович

«Пишу я тебе, сынок, — приезжай, потому как уж совсем я стар да еще с обидой большой на внука. Значит, сынка твоего, Вовку. А в мои годы и радость и обида в тягость истрепанному да в траншеях двух войн простреленному. Приезжай, дорогой Михаил Иванович. Это я к тебе с таким уважением, штобы упомянул ты, што в отчестве твоём — мое имя сохранно, а как прибудешь да мундир свой полковничий в горнице оставишь, так сызнова Мишкой звать буду.

А Вовку твоего я обратно воротил, потому как нет сил моих боле глядеть, как он на рогатой, ну впрямь што телка наша, трынгалке по вечерам в клубе всякие джазы выделявает. Хотя и внучек, а душа воротится. Ладно, если бы дельное сыграть мог, ан нет! Все у него какие-то мури-фури, видать, от дури. А воротил я его в город с большой обидой. Твой отпрыск, так какого лешаго ты его присмотром обделил? Аль я тебя так холил? Не сдержался я, взял на душу грех да отхле-

стал внука-то при всем честном народе, аж в соседском колхозе слух прошел. А ты приедешь, так и тебе пропишу, как бывало, чтобы опосля себя на земле таких сынов не ставил. Воротится Вовка, так пушай, стервец, сам скажет, по какой такой причине и поводу дед его зад тельняшке уподобил. А тебе одно скажу — к труду он непривыкший вовсе, не свою копейку на всякие мури-фури базарит, потому и меня, старика, забидел так, што не знаю, как теперь людям в глаза глянуть. Хоть не впервой, кажись, и ерунда, а мне — балтийскому матросу — ох как обидно стало, што Вовка твой про жисть нашу от тебя не слыхал, да еще опозорил меня на весь колхоз, аж коровы и те по утрам дразнятся. Так што приезжай, Мишка, коли хочешь свово батю можа напоследок повидать да наказ мой послушать. И не задумай, как раньше-то, писать, што нету у тебя возможности. Я, конечно, разумею, што полк под твоим началом, што начальство тебя ценит, знаю, да только нет выше отцовской оценки, а сказать тебе я многое желаю. Может, полк-то и легче в дисциплине держать, чем свово сына, то есть внука мово — непутевого Вовку. Приезжай немедля — это тебе мой последний приказ, хотя и не вышел я званием супротив твою погона, а только повинуйся непрекословно старшине-пулеметчику, ведь батька я тебе, Михаил Иванович.

На сем прощаюсь. С приветом к жинке твоей, да с поцелуем от матери, которая так же само ждет тебя не дождется.

Батя твой Иван Андреич Арсеньев».

Письмо это Мария Петровна сразу на полу заметила, лишь в комнату вошла. Михаил Иванович дремал в своем любимом кресле-качалке, укутав ноги старым пледом, — видно, задумался, читая письмо, да так и уснул.

— Миша, Ми-ша, — осторожно позвала Мария Петровна мужа, но он спал глубоко после бессонной ночи, и она пожалела будить его, больного и усталого, а только осторожно поправила плед.

Потом Мария Петровна еще раз перечитала письмо и вдруг болезненно почувствовала тоску Ивана Андреевича. Вот уже шесть лет, как они каждый год отправляют Вовку в деревню к деду, а сами ни разу так и не выбрались, несмотря на постоянные письма из глухой Березовки, где в августе, по словам деда, «красот полно, аж до самого горла радость необычайная подымается».

«А может, и не случилось ничего? — подумала Мария Петровна. — Ведь дед вечно любил преувеличивать, а тут еще эта

давняя неприязнь к Вовкиному увлечению электрогитарой не могла не сказаться и в это лето».

И тут Мария Петровна решила: пусть едет Михаил к отцу. Навестит его, да и выяснит, что там стряслось. Она решительно подошла к шкафу и начала быстро собирать вещи в дорогу, думая, что только сейчас и сможет отправиться Миша.

Конечно, ревматизм мучает его, но болезнь отодвинула дела службы на несколько дней, а их, этих пасмурных дней, вполне хватит, чтобы обернуться туда и обратно. Да и дед даст Мише своих домашних настоев для растирания.

Собрав чемодан — а это Мария Петровна умела делать быстро, — она резко, даже излишне грубовато разбудила мужа.

— Что случилось, Машенька?

— А случилось то, что отец тебя зовет. Уже шесть лет, как не дозвезся! Чемодан я собрала. Самому под пятьдесят, а ценить отцовскую тревогу да старость не научился. Собирайся! Сегодня — едешь.

— Да что с тобой? Зачем сегодня? Вот поправлюсь немного, возьму отпуск, тогда и махнем вместе. За грибами походим, у костра посидим...

— Собирайся, я сказала. Отец тебе уже которое письмо присылает, а ты?..

И хотя, особенно по ночам, Михаила Ивановича мучила боль в суставах так, что казалось, словно они скрипят, а тут еще старая рана в ноге тревожить начала, все-таки согласился он с женой — решил ехать.

Березовка показалась Михаилу Ивановичу празднующей ядреную золотую свою свадьбу — до того она была по-осеннему празднична, прозрачна, немного грустна, но прекрасна в каждом пожелтевшем листке. Старые избы, срубленные по-дедовски, в ласточкин хвост, стояли, как огромные бурые болотные подберезовики, готовые в любую минуту осесть в высокую и густую рыжую траву. И их напористо теснили к бывшей околице похожие на разноцветные детские кубики новые крупноблочные дома.

— Где живут Арсеньевы? — спросил Михаил Иванович первого встречного парня в заляпанных на осенней распутице сапогах, сжатых в гармошку.

— Это дед Иван, что ли? — небрежно поинтересовался парень, а Михаил Иванович молча отметил, что попадись ему такой солдат, то не миновали бы эти гармошки гауптвахты.

— Да. Иван Андреевич Арсеньев.

— Так Иван-барыня вот в том доме, что пятым от поворота будет... — Парень указал рукой, чему-то усмехнулся.

— Простите, а почему Иван-барыня? Помнится, не было у него такого прозвища, — немного растерянно произнес Михаил Иванович, удивленный столь необычным добавлением к отцовскому имени.

— А его недавно наши старухи перекрестили. Он тут на вечеринке в клубе оркестру «Барыню» заказал, а потом такое было! Ну, да мне рассказывать некогда, товарищ полковник, — уборка у нас, а вы поживете, так сами все узнаете. Чудной он, Иван-барыня. А вы-то ему кто будете?

— Сын.

— Сы-ын?! — удивленно протянул парень, потом, соображая, почесал затылок, сдвинул клетчатую кепку на глаза и, буркнув что-то себе под нос, зашагал прочь.

Но дом был пуст. Михаил Иванович постоял в саду. На деревьях было полно красно-медных яблок, которых, конечно, отцу с матерью не собрать. Напился ледяной воды из колодца и, чтобы скоротать время, решил зайти в чайную — может, там его старик, ведь не в поле же он — на пенсии давно.

В чайной было мирно и пусто. Только в углу сидели за столиком два деда и чинно, не торопясь, смаковали пиво. Михаил Иванович выпил и вдруг неволью ощутил, что он вроде обижен на родную, но совершенно новую Березовку. Помнил он, как раньше, когда приезжал сюда подполковником, не было ему отбоя от мальчишек, бежавших за ним чуть ли не от самой станции. А отец уже шел навстречу — новость-то по деревне, словно ласточка перед дождем, быстро проносится над всеми крышами.

В этот раз не было ни босых мальчишек, ни пронзающих любопытными взглядами старух, которые вечно сидят на завалинках русских деревень, нет ни матери на крыльце, да и крыльца фактически нет — дом-то новый, по типовому проекту.

«Как-то живет в почти городской квартире отец?» — подумал Михаил Иванович, разглядывая в окно забронированную асфальтом родную Березовку.

Делать было нечего, и он прислушался к разговору стариков, видимо единственных дневных посетителей чайной.

Тот дед, который был с бородой, белой не то от седины, не то от пивной пены, размеренно бурчал:

— Я говорю, Клим, не тот народ сейчас. Привычный к беспорядку народ стал. Вот давеча иду по полю, где свекла. . . Глядь, а кругом ящиков разломанных — тех, что теперь тарой зовут, — тьма. А ведь убрали уже свеклу! Э-эх, наломали этой самой тары и бросили, словно семена в пшеничное поле. Ну, я, сам понимаешь, к председателю. . . А он мне: «Ты бы лучше, Михалыч, собрал те ящички-то, все одно, говорит, на пенсии сидишь». Вот так, Климущка, нету, нету к нам, старикам, ихнего уважения.

— Ну, ты-то еще что! — деловито отвечал Клим, твердо ставя стакан на пластиковый стол. — А вот Андреича недавно забидели, так забидели! Слыхал, «Барыней» прозвали. А ведь я с ним последнюю войну прошел. Слыхал я его «Барыню» однажды. Пытался я, конечно, бабам объяснить, чтобы не посмеялись над стариком, да куда там! Прыскают со смеху, старые клуши! А кто их от немца уберег, кто? Мы, Михалыч, мы, а они теперя над нами же насмеваются. Вот и суди! Да еще внук его — попугай-то городской разноперый! . . . Правильно ему Андреич задницу-то надрал, а я бы еще и батьке хвостин уготовил. По какому такому праву смел отцову «Барыню» забыть, почему Вовку свою в ту память священную не посвятил? А сын-то Андреича и выжил, может, только отцовой «Барыне» благодаря, так я бы его спросил: по какому праву смел это забыть? — И Клим встал из-за стола, вытянулся, словно на учениях, когда «смирно!» летит от фланга до фланга полка.

И заныло, застонало сердце Михаила Ивановича, тяжелей любой ноши стали полковничьи погоны на плечах. Захотелось скинуть мундир, спрятаться, чтобы и не узнал никто, не понял, что он Арсеньев, что сын он Ивана, прозванного теперь «Барыней». Да только куда же спрячешься! На деревне — все на виду. Горят три звезды на каждом плече, большие звезды — заметные, не малые, как тогда, когда был еще старшим лейтенантом да по воле случая и устава командовал собственным отцом — ротным старшиной и первым пулеметчиком во всей дивизии. Может, и узнал его Клим сейчас, может, и вспомнил его не случайно, а вопрос свой нарочито всем голосом поставил: «По какому праву смел это забыть? . . .»

— Слушай, Иван, ну сыграй хоть разок завтра, а? Уж больно не любит фриц твою русскую музыку! Как заслышит «Барыню» на твоём струменте, так драпака дает — не дого- нишь!

— Да отвяжись ты, Клим! Вот прилип, как муха. . . И отку- дова только прознал, што я могу?! — Иван крутил длинную «козью ножку», а дело это считал наиважнейшим на фронте, а когда он дело делал, то балагурить не расположен был, хотя и льстило ему, что земляк его узнал где-то, как он на своем «максимушке» «Барыню» исполнять может. Да как может! Ни одного такту не упустит, — все как по нотам!

Сидит Иван, крутит из газеты аккуратный кулечек, а ду- шой улыбается — знает Иван, что и Мишка его, хоть и баталь- оном командовать стал, а батькой гордится. Закурил Иван, задумался, подобрел. . .

— Необычному умению этому еще в гражданку меня дру- жок барабанщик обучил. Барабанщик-то он был так себе — средний, а вот на пулемете! . . Ну впрямь как бог! Он-то и мог на «максимушке» «Барыню» выстреливать. Бывало, засту- чит — хоть в атаку не иди, слушай, и все тут! А уж коль пойдут хлопцы, так не было им преграды, пока «Барыня» с ними. . . А что, сыграть завтра, что ли?

— Ох, Ваня, душа-человек! Повесели ребят, а то закисло в траншеях, как грибы в маринаде. А рука-то болит, а?

— Да ты не о руке моей заботься, завтра голову побе- реги! Я уж не сплехую, дам им жару!

А потом — атака. . .

Глядит Иван, а Мишка-то первым из окопчика выскочил. Маленький такой, и пистолет в руке, как игрушка. Черный частокол поднялся навстречу, и казалось Ивану — один его сын идет супротив этой черной стены, надо бы проход ему про- бить, да как!?

И упал Мишка. И только тут услышал Иван, что орет над ним взводный:

— Огонь!

Давит на гашетку Иван всей силой мужицкой, словно вго- няет плуг в землю, как бывало при мире на пахоте. . .

Земля под босой ногой Ивана теплом дышит и между паль- цами выдавливается, щекочет легонько, словно подзадоривает. Иван улыбается широко — радуется теплу и слепящему солн- цу. Пахота не в тягость ему, а в наслаждение великое, в весен- нюю радость. Он каждой жилкой плуг чувствует, понимает

землю по малейшему шуршанию, по каждому вздрагиванию. Вот конь дернул легонько — значит, надавить надо, а вот длинный клин впереди — жди, сейчас-то и самое время свою сноровку да силу пробовать. . . Руки у Ивана мощные, мускулистые, потому, видно, и нет на них пота, а блестят они от раннего загара да легкой сизой пыли, что конь поднимает копытом с верхушек прошлогодней жухлой травы. Любит Иван эту пахотную пору, любит сдавить широченными ладонями рукояти сохи. . . Давит, а сам все на дальний бугорок поглядывает, где Мишутка уже ждет с крынкой парного молока и материнским заботливым словом — побережь ноги, босым в пашню не становиться, да разве может без этого крестьянская нога Ивана! Не может Иван кирзового сапога на обнаженной пахотной земле видеть, не по-доброму это — чернозем сапогом давить. Сжимает Иван рукояти, радуется и миру оживающему, и земле теплой, парной и ласковой, и Мишутке на дальнем бугорке в конце черноземной полосы. . .

. . . Давит Иван на гашетку, а сам все на тот бугорок поглядывает, где Мишутка его упал. А фашисты-то уже к тому месту подступают. Захлебывается атака.

— Сынок, сынок, вставай! — закричал тогда Иван и побегал, таща за собой пулемет, как бежал лет десять назад по скошенному ржаному полю за Мишкой — длинноногим баловнем. А тот в снопы упрятаться норовит — заляжет за сноп, притаится и ждет, пока отец, поживаясь на ершистой скошенной ржи, не устанет чертыхаться и не закричит:

— Сынок, сынка, да вставай! Мать дома уж заждалась!

Так, видать, и бежал бы к сыну до первой встречной шальной пули, но догнал его взводный. . . и с размаху тяжелой рукой по загривку. . . Упал Иван, опомнился. Взглянул на бугорок и глазам не поверил. Встал его Мишка, вперед пошел, только нога у него как-то все подвертывается.

— Ну, кайзеровы дети, получай! — прохрипел Иван, развернул пулемет, вздохнул поглубже и. . .

Застучал «максим», но не беспорядочно, а в такт с охрипшим махорочным голосом Ивана:

— Ба-рыня, ба-рыня, эх, су-да-рыня, барыня!

И поднялась рота с земли во весь рост, заулыбалась широко, щедро, отряхнула шинели и пошла в хоровод, где и смерть красна.

А потом принес как-то политрук фронтовую газету «Красный мститель», но не искрутил ее Иван на самокрутки, ни од-

ной «козьеi ножки» не скрутил, потому как было в ней про него напечатано, потому как назвал его «Красный мститель» лучшим окопным дирижером. Не Иваном-барыней, а дирижером войны звали тогда отца.

Не шел — бежал — к родному дому Михаил Иванович, забыв о солидности и возрасте, не чувствуя, как боль в колени впиалась, словно вновь на его плечах лейтенантские погоны, словно вновь кричит в поле батька его: «Сынок, сынка, встань!»

— Прости, батя. . . — только и сказал он, увидев отца на пороге.

— За што, Михаил Иваныч, за што, сынок? Погорячился я, когда Вовка-то не сумел «Барыню» сыграть на рогатой своей трынкалке, да ведь и не слышал он ее. Не его это музыка. А я возьми еще да и скажи ему, как мы с тобой плясовую эту на «максимушке» выигрывали. Ну, засмеялся он, стервец, говорит — брешешь, дед. . . Не взыщи, Михаил Иванович, хватил я его хворостиной по самому что ни есть глупому месту да трынкалку в пруд забросил. А теперя и сам вижу — зазря тебя от дел твоих оторвал, от жизни сегодняшней. Ведь шуткуют старухи-то, шуткуют. Ну, обидно мне, да ведь и дело-то шутейное вышло. . .

И он положил сыну на плечо свою усохшую от раны ладонь, закрыв ею три большие звезды на погоне, и добавил:

— Проходи, Мишка, мать заждалась.

Михаил Косаткин

* * *

Фотография военная.
Плохо вышел я на ней:
И лицо обыкновенное,
Как у нынешних парней,
И пилотка мятым коробом,
И не густо — на груди.
А в каком же это городе
Я снимался, погоди?!
В Сталинграде? Минске? Кракове?
Шел в разведку иль в прорыв?
Впрочем, всюду одинаково
Беспристрастен объектив.
Ничего, что плохо вышел, —
Не журите молодца.
Хорошо, что в битвах выжил,
Проявился до конца.

* * *

«Ничто не забыто!
Никто не забыт!»
Мы в бронзу отлиты,
Одеты в гранит.

И, вечным согреты
Посмертно огнем,
По белому свету
Незримо идем.

Прославлены в песнях,
В звучанье кантат.
И все ж неизвестным
Пребудет солдат!

Загадкой сплошною
Для наших врагов,
Легендой седою
Для новых веков!

* * *

Десантникам 43-го года

Назначен на ноль-ноль полет —
Я точен до минут.
На небе нас никто не ждет,
Зато в Полесье ждут.

Сооружаются в бору
Сигнальные огни.
С дождем, как змеи, на ветру
Сражаются они.

Их треугольник видим мы
И прямо через люк
Выпихиваем в штольную тьму
В брезент одетый тюк.

Лекарства, рация, бинты,
Вниз прянувшие вкось...
Ну а теперь, разведчик, ты
К сниженью — приготовься!

Кто там иглой в пространство вшит,
А кто там вбит гвоздем?!
И самолет кружит, кружит,
Как птица над гнездом.

Как будто хочет среди мглы
Увидеть, хвост креня:
Что вылетели за орлы
Из-под его крыла!

* * *

Сухари — про черный день...
Я замешкался с мешком.
Поезд мимо прогудел,
И потопал я пешком.

А устану — с полотна
Свертываю — и к ручью.
Из мешка сухарь со дна
Достаю, в воде мочу.

Что за крупчатая сладь,
Слаженная на поду!
Попаду ли скоро в часть?
Только с ней не пропаду.

Дотяну до старшины,
Что пайки нам выдает
И который все с войны
Сухарем в полку слывет.

От зари и до зари
Вслед за мной шагает тень.
Сухари вы, сухари,
Светел с вами черный день...

* * *

Прифронтная полоса,
А по-солдатски — малый тыл,
Где дни не сходят с колеса
И жар сражений не остыл.

Еще и в связи ералаш,
Еще снабженье с войском врозь,

А население блиндаж
Наш осаждает градом просьб.

Саперов роту — на ремонт
Усадьб сиротских отрядить.
Работал, натурально, фронт
На этот милый малый тыл.

Пахал, за срубом сруб вершил,
Подковы всаживал в порог,
Чтоб стал скорее тыл большим
И всем, чем мог, бойцам помог. . .

* * *

Таким венчала
Нас судьба венцом,
Что стали мы с тобой
Неодолимы,
И самым тесным
На земле кольцом —
Печалей и потерь —
Обручены мы.

Пока я есть,
Тебе нельзя не быть,
Пока я здесь,
Побудь со мною рядом:
Я постараюсь
Так тебя любить,
Чтоб больше места не было
утратам.

И не ревнуй
К минувшим теням ты:
Наш полдень
Их оставил за спиною. . .
Там, позади,
Все сожжены мосты,
Отчасти — мной,
А в основном — войною. . .

Наталья Гуревич

* * *

С подобным правом не дано рождаться,
Оно придет с годами и умом.
О, дай, Россия, право на гражданство,
Дай мне быть звуком в голосе твоём.

Я не прошу себе особой доли,
И даже счастья не хочу просить,
А просто лечь в траву в широком поле
И телом эту силу ощутить.

Пускай вопьются острые растенья
И силу богатырскую вольют.
О, дай, Россия, мне твое прозреньё,
Позволь мне сердцем на тебя взглянуть.

С подобным правом не дано рождаться,
Оно придет с годами и умом.
О, дай, Россия, право на гражданство —
Все остальное явится потом.

НОВЫЙ ГОД

Не кажется ли вам, что Новый год —
Не праздник, а совсем наоборот;

Когда незримый и жестокий бог
Потребуется, чтоб ты подвел итог,

Чтоб ты ему представил в этот миг
Все, что ты сделал и чего достиг.

На циферблате стрелки, как мечи,
И нету оправдания — молчи.

Он спросит: ты одна? и ты один?
А где же дочь твоя, а где твой сын?

Он спросит: ночью сердце не болит,
Что не был в срок построен «Фосфорит»?

Тебя дела другие увели?
А где твой город на краю земли?

Ты помнишь, в детстве говорил «хочу»,
А что теперь — уже не по плечу?

Среди зимы врасплох нас застает
Не праздник — суд бесстрастный, Новый год.

* * *

Скажи мне, целина, чего я стою?
Попробуй дать мне дело непростое,
И мы проверим вместе результат.
Мне нужно это самоутверждение —
Проверить силу собственных суждений
И правоту того, что говорят.

Скажи мне, целина, чего я стою?
Мне двадцать лет исполнилось весной,
Сегодня мне путевка вручена.
Пусть строгости твоей закономерность
Меня проверит на любовь и верность.
Скажи, чего я стою, целина?

* * *

Я хотела всего огромного;
Если моря — то пусть бездонного,
Если неба — то пусть высокого,
Если птицу — то только сокола,
Если пить — так уж пить до дна,
А любовь у меня — одна.

Только дна не достать руками,
Небо скрыто за облаками,
И не пью, а хожу лишь около, —
Мой воробышек не был соколом.

Валентин Голубев

ХОЛОДНЫЙ ДЕНЬ

Весь день в окно колотятся синицы,
О, как им хочется побыть в тепле,
Где толокно по мискам золотится
На непокрытом скобленном столе.

Нам девочка соседская расскажет,
Войдя с мороза, на руки дыша,
Что яблони за палисадом каждым
Обветренными ветками дрожат.

И мы притихнем, выросшие дети,
Испуганные птицы, а потом
В холодных окнах не себя ль заметим
Замерзшими, не впущенными в дом?

Но человеку в мире жить не страшно,
Сердца добрей, чем солнце в январе.
Пусть печь дыханьем захлебнется красным,
Пусть день холодный кончится скорей.

О чем-то скрипнут половицы грустно,
Нахлынут песни старорусских сел.
Хозяйка в избу в ведрах заскорузлых
На коромысле вечер принесет.

АЛЕНУШКА

Летом Снегурочка стала Аленушкой,
По лесу ходит и песню поет:
«Где ты, Иванушка, где, мое солнышко?
Слышишь, сестрица зовет».

Омуты полнятся злобой и теменью —
Сила недобрая, волчья сыть.
Что же ты, солнышко, скрылось до времени,
Братец Иванушка, батюшкин сын?

Бегает волчья песня оврагами,
Песня воронья сидит на дубу.
«Чем бы Аленушку нынче порадовать?» —
Эхо пропело в дуду.

Щука в воде притворилась корягою —
Мертвую воду с живой не сравнить.
Дикие яблони, волчьи ягоды
Песне Аленушкиной сродни.

Выйду на песню, пропахшую травушкой,
Чуть не пропавшую в пене зари.
Ну, назови же меня ты Иванушкой,
Дикое яблоко мне подари.

ВЕЧЕР

Закат дышал последним светом,
И, где до сини лес продрог,
Серебряные вышли ветры
На перепутья всех дорог.

Зима молчала, птичий гомон
В седые космы заверстав.
Навстречу сумраку тугому
Поникла за верстой верста.

Голодным волком сумрак рыщет,
Но скотные дворы тихи,
Лишь деревянные по крышам
Поют в деревнях петухи.

Алексей Ларионов

КИПЕНЬ ИЗ ГЛУБИНЫ

РАССКАЗЫ

СИЛУРИЙСКОЕ МОРЕ

На сыром лугу за деревней каждую весну вырастала калужница и, стоя в воде до самых подмышек, держала на поднятых руках золотые блюдечки. Крапива тоже вырастала на одном и том же месте, и земляника, и царственная пижма, и на меже у большого мохнатого камня всегда в одно и то же время появлялись кошачьи лапки.

Они росли семьями: белая семья, желтая семья, розовая. Поглядишь на межу, и кажется — будто шел кто-то по ней и невзначай на сухом, почти бестравном месте расплескал светлые водяные краски.

Кошачьи лапки — цветы особенные. Высушишь их в тенечке — всю зиму они будут стоять как живые и цвета своего не потеряют. А если ты каждый день будешь помаленьку пить навар из кошачьих лапок, то никогда не умрешь, потому что сами кошачьи лапки — бессмертники!

И калужница, и крапива, и пижма представлялись мне вековыми. . .

Но вот однажды я узнал, что Вологодская земля несколько раз заливалась морем. Когда-то нашими местами плавали страшные панцирные рыбы длиной в десять метров!

Потом здесь были ядовитые гнилые болота. В них обитали лягушки величиной с быка и двуххаршинные стрекозы! Гигантские папоротники и хвощи подымались на высоту до двадцати пяти сажен!

А после всюду расплодились ящеры, хищные и свирепые динозавры, ростом в три раза больше слона! Громадные саблезубые кошки таились в зарослях, стадами шли на водопой волосатые носороги!

И все эти страшилища жили как раз там, где сейчас стоит наша тихая деревня и находятся наши спокойные поля и наш кроткий лес, в котором добрейшие, умные звери: лоси, медведи, зайцы, лисицы, белки.

— А где же тогда жили мы? — спросил я Ивана Михайловича на уроке.

— Людей на Земле в то время еще не существовало, — ответил он.

Это было удивительней всякой сказки.

В последний раз море ушло из наших краев 190 миллионов лет назад.

Сейчас у нас остались только озера и реки. Вещезеро — ручкой подать, озеро Сиверское — в Кириллове. Есть озеро Кубенское, озеро Воже. Есть много других больших и малых озер. Недалеко от нас протекает река Модлона. Подальше — Порозовица, Шексна. Еще дальше — могучая, своенравная Сухона. Такой дивной реки нет нигде в мире. Весной и во время сильных ливней она может закапризничать и повернуть в обратную сторону — потечь вспять!

Много разной рыбы водится в наших озерах и реках: карась, чехонь, налим, снеток, плескучая плотвица. Даже трудно представить, что когда-то их не было. И что никаких теперешних зверей и птиц тоже когда-то не было. Даже обыкновенных воробышек!

...Закатав холстяные штаны выше колен, я брожу по лугу меж упругих стеблей калужницы, смотрю через просвеченную солнцем воду на затонувшую траву, на луговые манжетки. Кто это так хитроумно вырезал их и сложил гармошкой в отлогую вороночку? И неужели придет время, когда их не будет?

И ничего нашего не будет? Ни этого луга, ни ручья, ни травы, ни камня на меже, который растрескается от непогоды и превратится в мелкий песок?

Не хочу этого времени! Не хочу!

Разбрызгивая воду выше головы, я перемахиваю ручей, потом бегу вдоль прогона в сторону поскотины — мчусь так, словно за мной гонится древнее Силурийское море с ихтиозаврами и панцирными чудовищами! В груди у меня что-то клокочет, сердце раздулось, вот-вот мыльным пузырем брызнет в разные стороны!

Не хочу! Не хочу! Не хочу!

Но сзади накатывается беспощадная волна, швыряет меня куда-то, и вот я уже лежу на дне морском, не в силах ни двинуться, нидохнуть, ни раскрыть глаза. . .

А наш заливчатый жаворонок слышится даже на морской глубине. . . Сначала тихонько, потом громче, звонче, пронзительней, радостней, и. . . замерла-затихла перед ним дикая силурийская стихия.

Совсем близко, над самой головой, захохотала сорока:

— Чего же ты, дурачок, испужался? Нет у нас никакого моря! Где же бы я тогда стала сорочат своих выводить?

Сидит длиннохвостая тараторка на прогонной жерди, стрекочет, балаболит по-своему. . .

Надо мной беззвучно покачивается высокая трава. Куриная слепота в ней рассыпана звездами. Я встаю и смотрю на эти звезды, как на великое чудо, которое обязан спасти и от воды, и от огня, и от страха.

ПОДАРЕНИЕ БАБУШКИ ИЗ НЕОЛИТА

На пологом склоне мы с Лидой берем чернику. Кустики у черники низкорослые, коренастые, сплошь облепленные крупными ягодами. Возьмешь веточку одной рукой, другой легонько проведешь по ней пальцами снизу вверх, и у тебя полная ладошка. Пястку не жмешь, потому важно не измять ягоду и сохранить на ней голубой налет.

Лида говорит:

— Бери поменьше, да получше, чтобы глядеть в корзину было любо!

На самой незавидной ягоде она удивляет всех деревенских ягодниц.

— Мы, поди, верст десять отмахали, да едва доньшки покрыли, — жалуются бабы, — а у тебя корзина полна, ягодка к яголке!

— А вы б не махали! — смеется Лида. — Разве не знаете: кто вперед спешит — самолучшее проглядит, кто сзади идет — все до ягодки подберет!

У меня нет такой сноровки. Я набираю меньше и не могу брать чисто, без листочков и сосновых иголок, — время от времени сажусь на землю, выдуваю сор из корзины. . .

С неба сквозь смолистые лапы сосен изливается текучий зной. От наклонок болит спина.

— Лида, давай посидим! Ой, как у тебя много! Вдвое больше моего!

— У тебя тоже много! — успокаивает меня Лида, поглядев в мою корзину.

Мы садимся в тени под старой, чудно извившейся сосной. Губы у нас синие, пальцы на правой руке — искрасна-фиолетовые. На Лиде платка нет, волосы не заплетены, связаны веревочкой, потому рассыпались по спине.

Долгий, тягучий звон сосен плывет по-над землей, разливая вокруг горячую тишину.

— Лида, откуда мы пришли в эти леса? — спрашиваю я. — Кто мы такие?

— Мы чужь заволочская, — не раздумывая отвечает Лида.

— Какая такая чужь?

— Да говорю тебе — заволочская! В старину были волоки из реки в реку, а по-за волоками жили лесные финские племена: весь, емь. . . Они назывались «чужь заволочская»!

— И эти лесные племена были мы? — недоверчиво спрашиваю я. — Отчего же тогда мы по-финскому не разумеем?

— А в наши края по рекам приплыли с Ильменя да с Волхова новгородцы и поженились на наших девушках. Те от мужей переняли русский язык, а свой забыли.

— Вот бабье беспамятное! — возмущаюсь я. — Да разве гоже родное-то забывать? Я бы ни за что не забыл!

— Да не вдруг забыли-то; может, много столетий прошло, — говорит Лида. — А кабы не переняли они русского языка, мы бы с тобой сейчас были вепсы!

— Еще того не легче! Почему так?

— Да потому! Вепсы — прямые потомки племени весь. Наши ближайшие родственники по матерям.

Я видывал вепсов на ярмарке. Люди — как мы, а что говорят — не поймешь!

— А по отцам, выходит, у нас родство с новгородцами? — спрашиваю я.

— С новгородцами, — отвечает Лида. — «Ильменские словены» они назывались. Жили по Ильменю, да по Волхову, да в Новгороде. Земляки Александра Невского.

— Вот ведь как знатно! — удивляюсь я.

Однако настоящее диво пришло после того, как в тридцати километрах от нашей деревни, на мысу у слияния реки Модлоны с Перечной, ученые раскопали в земле свайное поселение древнего человека. Они нашли остатки домов, черепки от глиняной посуды, каменные орудия, кости различных животных и даже череп нашей заволочской прародительницы, которая жила на Модлоне четыре тысячи лет назад.

По деревням покатались разговоры, а когда вдруг прошел слух, что ученые по найденному черепу до тонкостей восстановили лицо этой первобытной женщины и нарисовали ее портрет, деревенские толки стали принимать фантастическую окраску.

Сойдутся две бабуси из разных деревень, поручкаются.

— Ой, Никаноровна, цо люди-то бают! — говорит одна. — Цула ли?

— Да цо там цула? Ницо-то я, Касьяновна, не цула, — отвечает другая. — На ухо больно туга стала, ницо-то не разберу!

— Да на Модлоне-то, сказывают, патрет откопали!

— Какой патрет, матушка?

— Да на сажень в земле был закладен! Женщина на ём написана. И будто жила та женщина в стародавние времена, аж до всемирного потопу!

Иван Михайлович на зимних каникулах съездил в Череповецкий музей, поговорил с учеными, которые вели раскопки, привез фотографический снимок с этого удивительного портрета.

В первый день после каникул Лида прибежала из школы раскрасневшаяся с мороза, радостная, размотала платок, повесила на гвоздь шубу, потеряла озябшие колени, кинула на печь настывшие валенки и сразу же схватилась за сумку с книжками.

— Угадайте, что принесла? Ни за что не угадаете! Модлонский портрет! Выпросила у Ивана Михайловича до завтра!

Портрет пошел по рукам. Мать нацепила на нос перевязанные ниткой очки и захохала:

— Да ить она вылитая матушка-покойница! Батько, глянь-ко! И скулки такие высоконькие, и ротик чуток вперед, вроде — трубочкой, и на подусье морщинки сверху вниз!

Отец погладил посивевшую бороду.

— Кажись, и вправду маненько похожа...

— Да что ты, батько, очхнись! — возмутилась мать. — Маненько! Да рази ж маненько? Две капли воды! Дай-ко патрет-то! Авой-вой! Авой-вой! Матушка ты моя родимая! — запричитала она. — Кой-то годик лежишь во сырой во земле...

— Ну уж и заголосила! — буркнул отец. — А по кому — не поймешь! По матушке своей аль по каменной жительнице?

— Молчи, старик! Чего язык-то больно долгий? — рассердилась мать. — А хоша бы и по каменной жительнице! Грех, что ли, по хорошему-то человеку слезу уронить? Да ты на патрет-то глянь! Аль ослеп на старости лет? Природа — вся наша! Знамо дело — сродница! Далеко ли до Модлоны-то?

— От дура! — крякнул отец. — Да ить четыре тыщи прошло!

— А по мне — хошь бы сорок четыре! — отрезала мать. — Природу-то не похеришь! Эвон природа-то — соколом глядит! Авой-вой! Авой-воюшки! — запричитала она снова. — Горюша ты горькая, солнышко ты мое красное, душенька ангельская! И на подусье-то у тя морщиночки, и скулки-то экие высоконькие! Царство тебе небесное, да упокоится твоя душенька!

Она вытерла слезы уголочком платка, отдала снимок Мишке. Тот вздернул цыганские брови, сверкнул белками изпод диких ресниц, расплылся изумленной кипенной улыбкой.

— А и правда на баушку смахивает!

Подошла Дуня, заглянула мужу через плечо.

— А мне сдается, — робко сказала она, — на Устинью из Никулина похожа...

— Да что ты, девка! — накинулась на невестку мать. — Устинью, что ли, не видывала! И нос у ней не такой, и губы не те, и все обличье другое!

— Баушка! — твердо сказал Мишка.

— Баушка, баушка! — подтвердили Лизавета с Людкой. Дуня виновато отошла.

— Да ведь баушку-то я всего три раза видывала...

Я баушку не видывал вовсе, она умерла давно. Посмотрел портрет — древняя жительница мне показалась похожей на соседку Матрену, но я взглянул на мать и сказал:

— Должно, баушка!

— Ну, мама, теперь наш род прославится! — протянул Мишка. — Как пить дать — прославится! Портрет-то в книге напечатают, а люди посмотрят — на кого похож? Да на нашу баушку! И станут считать — чей род старше? И выйдет — наш! Четыре-то тысячи у кого есть? Да ни у кого! У бывших царей Романовых и то было только триста с хвостиком!

— Полно зубоскальничать-то, Мишка! — прикрикнула мать и строго взглянула на Лиду. — Уж ты, дочка, больно востра цветочки-то рисовать да альбомчики красить! А на дело-то тебя нету! Не возьмешь в догаду срисовать патрет-то! Чай, смогла бы, коль захотела!

— Ой, мама, — взметнулась Лида. — Срисую! Только бы белой бумажки найти!

Белой бумаги не было, а в клеточку да в линейку негожа для рисования. Мы с Лидой стали шастать по углам — не заваялась ли какая книга с невырванным титульным листом, и вдруг мой взгляд упал на маминых святых!

— Лида, глянь-ко!

Красочная картинка с изображением трех святых висела на самом почетном месте рядом с иконой. Она была сделана на превосходной глянцевой бумаге, и обратная сторона — чистая!

За окном шелестела вьюга. Мишка подшивал Дунин катанок, мать сидела за прялкой. Веретено вжикало, выписывая кренделя. От натопленной печи тянуло жаром.

Лида увернула вдруг закоптившую лампу, заулыбалась, лисичкой подкатилась к матери.

— Мам, а мам! — затянула она.

— Чего тебе?

— А ты дашь, что попрошу?

— Вот еще!

— Дай, мама!

— Не дам!

— Мам, я за тебя коров подою!

— И так обязана! Ишь, у матери руки-то что крюки!

— Дай, мама!

— Сказано — не дам. Отстань!

— Дай, маманечка! Я тебе сказку расскажу, книжку прочитаю!

Суровость с материнского лица спала.

— Ох и лизуша! Ну, чего тебе?

— Дай твоих святых!

Матушка аж подскочила на лавке.

— Это пошто комсомолу мои святые зандобились? И думать не моги!

— Мама!

— Отойди от греха подальше! В церкву не ходят, бога не признают! Была бы ихняя воля — последнюю иконку на растопку исщепали бы! Ох, горюшко мое горькое! Видать, за тяжкие грехи наградил меня господь такими детками!

— Опять занялась, матка! Заливать тебя, что ли? — строго крикнул отец. — Никто твою икону не щепает, а святые не икона, а картинка, потому отдай девке!

— Да ты что, старик? В уме ли? Картинка, да в святой церкви куплена!

— Поди, убудет с нее святости! — буркнул отец.

Лида, почувствовав подмогу, осмелела:

— Право слово, мама, ничего твоим святым не делается. Я не испорчу. Я только нарисую портрет с другой стороны.

— Для сродницы-то неужто пожалеешь? — ввернул Мишка. — Картинка-то занятней будет. Вешай ее хоть святыми, хоть сродницей.

— Ты сама повесишь, как тебе хочется, — уговаривала Лида.

— А дела не будет, — опять не удержался Мишка, — встанешь в передний угол и перевяртывай то так, то этак! И поклоны пониже бей — то святым, то сроднице! То святым, то сроднице! До того-то славно!

Мать, худая, быстрая, вскинулась, швырнула прялку на лавку, и не успел Мишка рта закрыть — получил затрещину по затылку.

— Вот это взаправду славно! — одобрил отец. — Молод еще над родителями куражиться!

А мать, сердито хлопнув дверью, ушла в сени, наткнулась на что-то в потемках, зашла в избу, зачем-то громыхнула печной заслонкой, двинула чугунами, потом залезла на печь — засопела, завздохала.

— Мам! — молодым бычком мыкнул Мишка. — Да я ж ненарочно!

— Ученые все больно стали! — всхлипнула мать. — Одна я — темная бутылка... Ни читать, ни писать... Сколь хочут, столь изгиляются...

Это были не причеты — настоящие обидные слезы.

Лида залезла на печку, прижалась к матери, горячо зашептала:

— Да что ты, мама, уймись-ко! И не надо мне никаких святых! Пушай висят! Я и в тетрадке нарисую. Ничего, тоже получится...

Мать притихла.

— Да уж ладно — бери. Что с тобой сделаешь?

...На дворе на разные голоса выл ветер, метель колошматила в стекла. Настала ночь. Захрапел на лежанке отец, уснули на деревянной кровати под пологом молодые — Мишка с Дуней, на полотах седьмой сон досматривали Людка и Лизавета. Только мы с Лидой сидели за столом перед керосиновой лампой и на оборотной стороне картинки с изображением трех святых рисовали портрет нашей сродницы. Рисовала Лида, а я следил, как скользит кончик ее карандаша, оставляя на бумаге сеть тоненьких линий. В нужный момент я подавал ей резинку и все время наблюдал, как вскидываются и опускаются Лидины ресницы, а в глазах светится что-то нетерпеливое, быстрое и горячее...

Я смотрел на нее с восторгом... Мне хотелось быть таким, как она, — умным, умелым, ловким... Меня подмывало обнять ее за шею, прижаться к ее щеке...

Утром зашумел самовар, запахло отварной картошкой, шаньгами и топленой сметаной. Когда семья собралась за выскобленным добела столом, Лида подала маме свой рисунок:

— На, мама, повесь!

Лида увеличила портрет почти в два раза, а получился он у нее точь-в-точь как на карточке: те же высоконькие скулки, тот же немножко вытянутый вперед рот.

Все молча серьезными глазами глядели на мать, а у ней вдруг дрогнули губы:

— Думала ли, гадала ли? Золотая у тебя головушка, доченька... — Мать глотнула слезы. — Прости мои прегрешения, пресвятая богородица! Простите, святые угодники!

И она повесила картинку святыми к стене.

Никто не сказал ни слова, не улыбнулся.

После завтрака я подошел в передний угол и, встав на колени на лавку, написал под портретом: «Наша баушка из неолита».

До самой весны мы с Лидой читали все, что находилось в школьной библиотеке о наших предках из племени весь.

«Весь» — это значит «большая семья». И племя было большое, а люди доверчивые, семейные. Рыбу промысляли, зверя. В одиночку медведя ломали! А рогатин-то железных тогда не было — топоры каменные да ножи кремневые.

Еще до сей поры в названиях сохранились следы племени весь: Весьегонск, Череповесь, Луковесь, Грязовесь. А вепских названий рек, озер да деревень — не сосчитать! Они подряд! Кимозеро — «токовое озеро», Кондега — «медвежья река»; река Пидьма означает «затор», река Паша — приток Свири — значит «широкая», а сама Свирь — «глубокая, как озеро».

Ничего этого мы раньше не знали. Идем в деревню Кургино и не ведаем, что это «Журавлиное» по-вепски, а Кяргино означает «Иволга». Знать, в окрестностях Кяргина когда-то водилось много этой птицы. Река Модлона тоже, наверное, вепское название, но что оно означает, мы не нашли.

Весною мы с Лидой задумали съездить на Модлону в гости к нашей бабушке из неолита, да то навоз возить надо, то боронить, потом сенокос начался. Вырвались только в Ильин день, когда вся деревня гуляла и пила наваренное заранее пиво.

Лида в тот день разбудила меня ни свет ни заря. Стараясь не шуметь, не скрипеть половицами в сенях, мы взяли котомочку, топор, заступ и скошенным лугом направились в сторону деревни Веретевы, где на берегу Вещезера стоит веселая белая церковь.

Солнце застало нас уже на Вещезере. Я веслал, Лида правила. Вода тихая, туман за камыши цепляется, ни чайка не пролетит, ни чибис не крикнет, лишь только кой-где плеснет запутавшаяся в сетях рыба. Малость боязно, будто и впрямь плывем в каменный век.

Берег у Вещезера низкий, лесистый, а на той стороне на много верст — клюквенные болота. Видно, и древние люди на этом же болоте собирали клюкву, как мы теперь собираем...

Заголубела в заболоченных берегах Модлона, а когда солнце перевалило за полдень, мы пристали к узенькому мы-

ску на слиянии двух рек. Они, эти реки, как подружки, идут здесь совсем рядом, и между ними — узкая, длинная, чуть изогнутая стрелка земли. Модлона не широка, сажени четыре, Перечная тоже не шире, а соединившись, они образуют порядочный разлив. Слева — посуху — Гостиный берег, справа — берег пониже, Вшивая тоня называется. . .

Бойкое место здесь было в древности — плыви куда хочешь. В озеро Воже, потом по Свири в Онегу и — в Белое море. А если надо — плыви Перечной, потом Сулой в озеро Кубенское, а оттуда рекой Сухоной в Северную Двину и опять же — в Белое море! А можно речками Ухтомками с переволоком у озера Волоцкого добраться до Белого озера, потом по Ковже и Вытегре попасть в Онежское озеро, а дальше — Свирию в Ладогу и в Балтийское море! На Модлону приплывали купцы из отдаленных мест и плыли дальше, куда кому надо. По преданию, на Гостином берегу они перегружали свои товары.

На стрелке мы нашли несколько раскопов глубиной почти в рост человека. Их вырыли ученые. Разрез почвы в раскопах — три слоя: желтая супесь, темная супесь и торф.

— Где будем рыть? — шепотом спросил я Лиду, словно боясь, что древние люди, услышав, рассердятся и сделают нам что-нибудь плохое.

— На границе темной супеси и торфа, — тоже шепотом ответила Лида. — Иван Михайлович рассказывал, тут ученые больше всего нашли. Этому слою четыре тысячи лет.

Она вырезала лопатой ровный кубик в нижней части темной супеси, положила его к ногам. Присев на корточки, мы принялись осторожно разминать землю пальцами. . . Второй, третий кубик вырезала Лида. В стене раскопа образовалась нора. Я стал рыться в ней руками.

— А ты знаешь, каких больше всего зверей водилось тогда в наших краях? — спросила Лида.

— Каких?

— Бобров. Их было очень много. Но были и олени, и лоси, и куницы, и собаки, и барсуки.

— А как же это узнали?

— Да по находкам в земле. Бобриных костей нашли всего больше.

— Вот бы нам найти какую-нибудь кость! — вздохнул я и вдруг почувствовал, что рука наткнулась на что-то твердое.

— Лида, нашел чевой-то! Глянь-ко! Черепяга! — закричал я, забыв всякую осторожность. — Да, кажись, не одна!

Три глиняных черепка с простеньким клиновидным узором выковырял я из норы. Черепки были от одной небольшой посуды. Сидя на корточках, мы с Лидой внимательно рассматривали находку.

— В этой кринке наша баушка кашу варила, — сказал я.

— Детей скликала, — продолжила Лида. — Подьте, дети, кашу кушать!

И, задумчиво поглядев мне в глаза, тихо спросила:

— А может, тогда и каши-то никакой не было?

На радостях дело пошло ходко. Мы изрыли раскопы норами и нашли еще каменное грузило, кремневый скребок, а в слое сухого торфа — небольшой слипшийся комочек семян льна. Лида положила комочек на ладонь, чуть нажала, и он распался на одиннадцать гладких, блестящих, будто вчера вывалившихся из льняной головки семечек...

Это была самая удивительная находка — семена от растения, которое цвело четыре тысячи лет назад! Неужели они живые? И могут взойти, дать корешок, зеленый росточек?

Мы решили тотчас отправиться к Ивану Михайловичу, столкнули лодку с отмели, вдвоем уселись за весла — каждому по веслу...

Настала ночь. На тихом небе показалась задумчивая Веретевская церковь. Наша лодка проплыла мимо и уткнулась в песок у дальней деревушки, спящей на берегу Вещезера. Ныла от долгой гребли спина, саднили на руках мозоли. Туман стлался над камышами, над лугом. Низкорослый ольшаник стоял в нем, как в молоке, погруженный до пояса, а в небе плыло серебряное лицо луны.

До села, где живет Иван Михайлович, семь километров комариной лесной дороги. Сколько времени надо, чтобы их пробежать? Миг, если подумаешь о семенах льна, завязанных в уголок Лидиногo платка...

Дверь в доме Ивана Михайловича не запиралась, но мы стучали, пока в сенях не мелькнула тощая белая фигура.

— Лида? — удивился учитель. — Ты почто в поздноту такую?

— Иван Михайлович, — заторопилась Лида, — мы только с Модлоны... Семена нашли...

— Проходите. Ужо оденусь, — сказал учитель и скрылся за дверью. В доме засветилась лампа. Марья Львовна, учи-

тельница французского языка, жена Ивана Михайловича, накинув ситцевый халатик, заматывала на затылке маленькую седую кичку.

Я положил на стол перед лампой черепки, грузило, кремневый скребок. Лида развязала уголок платка с семенами и тоже осторожно положила на стол.

— Эти находки характерны для каргопольской культуры, — сказал Иван Михайлович, рассматривая черепки и не обращая никакого внимания на семена.

— А семена? Иван Михайлович! — не выдержал я. — Мы нашли семена!

— Где вы их нашли?

— В торфе, на глубине полтора метра, — ответила Лида. Иван Михайлович высыпал семена на ладонь.

— Бывали находки ископаемых семян, но в гробницах, пирамидах... А чтобы так... Нет, вы что-то путаете! И по виду — разве это древние семена?

— Но ведь они нашли их на глубине, — возразила Марья Львовна. — Как семена могли попасть на глубину?

— Вот этого я не знаю. Но как-то попали. Кто-нибудь рассыпал их недавно.

— До нас там никто не копал! — воскликнул я.

— В яме была непорухенная стена. Мы в этой стене рыли, в нижнем слое, — сказала Лида.

Иван Михайлович покачал головой.

— Лида, ты девушка разумная, — сказал он. — Подумай сама, разве может семечко пролежать в земле четыре тысячи лет? Я знаю — вы меня не обманываете. Вы ошибаетесь. Он протянул Лиде ладонь с семенами.

— Марья Львовна, накорми ребят да уложи спать.

Разговор кончен. Иван Михайлович нам не поверил.

Лида завязала семена, медленно сложила в платок остальные находки.

— Спасибочко, Иван Михайлович. Мы пойдем, — тихо сказала она. — Простите за беспокойство...

— Да что вы? Куда ночью пойдете? — засуетилась Марья Львовна. — Да еще голодные!

— Мы не голодные, Марья Львовна, — ответила Лида.

— Мы цельный рыбник с собой брали, — подтвердил я. — Да и лодка у нас в Болознове...

— Неужто вы сейчас лесом в такую даль до озера побегите?

— Нету время-то у нас, — строго сказал я. — Завтра рожь зажинать надоть. Мать бранить будет, ежели до утра не придет. . . У ней и бригадиру про нас говорено. . .

Мы вышли из учительского дома убитые, будто нам подсекли крылья, которые только что несли нас над Модлоной, над Вещезером, над лесом. Хотелось плакать. Усталость валила с ног. За деревней мы сели к первой же попавшейся копне сена.

— А ты не горюй, Лида, — сказал я, посмотрев на ее расстроенное лицо. — Да мы в Череповец с тобой поедем! Найдем тех ученых, семена им покажем!

— Не поверят! — грустно сказала Лида.

— Поверят! Мы им скажем! — кипятился я.

— Раз уж Иван Михайлович не поверил, они — и подавно! Скажут — придумали! Семена летошние принесли. . . Ученым ведь все надо своими руками. . . Своими глазами. . . Они — такие! Им слов мало. . . Они бумажку должны составить, акт называется, — и гербовую печать к нему прислужить. . .

Ветер нес с Вещезера прохладный березовый дух. Свежие запахи леса мешались с горячими ароматами сена, дурманили голову, усыпляли, и мы забились в копну, прижались друг к другу и, враз обмякнув, поплыли куда-то в неведомые дали под вечными звездами. . .

Восход солнца все прояснил, сделал легким и радостным. Взявшись за руки, мы с Лидой шли лесом по дороге в Болознову.

— Да не надо нам никаких ученых! Мы сами с тобой будем ученые! — весело говорила Лида. — Если семя живое, то и у нас оно прорастет!

Дома она положила семена в мокрую тряпку на блюдечке.

— Ты только без меня не смотри, — сказала она. — Будем смотреть вместе. Утром, на третьи сутки.

Дни тянулись бесконечно долго. Несколькими раз я подходил к сестре:

— Давай поглядим!

Но она отвечала:

— Нет, еще рано. Полей чуток нехолодной водичкой.

Я поливал и отходил от окошка, чтоб не соблазняться.

На вторые сутки вечером Лида с матерью доила коров на только что построенном колхозном дворе. Я не удержался, развернул тряпицу, глянул и, словно подброшенный пружи-

ной, вылетел на улицу, с громким криком побежал к скотному двору:

— Проросли! Проросли-и-и-и!

Лида забыла, что я нарушил уговор, бросила подойник, кинулась вслед за мной к дому.

Из одиннадцати семян шесть лопнули, выпустив по беленькому червячку...

На следующее утро мы насыпали в цветочный горшок хорошей черной земли и посадили проросшие семена. Шесть тоненьких росточков один за другим вышли на свет. Мы каждый день поливали этих пришельцев из каменного века; днем ставили их на солнце в огороде, к ночи заносили домой. Росточки набирали силу, тянулись вверх, кустились и к осени выросли мне до пояса, а когда они вдруг робко и нежно зацвели цветом чистого июньского неба, мне привиделась во сне баушка из неолита. Будто бы она вошла в нашу избу, поклонилась в пояс, а лицо у ней — как на портрете, а надет на ней почему-то халатик Марьи Львовны, она запахивает его на груди и спрашивает у меня:

— По нраву ль тебе мой ленок?

— По нраву, баушка, — отвечаю.

— А почто ж не спросишь — к чему мое подарение?

— К чему, баушка? — спрашиваю.

— А к тому, — говорит, — что человек должен такие взращивать в себе семена, чтоб и через тыщу лет они всходили цветами лазоревыми.

Прошло с той поры много лет, и вот, однажды, листая в библиотеке научный журнал, я увидел знакомый с детства портрет древней жительницы Заволочья, тот самый, который когда-то перерисовывала Лида. Здесь же был напечатан подробный археологический отчет о раскопках на Модлоне.

Несколько вечеров я посвятил этому отчету, прочитал его от начала и до конца. Долго и внимательно рассматривал фотографии находок, рисунки, схемы раскопок. По карте, напечатанной в журнале, живо вспомнил, где стояла наша лодка, где мы разводили костер и ели рыбник, где нашли черепки, где грузило, где — семена, и где, на каком месте после главной находки, вне себя от радости, плясали подобно первобытным людям.

Оказывается, и после наших поисков ученые несколько лет подряд производили раскопки на Модлонской стрелке и нашли много интересного, в том числе остатки деревянной

прялки и семена льна. Один раз семена были обнаружены прилипшими к сваям, другой раз — в торфе, в нижней части темной супеси, где нашли их и мы.

Ученым удалось из найденных семян вырастить четыре стебелька льна, но они погибли перед цветением. Как цвел древний лен, видели только мы. Бабушка из неолита проявила к нам большую доброжелательность. Видно, и впрямь она — наша сродница.

КИРЬЯНОВ ГЛЯДЕНЬ

Во всех деревнях, прихотливо раскидавшихся по-над Шексной, ведутся схожие разговоры.

— Где морошку-то брала, соседушка?

— Да за Кирьянов глядень бегала.

— Как поближе на вырубку-то пройти?

— Да от Кирьянова-то глядню по тропине на правую руку все прямо да прямо, и услышишь — топоры тюкают!

Этот высокий холм на берегу Шексны знают и стар и млад.

Чуть начнет поспевать земляника — ребята туда ватагой. Стомятся ли от жары — река рядом, а они идут за три версты к глядню купаться. Вечером народ возвращается с пожней, люди взойдут на взлобок, молодежь — кубарем в реку, а пожилые усядутся под соснами, отдыхают, глядят. . . На то и глядень природой устроен, чтоб усталый человек зашел да поглядел, какая есть на свете красота.

С холма видно на много верст кругом: лоснящаяся Шексна, ее противоположный, чуть голубеющий берег, и этот берег, источенный водами, всхолмленный и овражистый, заросший лесом, и такой тихий, что девичьи визги на реке кажутся не громче комариного писка.

Солнце садится всегда напротив Кирьянова глядня, опускаясь прямо в воду. Со стороны видится, будто по-за соснами идет в небо огненно-красный столб.

Сосен здесь только пять — стоят нерушимой купиной. Ни сучка в этой купине ненужного, ни веточки лишней. А подойдешь ближе — земли-то под соснами нет! Ее выдул ветер, унесла непогода. Корни оголены на целый метр, и сосны стоят на них, как на гигантских паучьих лапах. Кажется — злая сила когда-то налетела на деревья, искорежила их, извила, а вырвать с корнями все-таки не сумела. . .

Люди рассказывают, зимой 1612 года, в черные дни литовского разорения, пятеро братьев Кирьяновых вели с Белого озера обоз со снетком, и где-то на перепутье повстречалась им девушка лет шестнадцати.

— Подвезите, дяденьки! — просит девушка. — Спалили, проклятые, избу, отца и мать зарубили. . . Одна я в лес убежала. . . Добираюсь до Кириллова. Тетка там у меня. . .

Усадили братья сироту на передний воз, в тулуп закутали, угощают гостинцами, припасенными для своей ребятни, разговорами развлекают, да вдруг навстречу из-за холма — отряд верхами! Не успела передняя подвода свернуть с дороги, вражье племя обоз окружило — поляки поспрыгивали с коней, на возах со снетком роются, у Кирьяновых лошадей зубы разглядывают. Подкатил пан в расписных санях. Девчушка глянула на него и обомлела, жметесь к своему возчику:

— Батюшки мои! Это он тятку да маманю зарубил!

Утерпи она, не закричи, может, и обошлось бы. А тут пан ее увидал: молоденькая, личико — кровь с молоком, глазки — как звездочки!

— Взять девку! — командует.

Два поляка подскочили, тянут девушку с воза. Старший Кирьянов отбросил обоих, в пояс поклонился пану.

— Добрый пан, пожалей дите! Прикажи не трогать!

А пан кричит:

— Взять девку!

Поляки опять было к ней, но обозник — рукавицы прочь, плюнул в ладонь, да за дубину, что на возу была заранее закладена.

— А ну, братушки, пожалуем панов!

И пошел крошить во все стороны.

Братья тоже были ухари порядочные. Засвистели пять тяжелых дубин, затрещали поляцкие черепа. Миг единый, а на снегу — дюжина скорченных тел. Озлился пан, приказал живьем взять дерзких обозников, а попробуй — подступись к ним! Битва разгорелась страшная. Девушка ни жива ни мертва на возу, да полякам недосуг, а тут один из Кирьяновых догадался — стеганул у нее коня:

— Гони! Не зевай!

Вывалась из беды девушка, а Кирьяны до последнего вздоха держали свой братский круг, падали замертво и вдруг вздымались, наповал раззили врага. . .

Когда через несколько часов к месту боя подъехали на подводах наши мужики, — братья Кирьяновы, все пятеро, мертвые лежали на кровавом снегу, а вокруг них валялось сорок поляцких тел...

Холм на Шексне-реке с тех пор стал называться Кирьяновым гляднем. А потом выросли на нем пять сосен. Посадил ли их кто, или сами они народились — это неведомо, но и сейчас стоят могучие деревья, мертвой хваткой вцепились корнями в землю...

После сооружения Волго-Балта широким проточным озером разлилась Шексна, затопив берега на много километров. Кирьянов глядень стал маленьким островком вдали от берега. Под вечер идет вдоль Шексны по дороге сельский люд, смотрит на огненный столб, поднимающийся от берега в небо, на остров, на сосны, плывущие в красной воде... Кто молчит, улыбаясь земной благодати, а иной и не выдержит:

— Мать честная! — воскликнет. — Закат-то Кирьяновой кровушкой разгорелся!

Елена Пудовкина

НА НЕБЕ

Где черпает силы поток?
Вопросу не будет ответа.
Листовкой ложился листок
На мокрый гранит парапета.
Был август. Из тысячи строк
Потерянной кем-то газеты
Вдруг вышел кораблик и в срок
Пустился скитаться по свету.
Попытки — какой от них прок?
Не волны погубят, так сети.
Летит над Невою гудок,
Так явно похожий на ветер.
И новая рвется страница
В такой же корабль превратиться.

В ЭКСПЕДИЦИИ

Оголены стволы, и ночи долги.
Радист стреляет уток из двустволки,
И лодки эха мчатся по реке.
Проснулась память о вагонных полках,

Проснулся пес и обернулся волком,
И затерялся где-то вдалеке.
А наш барак, в любые годы стойкий,
Стоять остался, и скрипели койки,
И окна заволакивали сны.
И повариха, в рельс ударив звонко,
Мне улыбнулась и сказала: «Вон как
Дороги все сюда занесены».

* * *

Экономка моя — тишина
Мне молчать не дает, и бесспорно,
Что все строки мои, словно зерна,
Собирает в котомку она.

* * *

Зима без снега и мороза,
без тайных знаков на стекле.
Календаря метаморфозы
готовят лужи в феврале.
И четок график опозданий,
событий, дней, имен, свиданий.

* * *

Ильмень-озеро. Бывший скит.
Для раздумий и для тоски
подходящее место. Пусто.
Удивительна наша Русь,
признававшая даже грусть
за достойное веры чувство.

* * *

Овальные лужи оправлены кружевом льда,
на снежной поляне положены желтые листья.
Но только не нужно пока приближаться сюда,
пускай же художник продолжит движение кисти.
Пусть спрячет получше зеленые лица вода,
заря затушает глазам незнакомые дали,
ночную дорогу заменят дневной, и тогда
художник уйдет.

И появятся люди в финале.

Наталья Ивасенко

ТЕПЛОЙ ЗИМОЙ

РАССКАЗ

Он понимал: нельзя, нельзя смотреть на нее так — неотрывно, не мигая, — нельзя. Он видел, как она, поймав его взгляд, начинала смущаться, тереть лоб, хмуриться. Это так не увязывалось с ее круглым розовым молодым лицом. Но он ничего не мог с собой сделать и продолжал при случайных встречах все так же смотреть на нее.

Он ничего о ней не знал, кроме имени — Нина Сергеевна. И не торопился узнать. Но когда видел ее — вспоминал другую, когда-то любимую им.

Раньше он не позволил бы себе вспоминать. Никаких воспоминаний! Теперь же он не боялся их. И они отчетливо и свежо вставали в памяти. Он никогда ничего не сможет забыть.

...Ах, какое удивительное у них было начало! Лето. Поездка на Оку в деревню. Вдвоем. Жизнь у стариков в старом доме. Раннее пробуждение из-за горластого петуха и радостно орущих кур. День начинался рано, и все же он был короток. Они просто не успевали с Ольгой выполнять всего того, что было намечено. И у него и у нее было одно — громадное желание работать. И самое главное, была редкая ясность, как именно надо работать, что делать. И все дни возбужденное от удачной работы настроение. И некогда ему было тогда подумать о ней — была уверенность: вот так всю жизнь они будут рядом. Оба молоды. Художники. Институт позади. А впереди слава. Обязательно известность. Но это потом. А сейчас ни-

чего нет, даже денег, оба в дешевых трикотажных спортивных костюмах, — ну, это еще не беда. Не хватает на краски, на холст — это хуже. Ну, ничего. Ребята ахнут, как только увидят, что они привезли. Пусть посмотрят, как надо работать. И некогда было подумать об Ольге. Да она и не жаловалась никогда, только один раз (в связи с чем? после чего? — вот этого он никогда не мог вспомнить) как-то вечером сказала ему:

— Андрей, ты знаешь, ведь я скоро умру.

— Как это?

— Правда.

— Ну, хватит говорить глупости!

— Я пошутила. Ты меня любишь?

— Очень.

— Вот и хорошо. — И еще раз сказала, чтобы он окончательно успокоился: — Я пошутила.

Она прижалась к нему и долго сидела рядом молча. Впервые, кажется, за все лето они не работали и весь вечер провели отдыхая. Да и лето кончалось. И слова ее вскоре забылись. Он понял так: она устала. Вот скоро вернутся они в город, и можно будет отдохнуть.

Как он ошибся! Она умерла.

Все эти десять лет он боялся воспоминаний. И потому не мог ни минуты сидеть без дела. В институте он преподавал рисунок. Мир чистых свободных линий, который он ежедневно создавал, как будто и ему самому помогал избежать разрушения. В мастерской ему на помощь приходила живопись: белый грунтованный холст не пугал, а звал его все эти годы, и новые, все новые работы покидали стены его мастерской: сперва на выставки, потом, купленные, оказывались в самых неожиданных уголках страны. Он привык расставаться с работами: стены в его мастерской были пусты. Как-то сначала ему было жаль свои картины, портреты, — ведь столько отдано сил, нервов, столько вложено в них своего, — и вот тебе: расстаться навсегда. И был момент, когда он отказался от закупки — после выставки работу сразу же привез в мастерскую. И тут же пожалел об этом. Радостной встречи не произошло. Тот контакт, какой был между ним и его картиной, исчез. Картина, увиденная глазами тысяч зрителей, как будто отодвинулась, отстранилась от него и зажила своей жизнью. И мало того, его даже неприятно удивило — неужели из-за нее он так много страдал, не спал ночей? Ему она больше была не нужна. Но может быть, нужна другим? Ведь ее хотели купить у него!

После этого он научился расставаться с работами спокойно. И только иногда рассматривал вновь и вновь то один эскиз, то другой, — эскизы не утрачивали заряда: мысль навечно схватывалась красками.

Вот уже месяц он знает Нину Сергеевну. Он понимал: нельзя, нельзя смотреть на нее так — неотрывно, не мигая, — нельзя. Но он ничего не мог с собой сделать.

Все изменилось в его жизни. Теперь он мог просиживать в мастерской часами без дела, не узнавая себя и не пугаясь этого, мечтая и не мечтая, иногда ни о чем не думая. Порой не зажигая света. И только сейчас он понимал, как долго жил в постоянном напряжении, как давно он устал.

Теперь он мог неторопливо бродить по улицам и удивляться зиме. Необычная в этом году зима. Очень теплая. Уже конец января, а тепло. И целыми днями тает снег, как весной. Падает снег и тут же тает, хотя и нет солнца. Удивительная зима.

Ему тридцать восемь. Он расправляет плечи, глубоко вдыхает свежий от талого снега воздух. Прикрывает глаза. И в какой уже раз начинает думать о Нине Сергеевне.

Он совсем одичал за эти годы. Боится подойти к ней, заговорить. Только короткое, поспешное, еще издали: «Здравствуйте!» Нет, надо просто взять себя в руки. Смелее! Ведь она смущается от его взглядов. Значит, он тоже нравится ей. Иначе бы она не смущалась, не краснела бы при встречах.

Он подошел к ней вечером после работы.

— Разрешите? — спросил, а у самого уже в руках ее пальто, распахнутое перед ней.

Они идут по коридору рядом. Дверь.

— Пожалуйста!

Она проходит вперед, но нельзя, чтобы она сейчас ушла. Надо что-то сказать ей. Срочно. Он скажет ей, какая в этом году удивительная зима, как хорошо было бы сейчас побродить по городу, или — если она хочет — можно куда-нибудь пойти посидеть.

— Вы торопитесь?

— Конечно! — легко, не раздумывая, отвечает она. — Дома ждет муж, дочка.

Вот уже десять лет его спасают папиросы. Две пачки в день — это норма. Он торопливо закурил.

А она стоит перед ним растерянная, готовая просить прощения за то, что счастлива.

ЧУДАЧКА

РАССКАЗ

Так было легко и просто: прийти к Олегу вечером в одну из суббот, встретиться у него с другими ребятами, посидеть вместе, попить пиво, заедая его маленькими солеными сухариками, прочитать свой рассказ или послушать стихи других. А потом: «До свидания! До свидания! До следующей субботы!» — и никаких лишних разговоров, никаких объяснений, объятий, поцелуев.

Сегодня же весь вечер Олег сидел с ней рядом, пристально поглядывал на нее, а к концу вечера совершенно неожиданно обнял ее. Она не отстранилась, только растерянно и беспомощно посмотрела вокруг. Олег ей нравился, и то, что он называл ее не как все — Вера, а Верочка, пусть по-дружески, не придавая этому значения, — все равно это ее волновало. Но ей казалось, она и виду не подавала. А то, что щеки ее горели и руки были холодными при встречах с ним, так и этому она находила объяснение: ну и что же? Да, она волнуется, когда читает свой очередной рассказ, да, ей не безразлично, когда ее хвалят ребята и он, Олег, которого так уважают здесь, тихо, но так, что все слышат, говорит:

— Прелестный, прелестный рассказец.

После его слов ей так хотелось писать еще лучше и торопиться к нему навстречу, чтобы снова видеть его улыбку, чтобы снова слышать его слова.

Раз-два, со лба рукой убрала челку — волосы у нее коротко подстрижены — вот и готова прическа. И неизменно одно и то же: свитер и юбка или свитер и брюки. Косметику она не любила, и время, проведенное перед зеркалом, считала потраченным бездарно. И все-таки она нравилась мужчинам. Но их ухаживания, порой робкие, порой настойчивые, как правило, только веселили ее, к ним она не относилась серьезно. Замуж вышла только потому, что не посмела ясным голубым глазам своего будущего мужа сказать «нет». Она видела, что он некрасив, чуть сутуловат, застенчив, и потому пожалела его, когда он униженно выпрашивал у нее любви.

Он уже тогда знал, что она пишет рассказы — небольшие, чаще всего о любви, о встречах, но молчал: пишет и пишет, ему какое дело. И когда был опубликован ее первый рас-

сказ, — тогда они были уже женаты, — похвалил ее: «Молодец!» И тут же спросил, сколько ей за него заплатили. Вера так и не поняла, почему она молодец — потому ли, что написала рассказ, или потому, что принесла в дом деньги. Уточнять не стала — это ей показалось унижительным.

После работы, после того как дома было сделано необходимое: приготовлен ужин, вымыта посуда, выстирано белье, — Вера садилась за письменный стол и просиживала час, два, не записав ни слова. Но стоило лечь в постель, погасить свет, как рассказ начинал мысленно писаться — вот и начало есть, вот замелькали какие-то детали, — и тогда она вскакивала, второпях набрасывала халат и снова садилась за стол, но теперь уже писала быстро, будто под чью-то диктовку. Муж и к этому относился молчаливо, только глубоко вздыхал и резко отворачивался к стене, всем своим видом показывая, что она мешает ему спать — жили они в одной комнате. Она это видела и начинала на него злиться за то, что он так далек от нее в эти минуты, но злость у нее скоро проходила и уже не мешала ей работать дальше.

Но однажды он не вытерпел, обнял ее за плечи и, усмехаясь, спросил:

— И не надоело еще тебе чепухой заниматься? Ложись-ка спать.

Она не сказала ему ни слова, но так посмотрела на него, что он испуганно пробормотал:

— Ты столько работаешь, а что толку? Рассказы твои не печатают.

— А тебе они нравятся?

— Ну, это значения не имеет, — уклончиво ответил он. — Если бы я был редактором, тогда бы мое мнение было важным. А потом, ты прости меня, зачем ты пишешь? Ты кончила институт, работа твоя совершенно не связана с литературой. Что, тебе больше других надо? Я тебя и так люблю, без всяких твоих рассказов. А кого ты хочешь еще удивить?

Больше она в тот вечер не работала. Погасила свет и села у окна молча. Ей неприятно было видеть его. А уйти некуда. Было уже поздно.

«Чудачка ты все-таки, Вера. Чего тебе надо? Мужик не пьет, не курит. Серьезный. Поищи, поищи еще такого...», — осуждали ее знакомые, как только узнавали, что она разошлась с мужем. А у нее ни на минуту не появилось раскаяния. Наоборот, недоумение: как, как могла она жить с ним ря-

дом, с человеком, совершенно ей чуждым? Только одно успокаивало — слава богу, за эти два года детей не появилось.

Она была уверена, что после развода будет много писать. Но, странно, одиночество — первое время особенно — угнетало ее и мешало сосредоточиться. Поэтому она не торопилась теперь после работы домой и была рада, когда знакомые ребята приобщили ее к субботним встречам у Олега. Сперва она отмалчивалась и только слушала, что читали другие, но потом и сама вновь загорелась и начала работать.

— Прелестный, прелестный рассказец, — она любила про себя повторять слова Олега, сказанные им по поводу того или иного ее рассказа. Значит, «прелестный», «прелестный». Как хорошо! Ему можно верить, он сам работает много и давно печатается. И вот сегодня Олег весь вечер с ней рядом, и чаще, чем к другим, обращается к ней, и так внимательно и ласково смотрит на нее. Он никогда не провожал ее, а тут идет по лужам и смеется.

Он довел ее до дома, поднялся по лестнице и возле дверей поцеловал ей руку.

— Не надо.

— Не надо руку. Надо иначе, да?

Он поцеловал ее в щеку, в шею.

— Не надо, правда.

— Но почему? Хочешь, пойдем к тебе? Хочешь, вернемся ко мне?

Он ей нравился. И губы у него были нежные. Ей так легко было согласиться, засмеяться от счастья, — какая разница, куда идти, лишь бы быть вместе. Но она молчала и ждала еще каких-то важных для себя слов. Ей хотелось от него признания. И было страшно, что вот так просто, даже грубо предлагается постель. И потому на его поцелуи она снова ответила:

— Не надо.

— Надо! Чудачка! Надо! Рассказ новый напишешь.

Пощечина получилась звонкая, даже она не ожидала, что так выйдет. Хотела сказать ему:

— Если ты обо мне так думаешь, то хоть литературу оставь в покое.

Но не сказала. К чему?

Захлопнула дверь.

Наталья Лесниченко

* * *

Твоих неведомых путей
мне не изведать.

Жесткий камень,
песок ли, плывший под ногами,
тебе дал силы, мой Антей?

А говорят, ты стар и сед.
Но седину мне любо трогать.
Наверно, пыльные дороги
тебе оставили свой след.

Я забываю разность лет
и, что важней, событий разность,
и мой покой ничто не дразнит,
неколебим, горит мой свет.

Но шрама старого коснусь
губами я неосторожно,
и запах пыли придорожной,
военный запах, сгонит с уст
улыбку.

Тысячею дней
испуг мой пролетит мгновенно. . .
Земля да будь благословенна
за то, что ты в живых на ней.

* * *

Придет пора присесть перед дорогой.
Я загляну за черный край беды.
Вновь пробегу песчаный склон пологий
и снова буду медлить у воды
заплаканного Финского залива,
где первый лед хрусталит берега.
Я в радости была нетерпелива,
я ни минуты впрок не берегла.
И вот ловлю последние мгновенья,
они дрожат снежинками у глаз.
Вот солнца луч передвигает тени,
вот чернота мне в ноги улеглась.
А капли с веток, будто метрономы,
ведут покою зыбкому отсчет,
но в капельке последней, невесомой
надежда затаенная живет.

МАМЕ

Яблочко да от яблоньки
падает недалёко.
Мамочка моя, мамонька,
знаю, ты рядом, около.

Не свидеться и не встретиться,
но где-то в моем смехе
аукается и светится
улыбок твоих эхо.

Твое ли в меня вторжение?
Неразделимость наша?
Глаза с твоим выражением
в трех зеркалах пляшут.

Петр Железнов

ЭТОТ МАЛЕНЬКИЙ ХОРОШИЙ ГОРОД

РАССКАЗ

1

Мне понравился этот город на берегу Балтийского моря.

И в общежитии неслыханно повезло — подвернулась одно-местная комната, а это почти квартира, в которой я мог жить по-своему...

Мог... Но вчера рассчитался.

Продал «Спидолу», отнес букинисту книги, всего на сто двадцать рублей.

Вещи уложены. Поеду завтра, а сегодня брожу по городу, по улицам этого хорошего маленького города, и почему-то на сердце не то... Может, в погоде дело, не исключено, потому что начало марта, за день сто раз меняется погода, то снег, то мороз, то оттепель, а пока вот ветер холодный и мелкий дождь бьет в лицо.

И почему-то все на меня смотрят, никуда от этих взглядов не деться, идешь как перед всем миром виноватый...

Эти состояния во мне повторяются давно, хотя и не очень часто, и страшно все приземляют. Я совсем забываю, что Земля по сравнению со Вселенной песчинка, забываю, что испытываю

ваю иногда ночами, глядя на звездное небо, забываю о книгах, которые прочитал. . .

Навстречу идет девушка, похожая на мою сестру. С сумкой, полной продуктов, лицо озабоченно, ушла вся в себя.

Я вообще много раз, в разных городах встречал девушек, похожих на мою сестру. И в этом городе, как только приехал, увидел одну. Она работает на почте, в отделе посылок.

Все эти похожие на мою сестру женщины и девушки во многом одинаковы. Они все довольно красивы, но красота их не вызывающая, а какая-то спокойная и, если можно сказать, крестьянская. Одеваются они старомодно и дешево, но с трогательной аккуратностью. Еще я знаю, что в детстве они нячат братьев и сестер и помогают родителям по хозяйству, а вырастая, становятся их главной опорой и даже опорой братьев и сестер. Они старательны и трудолюбивы, и честность их щепетильна до наивности. Им трудно пройти мимо нуждающегося.

Девушка, похожая на мою сестру, прошла мимо, задев душу и разбудив в ней вину перед сестрой. Перед моей сестрой. И проблема душевного равновесия стала еще болезненнее. И я убежал в кино. Когда проходил с билетом в руках к своему ряду, увидел еще одну девушку, нет, не девушку, а женщину, похожую на мою сестру. Почти ее копию, но копию по-старевшую и поблекшую.

Моя сестра много красивее, заметнее и чернобровее.

Мы с ней не виделись уже девять лет. Можно сказать, что и двенадцать, потому что ей было только тринадцать, когда мы расстались в деревне, и стало двадцать два, когда мы вновь встретились уже в Воронеже, чтобы опять расстаться.

Мы там прожили рядом полгода. Она в женском общежитии, я — в мужском.

В нее был влюблен парень, рослый и устрашающе мускулистый, смазливый лицом, в общем красавец, но только с блатными манерами, постоянно ввязывавшийся в драки, одним словом «бесперспективный». Когда его призвали в армию, к ней посватался другой, не такой молодой и красивый, но серьезный и непьющий, к тому же студент. Она об этом мне позвонила в Архангельск, где я в то время находился, и попросила совета.

— Кого любишь? — спросил я.

Она любила «блатного» красавца, но боялась, что он не вернется к ней после армии. И я, всегда возносивший любовь

до неба, декламировавший о любви целые поэмы и сам не раз, и, может, слишком часто горевший в ее огне, вдруг стал рассудительным и сказал приблизительно следующее: любовь слишком кратковременна, чтобы на нее полагаться, она может продлиться не дольше медового месяца, к тому же обещания вернуться к милой из армии немного стоят, а этот у тебя человек положительный, и это тебе гарантирует устойчивость в будущем, к тому же будешь женой инженера, к тому же он не пьет. . .

— И не курит, — сказала она.

Она за него вышла замуж и поехала с ним на место его учебы во Владивосток. И зажили они вместе, на его стипендию и на ее зарплату каменщицы. Еще она сверхурочно подрабатывала, чтобы платить за частную квартиру. А когда прошло пять лет и сразу же после получения диплома муж подал на развод — она осталась одна во Владивостоке.

И в этом моя вина. Потому что она слишком любила меня, чтобы понять, что я всего-навсего начитанный идиотина, на советы которого нужно плевать и плевать. Так я поплатился за свое преклонение перед образованностью; и не столько перед образованностью, а перед успехом и богатством, и диплом мне казался успехом и богатством, несмотря на любовь мою к поэзии и к разным романтическим штучкам, и продолжает казаться, каюсь. . . В письмах от нее прорывалась растерянность, читать мне их было больно, а еще больнее было отвечать на них, и потому я стал ограничиваться поздравительными открытками, а из этого города не написал ни одного письма. Вот почему мне больно, когда я встречаю женщин и девушек, похожих на мою сестру. . .

Мысли о ней развеял фильм. Сначала я смотрел на экран с раздражением — полицейские гнались за Фернанделем, Фернандель гнался за полицейскими, затем Фернандель и полицейские гнались за автобусом, и мне стало вдруг ясно, что плохое настроение во мне вызвано плохой погодой или плохим кровообращением, что беспокоиться абсолютно не о чем. . . Что жизнь просто-напросто есть жизнь, и что она действительно штука хорошая. . . В Фернанделя влюбилась пухлая куртизаночка, он ее учил танцевать хоппи-попи. . . Унывать я больше не буду, а поеду завтра же в Мурманск и поступлю на рыболовный траулер, и возвращусь с плавания с деньгами, и с ними могу быть полезнее и сестре и матери, а еще буду делать себе разные подарки, необходимые и не самые необходи-

мые, по возможности без предрассудков, ибо там никто спасибо не скажет, что прожил, отказывая себе в том, что хотелось... Фернандель падал, поднимался, грассировал, мой собственный смех мешал мне слышать слова на экране, и еще приятно было смотреть на парижские улицы, а они мне иногда даже снятся... Фернандель полетел на воздушном шаре, и под оглушительный хохот в зале вспыхнул свет. И я двинулся с толпой к выходу.

Толпа никак не отходила от смеха, и мне было приятно со всеми вместе смеяться, я сразу почувствовал себя в коллективе, а это так воодушевляет. Я продолжал улыбаться, пока не заметил ту женщину, похожую на мою сестру.

Она сидела, низко опустив голову и обхватив лицо руками. Пальцы ее медленно ходили по векам. Короткие, некрасивые пальцы, с утолщившимися от тяжелой работы суставами. Как у моей матери.

Толпа двигалась к выходу и вытекала на улицу. А она продолжала сидеть с низко опущенной головой. Чем ближе я к ней продвигался, тем труднее становилось мне смотреть на нее, а не смотреть еще труднее.

Она почувствовала мой взгляд и убрала с лица руки. И обратила вопрошающее лицо на меня.

Когда ее взгляд встретился с моим, она зашевелила губами и стала вглядываться в меня с мучительным напряжением.

У меня сильно забилось сердце, и когда я бессознательно двинулся к ней, она вдруг вскинула руки и вскрикнула.

И я увидел, что это моя сестра.

2

Она никак не могла унять слезы, плакала, прислонившись к креслу. И серый платок, сильно ее старящий, делал ее похожей на маму.

На улице мы остановились и стали смотреть друг на друга, улыбающиеся, плачущие, счастливые.

Меня поразили ее худоба, ее сутулость, ее поблекшее и посеревшее лицо. Она провела пальцами по моему лицу и сказала:

— Как ты изменился! Как постарел!..

Голос ее был еще поразительней. Я давно забыл, что у нее такой тонкий, такой ласковый, такой нежный голос.

Не стало холодного ветра, вдвое посветлело на улице. И город куда-то отодвинулся со всеми своими видами и пешеходами...

3

И вот уже переговорено немало в бурных и беспорядочных восклицаниях, — мы сидим в моей комнате, напоминающей купе. Комната ей очень понравилась со всеми тарелками и сковородками.

Мы наготовили еды, стали угощать друг друга, выпили даже вина. И я проследил, как щеки ее порозовели, как разгладились и исчезли напряженные складки с ее лица.

Она сидит по ту сторону низкого, почти игрушечного стола и смотрит на меня. Мне все покойнее и теплее. И кажется как-то странно, что я вдруг кому-то дорог, что меня так сильно любят. Конечно, я знал это и раньше, но знание это со временем становилось все заочнее и заочнее, а от заочного не отвыкнуть трудно, а с чужими за любовь надо платить напряжением, с чужими незаметно превращаешься в чужого, и с чужими постоянно нужно подтягиваться, подтягиваться, подтягиваться...

— Нет, это тебе... — у нее вместо «тебе» получается «бэ-бэ», потому что говорит, не успев проглотить еду, это у нас вызывает взрыв веселья, и она уже сознательно говорит: «бэ-бэ»... И продвигает на мою сторону сковородки остаток яичницы. И мне кажется, что она смотрит на меня так, как бы смотрела на себя со стороны.

Мы говорим о годах, прожитых порознь, и еще о вещах в эту минуту почти нелепых — о зарплате, о стоимости брюк и платков, о том, как вкуснее сварить суп из самой дешевой рыбы, и чувствуем, что глазами ведем совсем другую речь. Глазами мы говорим о том, что словами нам и не выразить, в глазах друг друга видим то, что нас связало от рождения. Мы говорим о зарплате и быте, а глазами обмениваемся светом того, начального, и залечиваем друг другу душу и память.

Она говорит мне о том, что надо жить бережливее, что не надо тратить столько денег на книги, от них все равно никакого толку, лучше уж тратить их на еду, чтобы сохранить подольше здоровье... Говорит она назидательно, но назидательность ее наивная и умоляющая — ей хочется, чтобы я прожил подольше...

— Да, да, да, — говорю я, — да...

Затем она о чем-то задумалась, подошла к окну и восхищенно воскликнула:

— Ой! Коровы! . .

Она их до сих пор не замечала, потому что, пока шли до общежития, вокруг все было каменное, со средневековыми шпилями, с красивыми вывесками магазинов и баров, как в кино из западной жизни, с машинами и автобусами, с модно одетой толпой не хуже столичной, а по эту сторону ей пришлось увидеть скотный двор. Но тут нет ничего удивительного, просто город разрастался и новый район сомкнулся с коровьими загонами. Но и за загонами сельских пейзажей не видно, там, слева, шпиль католического собора, оттуда слышится органная музыка, а вправо виднеется бухта, и там на горизонте проплывают корабли.

Она стала рассматривать картинки над моей койкой. Портреты людей, перекочевавшие сюда со страниц журналов, ей совсем не известные. И среди них наткнулась на фотокарточку, изображающую троих. Она охнула и застыла перед ними. На той карточке девятилетней давности все были ей знакомы: она, я и тот парень богатырского сложения, «блатной» и красивый, которого она любила и которого не стала дожидаться из армии. . . И которого невзлюбил я, из-за его наклонностей, которые мне сейчас уже не кажутся уголовными. Сейчас, через девять лет, на фотокарточке его редкая красота еще заметнее. Сейчас все передумано, но события обратно не повернешь.

Она опустила руки и стала смотреть на снимок, присев на стул.

— Ты должна меня ненавидеть, — сказал я.

— Ты здесь ни при чем, — сказала она. — Сама должна была решать.

— Ты сильно любила его?

— Но боялась, что он не вернется ко мне из армии. . . А он ко мне во Владивосток приехал. И муж не пустил его в квартиру и все его фотокарточки порвал. . . Можно, заберу эту?

— Зачем спрашивать. . .

Пусть бы «блатной», пусть бы пил и дрался как хотел, пусть бы все равно у них все испортилось, но она бы пожила хоть немного с любимым человеком. Любовь, даже кратковременная, способна согреть человека на долгие годы и сделать неуязвимым перед многими несчастьями. . . Это я сейчас думаю, задним умом. А тогда думал иначе и портил чужие жизни своими советами. А она прощает. Она уже не смотрит на

карточку, чтобы мне не было больно. Поняла она мое состояние. И быстро перевела разговор на другое:

— Почему у тебя такой беспорядок? Почему вещи разбросаны?

— Потому что я уезжаю, Дашенька.

— Куда?!

— Пока настроился на Мурманск.

— Ты что? Зачем?..

— Я рассчитался...

— Опять! — сказала она испуганно и растерянно. — Опять работу искать? Опять занимать рубли?.. Только что у тебя была хорошая работа. Только что заимел комнату. Только что я обрадовалась, что тебе неплохо, а ты опять скитаться...

— Работа найдется, Дашенька. Ничего страшного!

— Ты всю жизнь собираешься жить в общежитиях?

— Я изгоняю из головы этот вопрос.

— А помнишь, — сказала она, и губы ее начали дрожать, — писал: учителем буду, в институт поступлю... Уже девять лет поступаешь. А еще писал: живу хорошо, живу интересно! Что у тебя есть, кроме этих штанов? Зачем было врать?

— Я не хотел, чтобы вы с мамой беспокоились.

— А еще ты мечтал...

— Я и синицей мечтал быть! — прервал я ее, испугавшись, что она заденет самое больное.

— Ты и стал синицей, — сказала она. — Все летаешь, летаешь...

— Но мне-то нравится, Дашенька.

— А если погибнешь?

— Значит, песенка спета.

И ее подкосил плач.

Она перестала плакать только тогда, когда я положил на ее голову руку и стал гладить. И она, подняв голову, слабо улыбнулась. И сказала:

— У тебя есть иголка с ниткой?

Иголка с ниткой нашлись. Она стала заштопывать протершиеся манжеты моих брюк. Делала она это так, словно ткань срачивалась заново. У нее это от матери, — об умении мамы рукодельничать в нашей деревне ходят легенды.

— И что я раскричалась, — сказала Даша улыбаясь. — Руки-ноги целы, голова у тебя есть, живи да живи себе...

— Спасибо, Дашенька, — сказал я.

— А познакомишь меня со своей знакомой?

— Она в отпуске.

— Ну что ж, значит, по-старому. Живи!

Затем стала зашивать мои рубашки.

Как будто бы век жили рядом. Как будто это тогда происходит, и мать только что из избы вышла. А тут еще коровы за окном и запах навоза, который мне всегда напоминает о деревне и хлебе.

— Интересно, что сейчас делает мама? — спросила она.

— Сейчас она кур загоняет, — сказал я. — Потом подоит корову. Хотя нет... Корова сейчас без молока, она отелится только в апреле, мать писала. Затем пойдет к соседке. Соседка будет жаловаться на невестку и сына, с которыми живет вместе, будет называть их аспидами и змеями, а у мамы сердце будет сжиматься от зависти, ей-то называть аспидами некого. Придет от соседки к себе и уляжется спать. Одна в целом доме.

— А знаешь, — сказала Даша, — я чувствую иногда, когда она обо мне думает.

— Я тоже, — сказал я. — Тут нет ничего удивительного. Я даже приход твоих писем предчувствовал одно время. Предчувствовал за день. Мы ведь связаны одной нитью, и когда кому-нибудь из нас плохо, то нить натягивается и другим больно.

— Ты собирался выдать ее замуж...

— Собирался.

Я ехал из армии к Даше, в Воронеж, куда и мама приехала, чтобы повидать нас вместе. А я, не видевший их давно, ехал и думал о них, особенно о маме. Когда мама осталась без мужа, ей было меньше, чем сейчас Даше, и я в армии понял, каково ей это было, и думал, что хорошо бы ей хоть сейчас выйти замуж, тем более и годов ей тогда было только сорок восемь, и она была красива. И встретился вместо красивой сорокавосемилетней женщины — со сгорбленной, высохшей старухой без единого зуба.

— А ты бы не мог устроиться на работу здесь? — спросила Даша. — Пожили бы хоть немного рядом. А то у меня давно рядом родного человека не было.

— Невозможно, — сказал я. — Если я настроился уезжать, меня ничто не удержит. Я и себя не послушаю.

— Жаль, — сказала она. — Я бы стирала тебе, ты бы приходил ко мне ужинать. Подумай, а?..

Ей тридцать один. Мне тридцать три. Хорошо бы дожить до семидесяти и опять так сидеть, разговаривать. Вот уж ко-

гда мы будем несомненно счастливы, вот уж когда у нас не будет вопросов...

Волосы она покрасила неумело, хотела сделать их каштановыми, а получились грязно-коричневые. Сухие, ломкие волосы... Жалкая попытка угнаться за другими. Жалкая попытка защититься. Не умеешь ты защищаться, Дашенька, не умеешь...

— Отпусти челку на лоб, Дашенька. И еще ресницы подкрась, они у тебя редкие. И еще тебе не идет голубое, тебе нужны теплые тона...

— Что я тебе, модница какая-нибудь...

Протяжный и тоскливый гудок парохода донесся с бухты, смешиваясь с музыкой Генделя и коровьим мычанием. Стало вечереть. Она посмотрела на часы, стала одеваться, и тут постучался Димка, матрос дальнего плавания, гостящий в общестии у брата, с которым я познакомился тремя днями раньше. Он сразу попятился назад, объяснив, что хотел спросить — не пойду ли я в кино.

Я его задержал и предложил вина. Спросил — какое кино. То самое, с Фернанделем.

— Я не хочу, — сказал я. — Может, сестра моя ходит? Пойдешь, Даша? Фильм замечательный!

— Я уже смотрела, — сказала она резко и густо покраснела. Покраснел и Димка и, заторопившись, исчез.

— Как тебе не стыдно! — сказала Даша с досадой.

— Я хотел, чтобы у тебя было побольше хороших воспоминаний.

— Эх, Вадик, Вадик... Ничего ты не понимаешь в жизни. Дурачок ты, дурачок...

— Нет, я умный.

— Пойду, — сказала она, — проводи.

— Может, не стоит? — сказал я.

— Как это?

— Одной лучше, чем со змеей.

— Одной очень плохо. Я женщина.

— Но ведь он растоптал тебя!

— А сейчас позвал.

— Просто ему своей зарплаты не хватает. У тебя ведь нет ребенка, ты бы могла...

— А кому я еще нужна!

— О, господи! — сказал я. — Как он тебя унизил!...

Да, да, да... Она приехала к мужу. К тому самому, который с ней развелся и уехал из Владивостока. И который приехал и устроился в этом маленьком и хорошем городе. Это я от нее сегодня узнал. Здесь он женился второй раз, второй раз развелся и написал Даше, что она может приехать, если захочет все восстановить. В квартире его днем не оказалось, она пошла в кино и встретила меня.

На улице все темнее и темнее. Вспыхнули первые неоновые рекламы, дразнящие латинскими литерами, мимо шли мужчины с портфелями, дамы, подростки... А в Даше я заметил перемену — какую-то робость. Этого в ней в Воронеже не было. Значит, мы оба успели пожить, оба...

— Дашенька, почему ты стала такая робкая?

— Потому что я плохо одета.

— А зачем было отсылать шубу матери?

— Она болеет. Ей нужно тепло одеваться.

В окно она заметила, что в продаже есть шапки, и воскликнула: «Ой, шапки!» — и потащила меня в магазин.

Заячьи шапки, пушистые, серые. В такой она помолодеет на десять лет.

Она, еще ничего не выбрав, выбила в кассе чек и спросила меня:

— Какой размер носишь?

И тут до меня дошло, и я закричал:

— Не сходи с ума, тебе нужна шапка! Не мне!

И она посмотрела на меня, готовясь закричать, заругаться, но не позволила мне отказаться. И я из магазина вышел в новой шапке.

— Ой, какой ты стал красивый! — воскликнула она на улице.

— Сколько у тебя осталось денег? — спросил я.

— Сто, — сказала она.

— Покажи!

— Я у мужа возьму, — сказала она.

— Ты у него уже набрала, — сказал я.

— Я заработаю! — сказала она. — Еще до устройства на работу заработаю. Я тут объявление видела. На станцию приглашают, поденно.

— Бревна разгружать?

— Что ты! — сказала она. — Ящики только. С продуктами.

Во мне что-то дернулось.

— Подожди здесь! — крикнул я порывисто и побежал обратно в магазин. И выбил чек на сто рублей. Ровно столько стоил меховой воротник, пушистый и легкий, который висел рядом с шапками и на который она не обратила никакого внимания. Я выбежал к ней и накинул воротник ей на шею.

— Перестань! — испугалась она. — Отнеси обратно! Откуда у тебя такие деньги?

— Ящики разгружал, — сказал я. — Теперь ты помолодела на десять лет.

Она на глазах изменилась. Произошло с ней что-то чудесное. Она заулыбалась, прижала пышный воротник двумя руками к щекам и изобразила кокетливую, роковую женщину.

— Принцесса! — сказал я.

И тут раздался смех. Смеялись пожилые мужчины и женщины. Во мне все закипело. И я выругался.

— Не нервничай! — сказала Даша испуганно. — Они не виноваты!

Что верно, то верно.

— Где он живет? — спросил я.

— Райниса, двадцать девять.

— Вот тебе на! — поразился я. — Я ведь под этим домом работал, в кочегарке. Туда через парк ближе.

В середине парка нас застал дождь со снегом. Постояли немного около танцевальной площадки, где под открытым небом пары подростков продолжали безумствовать под грохот магнитофонной музыки, не обращая внимания на падающий на них дождь со снегом. Пошли дальше и скоро подошли к дому, столь знакомому мне по кочегарке.

— Я не хочу его видеть, — сказал я.

— Как хочешь, — сказала она.

Я дождался, пока она скрылась в подъезде, и ушел.

Когда подходил к общежитию, вспомнил, что в кармане осталось менее двадцати рублей, следовательно дорога в Мурманск или в любой другой город отрезана, придется поискать работу здесь. Тут же пришло в голову, что это тот самый случай, когда худа без добра не бывает, потому что появится возможность немного побыть рядом с сестроу.

Но оказалось, что и радость не одна ходит. В общежитии меня ждала записка бухгалтерии: «Зайдите за получением ошибочно удержанной с Вас суммы 97 р. 42 к.». Удержание было за мотор, сгоревший при моей смене. Справедливость опять восторжествовала. Но главный сюрприз был в другом.

Старого моего сменщика-кочегара, принесшего в общежитие эту записку, попросили уговорить меня поработать до появления нового кочегара. Все повернулось удивительно счастливо. В общежитии я написал длинное-предлинное письмо матери, пусть и она вместе с нами порадуется.

4

Сегодня с утра пронзительно синее небо, яркое солнце и очень тепло. Такие дни тут бывают так редко, что все улыбаешься и недоверчиво посматриваешь на небо, хочется взлететь и парить, чирикавая.

Да мы и чирикаем почти, радостные и покрасневшиеся, и носим из холодильника в вагоны ящики с мандаринами.

Сегодня утром на всех парах я помчался в кочегарку, чтобы с восторгом утвердиться на старом рабочем месте. Побежал на целый час раньше, чтобы вознаградить своего сменщика за вчерашние чудесные новости, и застал в кочегарке Дашу.

Она спала около котлов, на лавке. Спала на настеленных на грязную доску газетах, укрывшись пальто.

Оказалось, что к мужу она опоздала. Ей надо было выехать сразу же после получения письма, а она сделала двухнедельную паузу и застала в его квартире другую женщину. Так объяснил ей ее бывший муж. А добираться до моего общежития ночью она побоялась...

Ящики с мандаринами небольшие, всего по сорок килограммов, берешь на грудь или живот и несешь к вагону, и возвращаешься за очередным ящиком навстречу веренице других грузчиков, и видишь, как некоторым удается не только придерживать ящик на животе одной рукой, но и переправлять другой рукой мандарины из ящика в карман.

— И как им не стыдно? — ужасается Дашенька. — Как им не совестно?

А я ей рассказываю о нашей родной деревне, где с недавних пор я стал бывать каждое лето и где она давным-давно не была.

— А ярмарки еще проводятся? — спрашивает она.

— Перенесли на поляну, — говорю я и уточняю: — На Антипову поляну. Кругом лотки и палатки, а в середине карусель.

— Как тогда? — спрашивает она. — Под гармошку?

— Нет, — говорю я. — Уже под магнитофон карусель крутится.

В кочегарке работать я отказался. Мы с Дашей решили поехать к матери. Но сначала потаскаем с неделю ящики, чтобы приехать в деревню посостоятельнее.

Мы позалатаем там матери дом и заборы, наговоримся и навспоминаемся, походим-пошляемся по огородам, полям и оврагам — отдохнем, одним словом, вволю, но только не больше месяца. . .

И через месяц разъедемся.

Я постараюсь вернуться в эти же края, только в какой-нибудь другой город, портовый! Но не исключено, что попаду в пустыни Голодной степи.

А Даша хочет вернуться во Владивосток.

Только стланик
Без конца заиндевелый.

Где завьюженные прииски?
Где желанный лай собак?
Санний поезд, словно призрак,
Мчит сквозь белый полумрак.

Не дорогой, не тропую, —
Тяжела собачья прыть...
Только слышится порою:
— Дай, товарищ, закурить!

Санний поезд —
Снег по пояс,
Пар от загнанных собак.
Неоконченная повесть,
Недокуренный табак...

* * *

На белую тундру, на целую тундру
Одна-одинешенька старая юрта.
А время прошло, как сквозь пальцы вода,
Кто жил здесь когда-то?
Гадай не гадай.
Кто рыбу ловил, занимался охотой,
Кто годы бродил по бескрайним болотам
И, за день дорогой умаявшись трудной,
Дымил без конца деревянною трубкой,
На снежную долго смотрел седину,
И чудилось знойное солнце ему,
И чудился желтый песок раскаленный
На этой бескрайней равнине всхолмленной?
И, может быть, был тот особенный день,
Когда и увез его верный олень.
А может, случайно ружье подвело,
А может... А может...
Их тысяча «может»,
Но около юрты нашли мы весло
И лодку нашли из добротнейшей кожи.

НА СЕВЕРЕ

Здесь метели живут оголтелые,
Бьются в двери, ломают лбы,
И сугробы медведями белыми
За окошком встают на дыбы.
Здесь, на севере, в дебрях холода,
Промывают людей, как золото.
Каждый метр отвоеванной Арктики
Отпечатался в наших характерах.
Пусть давно пароходы не ухают
Над замерзшими белыми бухтами,
И зима не кончается
Здесь,
 у вечных снегов и льдов.
Знаю, с этого начинаются
Биографии городов!

* * *

Далеко еще до порта,
Далеко еще земля.
Справа — айсберги по борту,
Слева — белые поля.
Вспомнишь медленные мили,
Корабельный долгий крик. . .
Проплывают годы мимо,
Курс держа на материк.
Все знакомо, так знакомо —
До аврального свистка.
Перехватит грудь истомой
Океанская тоска.
Но опять дорогой синей
К ледяным материкам.
Что мне годы — вот бы силы
Не ушли от моряка.
И тогда пускай от порта
Сотни миль до корабля,
Справа — айсберги по борту,
Слева — белые поля.

Николай Коняев

ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТАЯ ВЕСНА

РАССКАЗ

Холода в этом году долго мучили землю, но в конце марта, словно вода, прорвавшая запруду, хлынула молодая весна. За неделю растаял снег, затаились в лесах последние сугробы. Пришло время смолить лодки, и в помутнелой воде Свири вспыхнули отражения костров. Запах смолы заполонил улицы поселка.

А потом с озера подул сильный ветер и начался ледоход. И снова на улицах стало холодно, и снова опустели они. Но и ледоход кончился, — уплыла с ним зима, опять берега полюдни: чинили мостки, снаряжали моторки.

Совсем тепло стало в Заберегах. В мае и огороды копать стали. Тут уж всю разошлась Евдокия Алексеевна, учительница младших классов в поселковой школе. За четыре вечера вскопала свой участок, две недели походила без дела и принялась за целину.

— Совсем ошалела девка! — ругала ее мать, восьмидесятилетняя старуха. Евдокия Алексеевна сердилась и объясняла, что в июне выйдет на пенсию, какие заботы будут, хоть с тоски помирай!

— Корову бы завела, — ворчала бабка.

— Ой, глупая. . . Кто сено мне косить даст? Все от коров отстают, а ты «заведи» да «заведи», совсем из ума выжила.

Бабка и вправду сильно поглупела за последние годы. Ни с того ни с сего пристрастилась к книгам и стала носить старые дочкины очки. Прочитанные книги бабка вначале норвила пересказывать соседкам и дочке, но они книгами не интересовались, и бабка переключилась на кота. Кот слушал внимательно, и бабка подружилась с ним. Постепенно она привыкла думать о своем Барсике нисколько не меньше, чем о дочке или о городских внуках.

Вот и сейчас, за утренним чаем, когда зашел разговор о целине, такой важный для Евдокии Алексеевны, бабка, ничуть не обидевшись, повернулась к коту, лежащему на подоконнике, и принялась поглаживать его да приговаривать:

— Барсик-то у меня дак весь Барсик будет.

В сердцах отодвинула Евдокия Алексеевна пустую чашку.

— Что, еще налить? — спросила бабка, но дочка промолвила:

— Буде уж. . . напилась, — и встала из-за стола, думая, как бы уязвить мать.

— Ты бы дармоеда-то хоть на речку погулять вывела, — наконец проговорила она, — весь ведь заплесневает. . . Заодно б и лодчонку нашу посмотрела. . . совсем ее разодрало или еще только раздирает?

— А мы ходили уж с Барсиком, — словно не замечая дочкиной ехидцы, ответила бабка. — На дрова лодчонку твою ломать пора. . . на дрова, может, и сгодится.

Совсем не надо было затевать этот разговор. . . Ишь как повернула старая! Но Евдокия Алексеевна уже не могла остановиться.

— Я тебе говорила: смолу попроси у брата своего, — почти закричала она, — а ты только дармоеда ухаживать знаешь!

— А и ухаживаю, дак что? Чай не из милости живу. . . За Петеньку, — всхлипнула бабка, — за родимого, денежку получаю. . . Вот и Клавонька прибралась, немного и не дожила до земли черной. Бедные вы мои! Уж вы бы эдак не стали кидаться на родительницу свою. . .

Не хотелось, совсем не хотелось Евдокии Алексеевне затевать эту ссору. Язык ее сам поплел. Принялась скорее запикивать тетрадки да дневники в портфель, а бабка все приговаривала да приговаривала:

— Уж вы бы не допустили, чтоб детки ваши по городам разбежались да ребятенков заводить боялись. . .

Убежала Евдокия Алексеевна. А бабка, оставшись одна, еще маленько поплакала, потом сняла со стены две черные рамки, обтерла пыль ладонью, подумала, тяжело вздохнула и, проговорив: «Тоже ведь как сынок был», — сняла и третью рамку, поставила все на стол, села перед ними и долго так сидела, пригорюнившись. . . а Барсик все мурлыкал да мурлыкал.

Евдокия Алексеевна, на ходу пытаясь застегнуть портфель, бежала к школе.

«Ишь ты, чем попрекнула, — думала она и все никак не могла попасть скобочкой в щелку замка. . . — Ребятенков ей захотелось понянчить!»

И сама вдруг застыдилась. А и как же иначе? . . На что же жить, если без детей? Уж так мир устроен. Сам вырос — детей расти. . . И ведь больно-то как, что не в тебя дети пошли, что не так думают. . . Старшая ладно еще. . . Ученая. . . А младшая-то зачем с пути сбилась? Всю ведь жизнь им отдала. А вон как все повернулось. . . Никакой доброты. . . Нет продолжения. . . Не останется, видно, следа. Заплакала учительница и перестала застегивать непослушный портфель.

А в школе, в учительской, ее уже ждали. . . Последний урок всегда отмечался в Заберегской школе. Директор, Коммунар Орестович, преподнес ей букет сирени.

«Все, отработалась. . .» — грустно подумала Евдокия Алексеевна и, краснея, пробормотала:

— Спасибо, спасибо за внимание. . .

Посыпались поздравления.

— Это так. . . для начала, — сказал довольный директор. — Завтра и банкетик небольшой организуем, и от гороно представитель будет, и от профсоюза подарочек. . . Как-никак вы у нас с самого основания работаете. . . с сорок пятого года. . . — Он помолчал, словно испугавшись задуматься, и потом заговорил о текущих делах.

— Что с вами? — тихо спросила у Евдокии Алексеевны молоденькая биологичка. — Вы не заболели? . . У вас глаза нехошие.

— Нет, нет! — ответила Евдокия Алексеевна. — Это от ветра! . .

Прозвенел звонок. Учителя разобрали журналы и пошли на свои уроки. Пошла и Евдокия Алексеевна на последний урок в своем четвертом «В».

Она долго диктовала названия книг, которые за лето предстояло прочесть будущим пятиклассникам, а сама рассматривала их украдкой и с какой-то непонятной обидой думала, что уже не придется увидеть их всех вместе. Раньше она хотя и грустила, расставаясь с классом, но знала ведь, что будут другие... А эти — последние.

Сколько их было всех-то?.. Здесь пятый выпуск, в Белозерске класс, до войны три... А ведь кого встретишь? Все разлетелось... .

И чем дальше она диктовала, тем грустнее ей становилось... И не хотелось ей кончать эту диктовку, не хотелось обрывать старательный скрип перышек. Но вот и все!

— Смотрите, — строго сказала она, — все книги прочитайте!

— А если и не прочитаем? — раздался голос озорного Сергеева. — Все равно вы учить нас больше не будете.

В классе стало тихо. Слышно было, как перекачивается в круглой выемке на парте ручка Веры Ивановой. Вера успокоила ручку, дотронувшись до нее пальчиком. И все... ни звука. Евдокия Алексеевна подошла к окну.

«Сергеев, Сергеев, — подумала она, — и тут-то ты высулся». Тяжело выдавливая слова, проговорила:

— Да... это мой последний урок.

В классе стало совсем тихо. Даже сопение оборвалось.

— Но, — улыбнулась Евдокия Алексеевна, — все равно я проверю... А у тебя, Сергеев, в первую очередь.

Класс облегченно вздохнул. Снова вспыхнули улыбки. Учительница раздала дневники.

— И последнее, — сказала она, — завтра в десять часов всем собраться у школы на сбор металлолома.

Когда Евдокия Алексеевна вышла из полутемного вестибюля на крыльцо, солнце ослепило ее. Разбрызгивая смех, шли десятиклассницы. Прыгала, кричала вокруг школьная мелкота. Шумная, до нелепости яркая жизнь каруселилась вокруг старой учительницы.

— Вася, — закричал кто-то, — где ты?.. — И эти случайно прорвавшиеся сквозь шум слова обожгли ее.

«Где ты, Вася!» — прошептала она и прислонилась к обдуленной колонне. Странная слабость охватила все тело. Словно издали, донесся тоненький голос биологички:

— Я ж говорила... ей совсем плохо.

Физик и молоденькая учительница подхватили ее под руки...

— Ничего, — слабо улыбаясь, сказала она, — уже все хорошо. Я сама...

Она боялась этих красивых, молодых учителей, робела перед ними, старалась в их присутствии спрятать свои неинтеллигентные, узловатые руки.

Учителя довели ее до скамеечки. «Слава богу, — подумала Евдокия Алексеевна, когда они отошли, — кажется, никто не заметил».

Ей стало лучше, но чужой, совсем чужой чувствовала она себя. И заспешила домой, чтобы остаться одной со своей неизбывной горечью.

И действительно, только вошла во двор, только посмотрела на ровные, ухоженные гряды картофеля, на дружно взявшиеся ростки, как потеплело у нее на душе. И ее не обошла весна. Уделила и ей кусочек своей доброты.

Мать уже ждала ее. Пофыркивал электрический чайник. Два чугунка — один с отваренными солеными грибами, другой с картошкой — стояли на столе, обернутые старым фланелевым халатом.

Бабка читала Барсику «Пионерскую правду»:

— ...собрали пионеры города Челябинска... Из собранного металлолома будет построен тепловоз имени Николая Островского!

Когда Евдокия Алексеевна вымыла руки и села за стол, бабка аккуратно сложила газету и, почесав Барсика под подбородком, ласково проговорила:

— Притомился весь... пока к дяде ходили. Смолу-то только не принесла. Силы уж нету.

Бабка всегда говорила иносказательно, когда хотела помириться с дочкой после ссоры. Засобиралась Евдокия Алексеевна... Нашла на завалинке негодное ведро и пошла потихоньку. Бабка высунулась из окошка и закричала вслед:

— Ты Степаныча-то проведай! Как он там... один.

Может, погода стояла такая, или день был очень уже необычный, но непривычно много сегодня думала Евдокия Алексеевна о своей жизни. Вот и сейчас, пока шла она по набережной, задумалась о прожитом. Знала, хорошо знала старая учительница, что жить надо как все живут. Лучше, чем все, — хлопотно очень, хуже других — неудобно. Надо людей держаться... Говорят ведь: «по-людски»... А разве так она жила?..

— Здравствуй, Алексеевна! — окликнула ее Дина Спиридоновна, жена лесничего. Остановилась Евдокия Алексеевна, поговорили о погоде, а пока говорили, подметила: нисколько не хуже, чем у нее, поднялись ростки картошки в огороде Дины Спиридоновны, хоть и позже та сажала, хоть и не лелеяла так землю. Вот ведь весна. Все уравнила — и леность и прилежание. И обидным казалось это учительнице. Но не от ростков картошки поднималась эта обида, а оттого, что все благополучно было у Дины Спиридоновны, вот у нее все как у людей идет! И муж с войны вернулся, и дети ей внуков нарожали — все как у людей.

Заплакал в доме ребенок, и ушла Дина Спиридоновна. А Евдокия Алексеевна еще посмотрела ей вслед. Ровный, красивый штaketник разделял женщин.

Пошла дальше. А неотвязчивые мысли все ворочались и ворочались в голове: «Обрывается жизнь... Фамилия кончается... — это и смерти страшней, не продолжается кровь, не в ком жить дальше, после смерти. И что, что не на тебе род кончился... главное, что кончился, а на ком? Все едино — кончился».

И пока шла по набережной, все сильнее и сильнее болела у нее голова. Кричали голодные чайки, ревели на Свири моторки, ведра гремели на пристанях. Жизнь шла кругом, и все мимо, мимо, все не задевая ее...

Бабкин меньшей брат, дед Ефим, жил на самом краю поселка. Седобородый, он таскал на плечах бревна с берега.

— И не тяжело?! — изумилась Евдокия Алексеевна.

— Дак ведь как не тяжело, — ответил дед, присаживаясь рядом на мостки и раскуривая папиросу. — Не та уж сила стала... совсем не та... Полпути не пронесу — и отдыхаю... Одышка берет.

— А ты бы и не носил, дядя.

— Как не носить, коли парник строить надумал. Сами, чай, не выносятся.

— Да зачем парник? Ведь один уж был вроде... Да и строить-то поздно.

— Зачем, зачем, — передразнил ее дед. — Зачем тебе вторая лодка?

— Да так, — растерянно ответила Евдокия Алексеевна, — на всякий случай.

— Вот и мне на всякий случай... Заморозки по радио обещали. Вот я с гряды и оберу лишние ростки. — Помолчав минуту, махнул рукой. — Да для кого это? ..

— А что? — осторожно спросила Евдокия Алексеевна.

— Опять «что, что?»! — разозлился дед. — Ужась ты какая любопытная. Вот то, то, что потомок, как с работы придет, так сразу за ружье и на озеро. Сто рублей не выходит, а тоже нача-а-а-льник.

— Дак ведь добычу носит.

— Добы-ы-чу, — усмехнулся дед. — Я тебе прямо скажу: ты хоть и учительша, а ума у тебя ни грамма нет! На рубль уток, а на десять водки! Вот тебе и добы-ы-ча!

Последние слова дед проговорил, взваливая бревно на плечи. Евдокия Алексеевна пошла следом. Ее всегда восхищал дед. На пустом месте поднял он громадный дом, многочисленные постройки, разбил огород, сад — и все это один, своими руками, все сам.

Во дворе дед сбросил бревно, строго приказав: «Сиди тут», пошел с ведерком в сарай.

Так ведь разве усидишь. Пошла вдоль строений. Ну и дед! Май месяц, а дровяник доверху набит. А вон штабеля бревен — на новый дом хватит! А тут что? Вот ведь дед! Все на века делает, даже сарайку и ту на цементный фундамент поставил. А дверка-то открыта. Зашла и со свету налетела на мешок с удобрением. Остановилась. Пообвыкла в темноте. Ящики цветочные аккуратно сложены... А что это там в углу? .. Знакомое вроде что-то... Вот те на... Кровать, что в лесу они с бабкой нашли. Ишь ты, вся поржавела... Думали, где — а она тут, рядышком.

И до того отчетливо встал в памяти Евдокии Алексеевны тот пасмурный октябрьский день, что забыла она про все, села на кровать... Встревоженно загудели пружины.

Приехали в Забереги, — все богатство, что на себе. А вокруг строились... Финских домов по лесам не счесть было, вот



и стягивали их в Забереги. Им-то не из чего строиться было. Доходов — пенсия бабушки, да за мужа, без вести пропавшего. Раскинь на четверых, много ли? Ходили по домам, примериваясь. Вот однажды, уже деревья лист сронили, выбрали на этот домик. . . Там и нашли эту кровать. Сейчас на свалку такие выбрасывают, а тогда так обрадовались, так обрадовались. . . Поташили, уж темнеть начало. Прикрыли, в кусточках оставили. Вечером еще похвастала деду. Теперь-то понятно. Утречком пришли, а кровати и след простыл. Сколько потом гоняла. . .

— Дунька! — донесся голос деда. — Куда опять заблудилась?

Встала Евдокия Алексеевна, побрела на светлый проем двери. . .

— Где это ты рыскаешь? — спросил дед. — Все выглядываешь?

— Да что ты, дядя. . . — ответила она, стараясь не смотреть на деда. — Что-то плохо мне стало. . . на бревнышках сидела. . .

Поблагодарила за смолу и побрела, еле переставляя ноги.

Дед долго смотрел ей вслед своими острыми, рыжими глазами. Потом неожиданно резво побежал в дом.

— Выглядела, — закричал он жене с порога, — углядела кровать!

Пробежал по комнате, остановился перед старухой, закричал тонким голосом:

— Я ли не говорил тебе, полоротая, запирай сарайку! Специально, чтоб кровать упрятать, построил. . . дак ты своих ящичков туда натаскала!

И снова забегал по комнате.

— Что будет, что будет? — бормотал он. — На всю деревню осрамит. . .

Евдокия Алексеевна весь вечер думала: рассказать матери про кровать или уж не волновать? . . За чаем все-таки не утерпела:

— Мам, а мам?

— Чего?

— Ты кровать, что в лесу нашли, помнишь?

— Как не помнить, помню.

— Дак я ее у деда сегодня видела.

— Угу. . .

Евдокия Алексеевна растерялась. Подумала и решила, что бабка не расслышала.

— У деда, говорю, кровать! — громко повторила она.

— У деда, у деда. . . — согласно закивала бабка. — Где ж ей еще быть, как не у деда. . . Сама ведь ему рассказала.

— Ты знала? — чуть слышно проговорила Евдокия Алексеевна. — И ничего не говорила?

— А что говорить по-пустому, — вздохнула бабка, — все равно не отдал бы. . . Только тебя расстраивать.

Долго не могла заснуть Евдокия Алексеевна, все плакала в подушку, ругала себя: «Дура, дура легковерная!» А только чуть коснулся сон головы, как раздалось под окном ворчанье. Барсик догуливал с запоздавшими кошечками. «Вас еще не хватало», — подумала Евдокия Алексеевна. Встала, набрала в ковшик воды, плеснула в раскрытое окно. Ошалелый кошачий крик пронесся над ночным поселком. Вскочила испуганная бабка, шлепая босыми ногами, выбежала на кухню.

— Что? — мелко крестясь, спросила она.

— Коты вот покою не дают.

— Не шали! — рассердившись, крикнула бабка. — Жизни все одно не остановишь! Не ходи ей поперек. . . — И так странно прозвучал бабкин голос, что не по себе стало Алексеевне. Вышла на крылечко и долго смотрела на дорогу. И думала о жизни, думала. . . И еще удивлялась учительница, почему не видела раньше дороги. . .

Проснулась Евдокия Алексеевна радостным утром. Ветер из раскрытого окна шевелил цветки герани. Пятна солнечного света лежали на крашеном полу. Казалось, что сегодня праздник. . . Барсик сидел на платяном шкафу. Увидев, что она проснулась, бабка позвала ее:

— Вставай скорее, от меньшей дочери телеграмму принесли.

Вскочила, схватила. . .

«Встречайте вечерним самолетом. Люба».

Пили чай. Ветерок гулял по комнате, шуршал старой газетой, рябил чай на блюдечке. И дуть не надо — благодать! Посмотрела Евдокия Алексеевна на часы — без десяти девять. Побежала вприпрыжку.

— Ишь ты, — сказала бабка коту, — омолодела вся. . . Хоть замуж выдавай.

Четвертый «В» уже собрался. Вера Иванова встречала учительницу отдельно от всех, на углу переулка. Голова ее была аккуратно повязана косынкой, так что только большие, серьезные глаза выглядывали из-под веселого ситчика. . .

— Уж ты серьезнущка моя, — засмеялась Евдокия Алексеевна, увидев ее, обняла за плечи, так и пошли.

Шла задворками. К полудню большая гора железа выросла на школьном дворе.

Евдокия Алексеевна уже хотела распустить ребят, но тут подбежал к ней озорной Сергеев и, задыхаясь, проговорил:

— Евдосеевна! Я кровать большущую нашел!

Отправились смотреть. Вот так раз! Кровать, та лесная кровать лежала в старой траншее, едва прикрытая сушняком.

Ну и дед! И не зная, то ли плакать, то ли смеяться, растерянно смотрела на нее старая учительница.

А ребята уже теребили ее, и надо было что-то делать. Махнула рукой Евдокия Алексеевна:

— Тащите!

Облепили ребяташки кровать, как муравьи соломинку, понесли. Смотрела вслед им старая учительница, опустив свои некрасивые, неинтеллигентные руки. И вдруг увидела она эту пятьдесят пятую весну. . . Увидела молоденькую березку в непомутнелой листве. Услышала неторопливый разговор листьев, шорох травы. . . Спокойно и радостно стало у нее на душе. Не кончилась жизнь. Продолжалась.

Геннадий Сазонов

ЦЕЛИННОЕ

Я не слышал слов о романтике
У костров, полыхавших в ночи.
Помню, парни, за день намаявшись,
Гитариста просили — бренчи. . .

С огрубевшими пальцами споря,
Струны дрожью будили простор.
И ветра, прибежавшие с поля,
Раздували до неба костер.

Не звучало ничье откровенье,
Ведь обычай отрядный прост:
Пели все задушевно, и пенье
Улетало до самых звезд. . .

Но к утру становилось тише.
Солнце, ярко всходя над прудом,
Вдруг дарило ребятам притихшим
Эту землю — их собственный дом!

* * *

В места, где помогают стены,
В тверской старинный этот край
Я возвращаюсь неизменно.
И как пути ни выбирай,
Но бор сосновый, что за Волгой,
И городок средь двух дорог
Пришиты памяти иголкой
К душе моей, как номерок.
И по нему вы узнаете,
Что я наследник сих земель,
Где смерды в поте и работе
Руси качали колыбель.

В ДВАДЦАТЬ ТРИ

Побелила вьюга вроде бы
За ночь город начисто.
Ничего еще не пройдено,
Ничего пока не начато...
За окном мела метель,
И была во мне, поверь,
Вьюга.
Вихри снега за окном,
Слов круженье над пером —
Походили друг на друга...
Шелестел мой чистый лист,
Путь сквозь вьюги был тернист
До рассвета...
Мне хотелось песнь сложить,
Что слегка устал я жить.
Вышло вот про это —
Ничего еще не пройдено,
Ничего пока не начато.
Побелила вьюга вроде бы
За ночь город начисто.

ПОКЛОН

Говорит мне: «Поклонись Ленинграду...»
Мы прощаемся, к вагону иду.
Прослезился сосед — это ж надо! —
Словно в тысяча забытом году. . .

Я приеду в строгий город. Ветер с моря приветит,
Я вдохну его, и вспыхнет снова жажда до всего.
Как весенняя Нева, понесется жизнь. Приветик
Позабуду я послать, но получу от него.

И нечаянно приснится: ходики тикали,
Пил сосед одиноко, собирался на вокзал. . .
А проснусь просветленным и тихим,
Словно чей-то голос тайное сказал.

Я куплю цветы в киоске. Приеду в Лигово,
Пройду до обелиска
И пойму, как этой встречи хочу!
Дядя Коля воевал здесь.
Поклонюсь низко-низко,
Помолчу!

* * *

Земля просторна и тесна,
Но должен я открыть планету
Не там, где солнце и луна,
А здесь, где битва тьмы и света.
И только этот путь избрав,
Иду к открытию сквозь ветер
По праву — всех превыше прав —
Живущего лишь раз на свете.

Александр Житинский

СТРАСТИ ПО ПРОМЕТЕЮ

ПОВЕСТЬ

1

КАК ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ

Не имею ни времени, ни желания объяснять, как все получилось, с самого начала. Для этого мне пришлось бы начинать с тех пор, как я себя помню. А может быть, еще раньше. Я хочу объяснить, как я влип в эту историю с Прометеями. Слава богу, теперь все уже кончилось. Можно осмыслить, если есть чем.

А все из-за стремления упрочить жизненное благосостояние! Деньги до добра не доводят. Это мне моя бабушка говорила. В качестве примера она приводила какую-то денежную реформу. Может быть, еще дореволюционную. Бабушка не хранила деньги в сберегательной кассе и в результате в один прекрасный день извлекла из капронового чулка кучу бумажек, которые еще вчера были рублями. А теперь ими можно было оклеивать стены чулана, что она и сделала. Очень старая история. В то время ни сберегательных касс, ни капроновых чулок не было. Я просто не знаю, что было взамен, поэтому так и говорю.

Однако ближе к делу. Когда у нас в семье появился второй ребенок, мы с женой обрадовались. Она радовалась там,

в родильном доме, а я на свободе. Потом мы радовались вместе до моей зарплаты. А когда я принес зарплату домой, жена мне в первый раз намекнула, что теперь нужно думать о том, как зарабатывать больше. Нас уже, видите ли, четверо.

Ну, считать я умею. Я сел за стол и стал думать, что я еще умею такого, за что платят деньги. Только так, чтобы все законно. Разных махинаций я не люблю. Я, по-моему, честный.

— Ночным сторожем, — придумал я.

— Конечно, — сказала жена. — Когда в доме появился грудной ребенок, он хочет сматываться на ночь. Очень на него похоже.

— Куда это ребенок хочет сматываться? — не понял я.

— Это ты ребенок, — сказала жена.

Я стал думать дальше. Идею давать уроки абитуриентам я отверг. Мне не хотелось наводнять наши институты недоброкачественными студентами. Кроме того, я один раз пробовал. Знаю, что из этого получается. Заработанные таким путем деньги у меня лично нервных затрат не компенсировали.

Можно было попытаться перевести с какого-нибудь языка на свой. Если это кому-нибудь нужно. Но для этого предстояло сначала выучить язык. И чужой, и свой заодно тоже. Вы сами уже убедились, что со своим языком я еле-еле справляюсь.

— В дворники тебя не возьмут, — сказала жена, следя за ходом моей мысли. — У тебя высшее образование.

— А что, туда только с аспирантурой берут? — обиделся я.

— Жалко, что оно у тебя есть, — продолжала жена. — Толку от него все равно мало. Сейчас бы ты устроился слесарем, и мы бы горя не знали.

— Слесарь — это что? — поинтересовался я. — У станка, что ли? Кстати, есть такой слесарный станок или нет?

— Кажется, нет, — вздохнула жена. Она тоже с высшим образованием.

Я стал рассказывать ей для примера, какие еще существуют способы. Один мой знакомый каждое лето ездил куда-то далеко строить. Он сколачивал бригаду научных сотрудников, и они отправлялись в Сибирь. Или на Сахалин. В общем, чем дальше, тем лучше. Там они строили разные штуки колхозам. Будто бы они студенческий строительный отряд. Колхозам, как я понял, было наплевать, кто они на самом деле. Лишь бы они построили клуб. Или свинарник. Или детские ясли. Мой знакомый строил им эти самые ясли в кратчайший возможный срок. Вкалывали они там как карлы, а зарабатывали значительно

больше. Три кандидата наук, один архитектор, чтобы свинарник не завалился, и четверо на подхвате. Круглое катать, плоское таскать. Но к ним было не устроиться, конкурс большой. Если бы я был бульдозеристом, они бы взяли. Им бульдозериста как раз не хватало. Но я бульдозер знал только внешне и немного принцип действия.

Другой мой знакомый стучал на барабане. Он состоял в эстрадном ансамбле. Этот ансамбль сохранился со студенческих лет. Все уже повзрослели, опять же стали кандидатами, но все равно продолжали с увлечением мотаться по пригородам и играть на танцевальных вечерах. Им нужен был не бульдозерист, а певец, чтобы умел петь. Певец из меня такой же, как бульдозерист. Дальше можно не продолжать, все ясно.

Я вдруг с тоской осознал, что ничего не умею делать в этой жизни полезного людям.

Да, чуть не забыл! Один вообще уникально подрабатывал. Он красил шпиль. У нас много шпилей в городе, и платят, наверное, здорово. По специальности он был микробиолог. Вдобавок альпинист. Он залезал на шпиль и красил его часами. А другой микробиолог подавал на веревочке краску в ведре. Он получал меньше. Потом он упал, — тот, что наверху работал. Деньги до добра не доводят. Правильно бабушка говорила.

Жена выслушала печальную повесть про микробиолога и спросила:

— Может быть, тебя повысят на работе?

Я ей объяснил, что она плохо себе представляет механизм повышения в нашем институте. Для того, чтобы повысили меня, нужно, чтобы сначала повысили ректора. Или чтобы с ним, не дай бог, случилось какое-нибудь несчастье. Тогда на освободившееся место ректора назначается его заместитель. На место заместителя назначается наш декан. И так далее, пока не дойдут до ассистентов. Кого-нибудь из них двинут в доценты, а меня сделают ассистентом. Это напоминает игру в «пятнашки». Строгая очередность номеров и терпение.

— Защищай диссертацию, — сказала жена.

Наконец-то она произнесла это слово! Я его, между прочим, с самого начала ждал. Мне с этой диссертацией давно покоя не дают. А я ее принципиально не защищаю, потому что науке от этого никакой пользы не будет, а государству только вред. Оно будет вынуждено кормить еще одного кандидата.

Их и так развелось, как сусликов. Давно пора произвести отлов и сортировку.

Нет, я хотел зарабатывать деньги честно. Я уже об этом говорил. А тут какие-то фокусы с этим званием... В самом деле, был я вчера младшим научным сотрудником. А сегодня, допустим, защитил диссертацию. Так что же — у меня в голове что-нибудь переключилось на повышенные обороты? Или я сразу поумнел на пятьдесят процентов? Или аппетит у меня возрос?

За что, спрашивается, мне вдруг начинают платить, как водителю автобуса первого класса?

И главное, платили бы, когда я работу делал. Пот проливал. Точечки на график наносил. За рецензентами бегал. Так нет. Деньги начинают платить, когда ты после защиты переходишь на отдых. Теперь можно до пенсии стирать пыль с ушей, собирать марки, разводить рыбок, играть на ксилофоне, ездить в капиталистические страны, спать на Ученом совете, меняться квартирами и лечить гастрит.

Зарплата будет идти аккуратно, как часы «Полет» на двадцати трех рубиновых камнях.

Жена наконец поняла, что попала в мое больное место.

— Ребенок уписался, — сказала она. — Пойди постирай пеленки!

Я отправился в ванную с мокрыми тряпочками под мышкой, все еще бормоча филиппики против кандидатов. В общем, ничего я в тот вечер не придумал. Сплошные филиппики, и ни одной разумной идеи.

Тогда я стал спрашивать народ на кафедре, нет ли где какой-нибудь халтуры. Мне все сочувствовали, предлагали даже денег взаймы, но я отказывался. Я думал о будущем, когда придется эти деньги отдавать своими руками. Эта мысль вызвала повышенное уныние.

Дня через три меня вызвал заведующий кафедрой. Наш отец и благодетель. Он весело посмотрел на меня и усадил мягким жестом.

— Петр Николаевич, — начал он осторожно, чтобы не ущемлять мое самолюбие, — я читал вашу статью в стенгазете относительно перспектив лазерной техники. Дельно, увлекательно... У меня есть к вам предложение.

Я сразу успокоился. Предложение — это не втык. Это приятно.

— Один мой знакомый попросил меня подобрать кандида-

туру молодого физика. Энергичного. С широким кругозором. С воображением. . .

«Да не тяните вы kota за хвост!» — дерзко и уважительно подумал я. Меня очень заинтересовало, кому это нужен молодой физик с широким и энергичным воображением? И зачем?

Как вскоре выяснилось, требовался специалист для консультаций. Некий журналист со странной фамилией Симаковский-Грудзь намеревался осуществить на студии телевидения цикл научно-популярных передач по физике. Однако, насколько я понял, он в этом деле не очень петрил. В физике. Зато непринужденно владел пером. А я непринужденно владел физикой. Получалось, что вместе мы можем написать грамотный и увлекательный сценарий.

— Хорошо, — сказал я. — Я попробую.

— Попробуйте, попробуйте, — сказал завкафедрой, будто угощал меня кексом собственного приготовления.

На этом мы расстались.

На следующий день мне позвонил Симаковский-Грудзь.

— Говорит Симаковский, — сказал он. — Мне Верлухина.

— Я Верлухин, — сказал я.

— Очень приятно, — сказал Грудзь. — Надо встретиться, старик.

— Давай, старик, встретимся, — согласился я. Я решил с самого начала держаться на равных.

Мы встретились вечером у памятника Пушкину. Так почему-то захотелось Симаковскому. Чтобы Симаковский меня узнал, я держал в руках журнал «Иностранная литература».

Симаковский подошел вместе с каким-то стариком в берете. Старик на ходу размахивал руками, задирали лицо к небу и что-то говорил Симаковскому. Сам Симаковский был небольшого роста человеком с желтым лицом и аристократическими пальцами. Когда он улыбался, обнажалась уйма крупных, как патроны, коричневых зубов.

— А вот и коллега, — сказал Грудзь, протягивая мне узкую ладошку. — Юрий, — сказал он. — Андрей Андреевич Даров, наш режиссер, — представил он старика.

— Очень рад, — приветливо сказал старик, помахивая седыми бровями.

— Андрей Андреевич — автор идеи, — сказал Симаковский.

— Ну-с, с чего начнем, друзья мои? — приподнято спросил Даров.

— С идеи, — предложил я. — Я ничего про идею не знаю.

— В таком случае, простите. Может быть, я буду повторяться. Многое я уже говорил Юрию Павловичу, — обратился Даров сначала к Симаковскому, а потом ко мне. — Пойдемте прогуляемся.

И мы пошли прогуливаться, окружив Дарова с двух сторон вниманием. Даров говорил, поворачиваясь то ко мне, то к Симаковскому, дергая руками, а иногда на полном ходу останавливаясь, когда его поражала какая-нибудь мысль. Мы с Симаковским по инерции проскакивали вперед, но тут же замечали отсутствие старика и оборачивались. Даров стоял посреди улицы, хлопая себя ладонью по лбу, и повторял:

— Какой поворот! Какой замечательный поворот!

Он имел в виду поворот темы. И мы шли дальше, обсасывая идею. Даров оказался чрезвычайно увлекающимся человеком. Слава богу, что дело происходило летом. А то бы мы замерзли, наверное, насмерть, потому что гуляли до полуночи. Даров незаметно перешел на стихи и читал нам Пушкина. Он читал громко и выразительно. Симаковский воспитанно прикрывал рот, зевая. Ему хотелось спать. Я трепетал, соприкоснувшись с миром творческих работников.

В голове у меня скакали мысли о Прометее.

2

ПРОФЕССИОНАЛ ПЕРА

Несколько слов о Прометее. Я буду пересказывать своими словами миф, который поведал нам Даров. Не думайте, что вы все знаете о Прометее. Я тоже так думал, а зря. Прометей! Любимец богов!.. Никакой он не любимец. Совсем даже наоборот.

Еще раз подтвердилось, что невежество не знает границ. Поэтому я и расскажу миф о Прометее, чтобы не возникало потом путаницы.

Так вот. Прометей не был человеком. Он был титаном, а следовательно, бессмертным. В свое время он оказал какие-то услуги Зевсу, а потом отошел от политики и стал заниматься наукой. Люди в то время были совершенно дикие. У них даже огня не было. Прометей очень полюбил обыкновенных смертных. Таких, как я. Совершенно непонятно, за что. Наверное, из сострадания.

Он выкрал у богов огонь и подарил его людям. Это первое. Возможно, это сошло бы ему с рук, если бы он не пошел дальше. Но Прометей научил людей ремеслам и наукам. Это второе. Ввел понятие медицины. Это третье. Построил первый корабль и дал людям искусство. Это, кажется, последнее.

Про искусство я не совсем четко представляю. Как он его дал? В какой, так сказать, форме? Но это, к счастью, неважно.

Конечно, Прометей работал на пустом месте, поэтому успел так много сделать. Кроме того, он имел кучу времени, поскольку был бессмертен. Но в конце концов, его деятельностью заинтересовался Зевс. Люди к тому времени немного обнаглели, получив столько знаний. Знания в этом смысле отрицательно сказываются на характере.

Тогда Зевс приказал прибить Прометея к скале. Его прибили. Умереть он физически не мог, а мучиться — сколько угодно. Он лежал на скале, и каждое утро прилетал орел, который терзал ему печень. Продолжалось так я не знаю сколько, но долго. Потом Прометея освободил Геракл, но это уже к моей истории не относится.

В результате всего вышеизложенного Прометей стал собирательным типом. А огонь Прометея стал символом служения людям. Кстати, цикл наших передач так и должен был называться: «Огонь Прометея». Схема была такая: мы с Грудзем пишем сценарий на сорок пять минут из какой-нибудь области физики. Рассказываем, кто ее двигал с самого начала, а потом дальше. Останавливаемся на Прометеех: Ньютон, Эйнштейн, Мария Кюри и прочие. А в конце передачи выступает наш Прометей из той же области физики и рассказывает, как он сейчас двигает науку вперед. Было одно условие: не ниже доктора наук. Кандидаты на роль Прометеев не годились.

— Служение людям! — воскликнул Даров, когда мы гуляли. — Цель творчества — самоотдача... Знаете, чьи это стихи?

— Безусловно, — кивнул Симаковский.

— Не помню, — кивнул я. Не люблю интеллектуальных тестов.

Словом, Даров нас настроил эмоционально. Настолько эмоционально, что Грудзь на следующий же день запил. Конечно, он не так примитивно запил, как большинство. Грудзь красиво запил, интеллигентно. Он пил коньяк.

Я пришел к нему, как мы условились. У Симаковского была однокомнатная квартира убежденного холостяка. На стенах висели афиши цирковых представлений. Раньше Грудзь писал сценарии цирковых представлений, массовых гуляний и традиционных заплывов. А теперь его потянуло на физику.

— Ты слышал, старик, что сказал старик? — спросил Симаковский, наливая мне коньяк. — Служение людям! Это мы должны отразить.

— Наверное, отразим, — сказал я.

— Прием! — закричал Грудзь. — Главное — найти прием! Представь себе — мы пишем про фазотрон. Знаешь, кто его изобрел?

— Нет, — сказал я.

— Эх, ты, физик! — сказал Симаковский. — Ну, ладно. Не будем про фазотрон. Будем сначала про эти. . . Маленькие такие. . .

— Электроны? — спросил я.

— Нет. Ква. . . ква. . . — закакал Грудзь.

— Кванты, — догадался я. — А ты что, старик, их видел когда-нибудь? Почему ты решил, что они маленькие?

— По телевизору показывали, — сказал Симаковский. — Маленькие, круглые и светятся. На каждом крестик стоит.

— Это протоны, — с тоской сказал я.

— С тобой не договоришься! — закричал Симаковский. — Кто их изобрел?

— Планк, — сказал я, чтобы не запутывать Симаковского.

Симаковский задумался. Он пошевелил губами, произнося про себя трудную фамилию. Потом он хлопнул рукой по колену.

— Бланк! — сказал он. — У меня был друг Женя Бланк. Тоже головастый мужик. Мы с ним в Саратове устраивали гастрологи львов. Понимаешь, полный стадион народу, и прямо на футбольное поле вертолет выгружает дюжину львов! . . . Нет, шестерых. Все равно страшно. Дрессировщик запутался в веревочной лестнице, а львы побежали к трибунам. Так Женя Бланк встал грудью и, пока дрессировщик распутывался, гонял львов туда-сюда по площадке. Он был материально ответственный за мероприятие.

Симаковский рассказал до конца эпопею со львами, а заодно прихватил похождения Бланка в Казахстане с аттракционом «Гремучие змеи». Этот Бланк в самом деле был рискованым человеком.

— Давай, старик, начнем писать сценарий, — предложил я.
— Про что? — спросил Симаковский. — Тему выдвигаю ты. Мне все равно. Только учти: служение людям... Кстати, ты, как консультант, будешь получать тридцать процентов.

— А сколько это в рублях? — спросил я.

— Договор заключат, тогда узнаешь, — сказал Симаковский. — А заключат его по готовому сценарию. Соображаешь? Времени у нас в обрез. Одна неделя.

— А где мы возьмем Прометея? — спросил я.

— У тебя есть знакомый доктор?

— Шеф у меня доктор, — неосторожно сообщил я.

— Гениально! — воскликнул Грудзь. — Доктор — значит, Прометей!

Я мигом себе представил лицо шефа в рамке телевизора. У меня энергичное воображение. Картина получилась настолько нелепой, что у меня потеплели уши.

— Он не пойдет, — сказал я.

— Пойдет, — заявил Симаковский. — Дадут полтинник, и пойдет! Чем он занимается?

— Рассеянием электронов на примесях, электрон-фононным взаимодействием... — начал перечислять я.

— Кто его изобрел?

— Никто его не изобретал. Оно всегда было, — сказал я. Откровенно говоря, я боялся называть фамилии. Во-первых, там все очень запутано, а во-вторых, у Симаковского с его общительностью вполне могли оказаться знакомые однофамильцы.

— Ладно, — сказал Симаковский. — Прометеев найдем после.

Он поставил на стол пишущую машинку, заправил в нее четыре листа бумаги, переложенные копиркой, и отступал заголовков:

Ю. П. СИМАКОВСКИЙ-ГРУДЗЬ «ОГОНЬ ПРОМЕТЕЯ»

Симаковский раскрыл скобки и спросил:

— Как называется наука?

— Физика твердого тела, — сказал я.

— Ха-ха-ха! — рассмеялся Симаковский. — Надо же! Твердого тела! — Это ему почему-то понравилось. Он написал: «Физика твердого тела», закрыл скобку и несколько раз перевел рычаг.

— Слева пишем, что показывать. Справа — что говорить, — сказал он и понесся дальше. На всей первой странице он решил показывать огонь крупным планом. При этом диктор должен был излагать легенду о Прометее. Ту, которую я уже излагал. У Симаковского она получилась красочнее. Прометей у него был прибит к мрачной, выжженной солнцем скале, а орел выглядел совсем уж несимпатично. Орел был явно фашистского вида.

— Чем ты работаешь? — бросил через плечо Симаковский.

— Головой, — сказал я.

— Да не то! Прибор там у вас есть какой-нибудь?

— Лазер, — сказал я. Это была первая данная мною консультация.

Симаковский отбарабанил слева: «Лазер крупным планом». Справа он написал большими буквами: ВЕДУЩИЙ. И остановился. Далее должен был следовать текст ведущего.

Грудзь набил трубку и закурил. Начиналось подлинное творчество. Трубка не помогла, и Симаковский выпил коньяку. Коньяк помог. Грудзь написал: «Мы с вами находимся в лабо-». Строчка кончилась. Страница тоже. Он вынул закладку и полюбовался ею. На странице не наблюдалось ни единого исправления. Грудзь был настоящим профессионалом пера. Даже еще лучше. Он был профессионалом машинки.

— Знаешь, сколько это стоит? — спросил он. — Примерно пятнадцать рублей.

Я мысленно взял тридцать процентов. Получилось четыре пятьдесят. Такова была стоимость слова «лазер», произнесенного мною. У меня в желудке образовался комочек холода, потому что я решил, что занимаюсь жульничеством. Не знаю, может быть, оперные певцы за свои слова получают и побольше. Но они их поют.

— Хватит на сегодня, — сказал Симаковский. Он вручил мне один экземпляр страницы с легендой о Прометее, и мы расстались. Я вышел от Симаковского, и уже на лестнице мне почему-то захотелось послать это дело подальше. Впоследствии таких минут становилось все больше.

Еще через день я позвонил Симаковскому, чтобы продолжить работу над сценарием. К этому времени я уже кое-что придумал и раскопал корифеев физики твердого тела. Тех, которые уже отдали себя человечеству полностью, и других, у которых еще что-то осталось отдать. Шефу я ничего пока не говорил.

Я позвонил, но Симаковского не оказалось дома. Не оказалось его и спустя сутки, потом двое и трое. Я встревожился. Мне пришла в голову печальная мысль, что Грудзь умер. Зря он все-таки умер, не успев отразить служения людям!

Еще день я соблюдал траур, а потом на душе стало легко, потому что все разрешилось само собою. Хорошо, что я ничего не сказал шефу!

Кончалась отведенная Грудзем неделя на сотворение сценария. Еще немного, и я был бы вне опасности. Но тут мне позвонили на работу со студии.

— Мы ждем завтра сценарий, — сказал женский голос.

— С кем я говорю? — спросил я.

— С редактором передачи. Моя фамилия Морошкина. Зовут Людмила Сергеевна.

— А где Симаковский? — спросил я.

— Как где? — удивилась трубка. — Это вы сами должны знать. Как у вас со сценарием? Передача включена в план. Сценарий должен быть завтра в четырнадцать на столе у главного. До свидания!

Из этой речи мне очень не понравились следующие слова: «план» и «на столе у главного». Такими словами не шутят. Я понял, что завтра в четырнадцать на столе у главного будет лежать нечто, называемое сценарием. Оно будет лежать там, если даже обоих авторов уже не будет в живых. Даже если произойдет наводнение или на город свалится метеорит. Такова сила слова «план».

Я поехал к Грудзю и до ночи ждал его у дверей квартиры, чем возбудил подозрение соседей. Они по очереди звенели дверными цепочками и высовывали носы из щелей. Им очень не нравилось, что какой-то тип прогуливается по лестничной площадке. На мои вопросы о Симаковском они поспешно захлопывали двери.

Когда я вернулся домой, жена подала мне телеграмму. «СРОЧНО ВЫЕХАЛ ИРКУТСК ТЧК ПЕРВЫЙ СЦЕНАРИЙ СДАЙ САМОСТОЯТЕЛЬНО ТЧК ПРИВЕТ СИМАКОВСКИЙ».

— Привет, — сказал я. Телеграмма была из Казани.

— Связался с Грудзем — полезай в кузов, — сказала жена.

— Ненавижу каламбуры! — сказал я.

НИЦОЦО

Первый сценарий я писал от полуночи до шести утра. Шесть часов я, как Прометей, отдавал себя людям. Слева я писал, что показывать, справа — что говорить. Ни разу не перепутал. В кровати светилось спящее личико сына. Оно меня вдохновляло.

Перед своим мысленным взором я поместил экран телевизора и старался заполнить его интересной информацией по физике твердого тела. Чтобы зрители не очень скучали, я включил в сценарий музыку Баха, стихи Ломоносова, репродукции полотен кубистов и песни Таривердиева. Время от времени, следуя заветам Симаковского, я показывал огонь крупным планом.

В сценарии было очень много служения, горения и отдавания себя людям.

Летняя ночь давно кончилась, когда я написал: «Мы попросили доктора физико-математических наук Виктора Игнатьевича Барсова рассказать о сегодняшнем дне физики твердого тела». «На экране В. И. Барсов», — добавил я слева. «Здравствуйте, шеф!» — виновато пробормотал я.

И тут заголосил сын. Жена встрепенулась, взглянула на меня и сказала:

— Ты что, рехнулся? Тебе же сейчас на работу...

— Знаешь, сколько это стоит? — спросил я, как Симаковский, потрясая исписанными листами.

— Сколько? — спросила жена, просыпаясь по-настоящему.

— Не знаю, — сказал я. — Вероятнее всего, это бред. Но я сделал все что мог.

Я пришел на работу и спал там до обеда в фотолаборатории. Потом меня разбудила лаборантка Неля, я отпросился у шефа и поехал на студию. Шеф уже знал, что я сотрудничаю на телевидении по рекомендации заведующего кафедрой. Поэтому он не чинил препятствий.

На студии в бюро пропусков мне выдали жетон и сказали, в какую комнату идти. Я пришел в эту комнату.

Это было длинное помещение, уставленное письменными столами. Между ними бегали люди, натываясь друг на друга. Каждый делал какое-то свое дело. В конце помещения находилась дверь, на которой было написано «Главный редактор».

Справа, у окна, сидел юноша с длинными волосами и смотрел через стекло в небо. Глаза его выражали тоску и отчаянье. Время от времени юноша отрывал взгляд от неба и что-то писал на бумажке.

Слева у стола сгрудились какие-то люди, каждый из которых держал перед носом лист бумаги. Они напоминали хористов на спевке. В центре группы находился человек азиатского вида. Ему в ухо непрерывно шептала девушка. Азиатский человек блаженно щурился, кивал и повторял одно загадочное слово:

— Ницоцо... Ницоцо...

Вскоре я понял, что могу проторчать здесь весь день, но никто не обратит на меня внимания. Меня обходили как неодушевленный предмет. Как несгораемый шкаф или дорическую колонну. Никто на меня даже не смотрел, поэтому трудно было начать расспросы.

Внезапно дверь главного редактора распахнулась, и оттуда вылетела растрепанная, как воробей, женщина. Она ринулась к графину с водой, на ходу распечатывая пачечку таблеток. Руки у нее дрожали. Она забросила таблетку в рот и запила водой. После этого женщина беззвучно выругалась. Я даже понял, каким словом. Повторять его не буду.

Она уже хотела броситься обратно, но взгляд ее упал на меня. Я улучил момент и быстро проговорил:

— Мне нужна Морошкина Людмила Сергеевна.

— Морошкина... — как бы вспоминая, повторила женщина. — Морошкина... Это я.

И она вдруг залилась истерическим смехом, потом рухнула на стол и забилась в рыданиях. Никто из присутствующих на это не прореагировал. Только одна из окружавших азиатского человека женщин подошла к Морошкиной, поставила перед ней стакан воды и сказала басом:

— Люсенька! Нельзя же так убиваться из-за этого монстра.

Морошкина подняла голову и вытерла платочком слезы. Потом она нашла в себе силы улыбнуться мне. А я нашел в себе силы улыбнуться ей. Мы улыбнулись. Морошкина, когда улыбалась, была ничего, симпатичная. Но улыбалась она редко. Такая у нее была специфика труда.

— Я Верлухин, — сказал я. — Принес сценарий.

Морошкину будто подбросила катапульта. Она прыгнула ко мне и выхватила сценарий. Первую страницу, отпечатан-

ную на машинке Симаковским, она проглотила, как голодающий, не пережевывая. На второй странице она споткнулась.

— Почему от руки?! — взвизгнула Морошкина.

— А от чего нужно? От ноги? — безмятежно пошутил я.

Морошкина первый раз достаточно внимательно посмотрела на меня. Она оглядела меня с головы до ног. Осмотр ее, по видимому, удовлетворил. Внешне я производил впечатление нормального человека.

— Вы что, первый раз? — уже сочувственно спросила она.

— Угу, — сказал я, краснея. Всегда немного стыдно, когда делаешь что-то в первый раз.

— Пойдемте! — скомандовала Морошкина. — Быстрей!

И мы понеслись куда-то по коридорам студии. Встречавшихся людей мы обходили, как слаломисты обходят палочки с флажками. Жалко, что не было лыжных палок. Два раза я чуть не упал и все-таки умудрился угодить головой в живот какому-то дяде. Как позже выяснилось, народному артисту республики.

Мы примчались в машинописное бюро.

— Девочки! — закричала Морошкина. — Спасите! Монстр меня съест!

Она раздергала мой сценарий на листочки и сунула его пятерым машинисткам. Машинистки открыли беглый огонь. Морошкина сгребла в кучу перепечатанный в шести экземплярах сценарий, и мы побежали обратно. Без трех минут два мы ворвались к главному редактору. Морошкина бухнула ему на стол пачку листов и застыла в ожидании.

— Это что? — поморщившись, спросил главный. Он был мужчиной средних лет. С бородой. В очках. Толстый и, видимо, уверенный в себе. Одет он был с иголочки.

— Это «Прометей», Валентин Эдуардович, — ласково произнесла Морошкина.

— Даров читал? — спросил главный.

— Нет, — пролепетала Морошкина, бледнея.

— Впредь. Чтобы. Сначала. Читал. Даров, — сказал Валентин Эдуардович так мягко, что Морошкина чуть не упала в обморок. Потом главный углубился в сценарий. Он читал профессионально — сверху вниз и наискосок. Лицо его при этом ничего не выражало.

— Ну, ничего, ничего... Принципиальных возражений нет, — сказал он, прочитав. — Дарову.

Морошкина опять сгребла сценарий, и мы вышли, пятясь. За дверью Людмила Сергеевна порозовела и улыбнулась мне:

— Невероятно! Вы что, счастливичик? Обычно первый вариант сценария действует на него, как красная тряпка на быка.

— Значит, я тореадор, — опять пошутил я. Никак я не мог понять, что здесь не все имеют право шутить. Морошкина сразу стала серьезной. Даже грустной.

— Желаю вам сохранить ваш оптимизм, — сказала она.

Мы нашли Дарова в студии. Шел тракт. Тракт — это по-телевизионному репетиция передачи. Даров сидел в аппаратной перед восемью экранами, расположенными в два ряда друг над другом. На всех экранах показывали куриное яйцо крупным планом. На яйце был виден штемпель. Значит, оно было диетическим.

— Уберите штемпель, — сказал Даров в микрофон.

В кадр влезла чья-то волосатая рука и повернула яйцо другим боком. На мой взгляд, принципиально ничего не изменилось. Но Даров остался доволен.

— Так! — сказал он. — Что же дальше? Давайте, давайте!

На экране появилась та же самая рука, но теперь уже вооруженная молотком. Я вдруг понял, что сейчас произойдет что-то страшное. И действительно, рука сделала замах и что есть силы ударила молотком по яйцу. Яйцо вдребезги разлетелось.

— Плохо! — резюмировал Даров. — Никуда не годится! Это вам не гвозди забивать. Зритель в этом месте должен вздрогнуть. Давайте еще раз!

— Андрей Андреевич, осталось одно яйцо, — донесся из динамика жалобный голос.

— Нет, я не могу так работать! — вскипел Даров. — Сколько вы приобрили яиц?

— Десяток, — сказал тот же унылый голос.

— Вы, голубчик, домой покупайте десяток. Для яичницы, — саркастически сказал Даров. — А у нас все-таки производство. Кончайте с последним! Больше экспрессии!

Рука восстановила статус кво, а потом с такой злостью долбанула по яйцу, что даже скорлупы не осталось.

— Ну вот, — добродушно сказал Даров. — Вас, оказывается, нужно разозлить.

Потом старик повернулся к нам, поздоровался и принялся читать мой сценарий. Вскоре ему стало тесно его читать, потому что Дарову нужно было двигаться. Мы перебежали рысцой в коридор, где Даров стал прыгать со сценарием в руках, шевеля губами, поднимая брови и тому подобное. У него было удивительно много энергии для таких лет. Он вспотел, как бегун на длинную дистанцию. Мне даже неудобно стало, что я заставил его расходовать силы.

— Молодец гусь! — воскликнул Даров, дочитав.

— Какой гусь? — не поняла Морошкина.

— Грудзь, наш Грудзь! — засмеялся Даров. — Никак от него не ожидал. А где он сам, кстати?

— В Иркутске, — сказал я.

— Позвольте, — сказал Даров. — Что за фокусы?

— А кто это писал? — спросила Морошкина, указывая на сценарий.

— Я писал, — сознался я.

— В общем, сыровато. . . — после паузы сказал Даров. — Но кое-что есть. Вы когда-нибудь писали раньше?

Я сказал, что пишу с шести лет. В школе очень много писал. Сочинения, контрольные работы, планы работы пионерского звена, а потом комсомольского бюро. Затем писал в институте: Заявления, контрольные работы, курсовые проекты, дипломную работу. Сейчас пишу на службе. Объяснительные записки, заявления, отчеты, статьи, дипломные работы подшефным студентам, отзывы, а недавно написал даже проект приказа по институту. Кроме того, пишу письма, поздравительные открытки и телеграммы. В общем, можно было научиться писать.

Даров сказал, что это не те жанры. А по-моему, жанр приказа ничем не хуже повести и сценария. Верно?

Короче говоря, мой сценарий приняли в работу. Относительно договора никто не заикнулся. Морошкина предложила мне начинать второй сценарий и подготовить выступающего к сентябрю. То есть подготовить шефа.

Мы еще немного поговорили о сценарии. Про деньги ни гугу. Потом Даров с Морошкиной принялись горячо что-то обсуждать. Я ничего не понимал в разговоре. Он касался монстра Валентина Эдуардовича Севро, главного редактора. Судя по их высказываниям, он был лихой рубака. Он только и делал, что рубил сценарии и передачи.

— Слушайте, юноша, это вам пригодится, — предупредил меня Даров.

И я покорно слушал, как монстр зарубил какого-то Фонарского за то, что Фонарский использовал в сценарии цитату какого-то Мызина, а нужно было вставить туда цитату из сочинений какого-то Богдановича. Эти фамилии мне ничего не говорили. Еще у несчастного Фонарского не был выстроен образительный ряд, как они выражались. Но этого Севро почему-то не разглядел, чем лишний раз подтвердил свою профессиональную непригодность.

Как-то потихоньку складывалось впечатление, что монстр — бездарь, да и Фонарский тоже бездарь. Как я потом заметил, это вообще характерно для творческих работников. Нет, не бездарность. Вы меня неправильно поняли. Я говорю об этике отношений.

Как правило, если человек отсутствует — ну, например, уехал в командировку, вышел в туалет, сидит дома и работает, просто сидит в другой комнате или даже умер позавчера, — а о нем зашла речь, то он непременно почему-то оказывается бездарью. Хорошо, если не карьеристом и проходимцем. Это удивительно, но это факт.

Людмила Сергеевна назначила мне срок сдачи второго сценария и выразила надежду на скорое возвращение Симаковского. Следующий сценарий нужно было принести в начале сентября.

— Мужайтесь, юноша! Вы поняли, куда вы попали? — воскликнул Даров.

Я кивнул. Пока мне было интересно. Наивный теленок, которого ведут на мясокомбинат, — вот кто я был. Противно вспоминать! Однако в тот день я был даже доволен собой, и у меня мелькнула мысль, что я, вероятно, талантлив, если так легко накатал сценарий.

Самодовольный теленок.

Я еще немного помахал на студии хвостиком и поехал домой. Я ехал в трамвае и напевал бессмысленное слово «ницоцо». На мотив песенки об отважном капитане. Немного омрачал настроение предстоящий разговор с шефом по поводу его выступления. Но я решил не предупреждать его до отпуска. Пусть погуляет.

ОТДАВАНИЕ СЕБЯ

Симаковский продолжал бомбардировать меня телеграммами. «ЕДУ БРАТСК СИМАКОВСКИЙ». «ОТПЛЫЛ ИГАРКУ ТЕПЛОХОДОМ ПРИВЕТ СИМАКОВСКИЙ». «ВЫЛЕТАЮ МАГАДАН СРОЧНЫМ ЗАДАНИЕМ КАЗАХСКОЙ ФИЛАРМОНИИ ГРУДЗЬ».

Может быть, он решил, что я буду переставлять флажок на карте?

Я никак на телеграммы не реагировал, а собирал материал для следующего сценария. Тема была «Ядерная физика». Я давно питал к ней слабость. Мне всегда хотелось быть ядерщиком, да еще теоретиком. И создавать картину мира из головокругительных формул и понятий, которых на самом деле нельзя понять. Просто принципиально невозможно. Их можно только чувствовать, как музыку или стихи.

Но теоретика из меня не вышло. У меня был недостаточный крен мозгов для теоретика.

До чего все-таки обидно — не знаю, как вам, — ощущать собственный потолок! Особенно, если к нему приближаешься. Когда я учился в школе, я полагал, что могу все. Стоит только захотеть. Можно было стать хоть Эйнштейном, хоть Ферми, хоть Курчатовым. А вот не стал и теперь уже не стану.

Теперь мне предстояло писать о них, о гениях человечества. Но как популярно растолковать старшим школьникам суть гениальности? Горение, служение, отдавание. . .

Подошел сентябрь. Симаковский был в Ашхабаде. Шеф был в отпуске. Я был в тоске. Никак не мог подобрать кандидатуру на роль Прометея по ядерной физике.

Вдруг мне позвонила Морошкина.

— Срочно на студию, — замогильным голосом сказала она. — Приготовьтесь к неприятностям.

Я к неприятностям всегда готов. Неприятностями меня трудно удивить. Поэтому я, не моргнув глазом, отправился на студию. Морошкина встретила меня и молча повела к главному. На этот раз он решил со мной познакомиться. Он назвал свое имя, а я свое.

— Меня интересуют два вопроса, — начал Севро. — Где ваш соавтор? Есть ли у вас ученая степень?

— Можно ли мне отвечать в обратном порядке? — вежливо осведомился я. Должно быть, так разговаривают на международных конференциях.

— Пожалуйста, — сказал главный.

— Нет, — сказал я. — В Ашхабаде.

Севро почему-то ничего не понял. Я ему растолковал, что у меня нет ученой степени, а соавтор в Ашхабаде. Тогда он спросил, как дела со вторым сценарием, и я показал ему тезисы. Ничему из сказанного мною главный редактор не обрадовался. Он прочитал тезисы, откинулся на спинку стула и принялся размышлять, постукивая авторучкой по моим тезисам.

— Положение катастрофично, — сказал он. Морошкина достала таблетки.

— Почему? — спросил я.

— Вы не журналист и не кандидат. Это раз. Передача «Огонь Прометея» должна отражать не только физику. Это два.

— Как? — удивился я. — Договаривались о физике.

— Мы с вами не на базаре, — внушительно сказал главный. — Никому не нужно каждый месяц смотреть на физиков. У нас есть и другие ученые. Передачу нужно делать на материале разных наук. Она станет объемнее. Надеюсь, вам ясно, что с такой передачей вы не справитесь?

— Нет, — сказал я. — Не ясно.

— Какая у вас специальность? — задал риторический вопрос Валентин Эдуардович.

— А у вас? — дерзко спросил я.

Морошкину чуть удар не хватил. Она вскочила со стула и замахала на меня руками, как на муху. Будто хотела выгнать ее из комнаты. А я спокойно ждал ответа. Терять мне было уже нечего. Севро закурил сигарету и посмотрел на меня сочувливо.

— Я историк, — сказал он.

— А я физик.

— Какое вы имеете отношение к журналистике?

— Такое же, как и вы, — сказал я.

Морошкина бессильно опустила на стул.

— Хорошо, — сказал главный. — Сделайте нам сценарий на материале другой науки. А мы посмотрим.

— Пока со мной не заключат договор, я ничего делать не буду, — сказал я, очаровательно улыбаясь. Не знаю, откуда

у меня бралась наглость. Я каким-то шестым чувством почуял, что здесь нужно вести себя именно так.

Валентин Эдуардович на мгновение потерялся. Он сделал несколько бессмысленных движений: перевернул листок календаря, стряхнул пепел в чернильницу и снял очки. Про Морошкину не говорю. Она вообще потеряла дар речи.

— Людмила Сергеевна, заготовьте договор с Петром Николаевичем, — сказал главный. — Ждем ваш сценарий, — добавил он зловеще.

Мы с Морошкиной вышли. Она смотрела на меня со смешанным чувством ужаса и уважения. Потом она достала бланк договора, я его заполнил и расписался.

— Петр Николаевич, принесите текст выступления Прометей для первой передачи, — сказала Морошкина. — Кстати, Даров предложил нам с вами быть ведущими...

— Это можно, — кивнул я, пропуская ее слова мимо ушей. Я размышлял, откуда взять текст выступления шефа. Придется ехать к нему на дачу, как это ни печально.

В воскресенье я поехал к шефу. Шефа на даче не оказалось. Он загорал на пляже. Я пошел на пляж, разделся и положил одежду в портфель. После этого я пошел гулять в плавках, переступая через загорающих. Я боялся не узнать шефа, я его редко видел обнаженным.

Наконец я его увидел. Шеф лежал на спине, блаженно посыпая себя горячим песком. Рядом колошился его маленький внук. Ужасно мне не хотелось портить шефу настроение. Но дело есть дело.

Я лег рядышком и поздоровался.

— А, Петя! — воскликнул шеф. — Какими судьбами? Что-нибудь стряслось на работе?

— Стряслось, — сказал я.

Шеф сел и смахнул с живота песок.

— Вас приглашают выступить по телевидению, — сказал я. — Нужно рассказать школьникам, чем вы занимаетесь.

— Ага! — сказал шеф. — Начинается! Это абсолютно исключено.

— Виктор Игна-атьевич, — заныл я. — Что вам стоит?

— Нет-нет, не уговаривайте. Это профанация науки.

— Что такое профанация? — спросил я.

— Профанация — это когда крупный профан объясняет мелким профанам посредством телевидения, чем он занимается... Петя, вы же физик!

— У меня двое детей, Виктор Игнатьевич, — промолвил я. — Я отец, а потом уже физик.

— Простите, я не подумал, что это так серьезно, — сказал шеф.

— Детям нужно рассказать о нашей науке, — продолжал канючить я. Я почувствовал, что нужно напирать на детей. И на своих, и на чужих. Шеф был равнодушен к детям.

— Ладно, — сказал шеф. — Я выступлю.

Он снова лег и отвернулся от меня. По-видимому, он мучился тем, что пошел против своих принципов. Никогда не нужно иметь слишком много принципов. Совести будет спокойнее.

Я немного подождал, чтобы шеф остыл, а потом осторожно намекнул ему про текст. Шеф взорвался. Он вскочил на ноги и побежал купаться. Через некоторое время он вернулся весь в капельках моря, которые быстро испарялись с поверхности тела.

— Ну, Петя, я вам этого никогда не прощу, — сказал он. — Пишите!

Я быстренько достал из портфеля бумагу, и шеф продиктовал мне с ходу свое выступление. По-моему, оно получилось блестящим. Даже мне было интересно узнать в популярной форме, чем мы занимаемся. Я осторожно похвалил шефа. Сказал, что он прирожденный популяризатор.

— Уходите, — сказал шеф. — А то мы поссоримся.

— Ссора между начальником и подчиненным недемократична, — сказал я. — Вы меня можете уволить, а я вас нет.

— Петя, на вас отрицательно действует журналистика, — сказал шеф. — Вы стали излишне остроумны.

5

ПЕРВАЯ ПРОФАНАЦИЯ

На следующий день я отнес Морошкиной текст выступления шефа. Я сам его перепечатал на кафедральной машинке одним пальцем. На студии полным ходом шла подготовка первой передачи. Людмила Сергеевна схватила текст и убежала с ним по инстанциям. А меня поймала миловидная девушка в брюках, оказавшаяся помощником режиссера.

— Вас зовет Даров, — сказала она.

Я нашел Дарова в павильоне студии. Он расхаживал между столами и располагал на них разные предметы. Все они имели отношение к физике. Ни один из них не упоминался в моем сценарии.

Здесь была электрическая машина с лейденскими банками, электромагнит, модель атома по Резерфорду и тому подобное. На центральном столике находилась подставка с двумя угольными электродами. Это была электрическая дуга.

По-видимому, Даров опустошил какой-нибудь школьный физический кабинет.

— Ну как, юноша, смотрится? — спросил Даров. Он упорно продолжал называть меня юношей.

— А зачем они? — сказал я, указывая на приборы. — К физике твердого тела это не имеет отношения.

— Давайте, мой друг, исходить из следующего, — сказал Даров. — Зрителю должно быть интересно. Он должен видеть что-то работающее, двигающееся, прыгающее, мелькающее. Динамика! Ваши кристаллы малы, одинаковы и неинтересны. Мы будем показывать дугу!

— С таким же успехом можно показывать мюзик-холл, — сказал я.

— Это мысль, — сказал Даров. — Мюзик-холл — это мысль. Куда мы его приспособим?

— Перед выступлением Барсова, — предложил я.

— Правильно! Для оживляжа, — сказал Даров.

Только не пугайтесь этого слова! Оживляж — обыкновенный термин на телевидении. Иногда там говорят «дешевый оживляж». Это почти ругательство. А просто оживляж — ничего, это можно.

Итак, шефа собирались пустить с оживляжем. А мы с Морошкиной, как выяснилось, должны были зажигать электрическую дугу и рассказывать обо всех этих физических штучках, которые насобирал Даров. Некоторые из них я вообще впервые видел.

На первом тракте все напоминало одесскую толкучку в выходной день. Я там один раз был, на толкучке. В студии скопилось очень много народу: актеры, операторы, какие-то помощники, которые таскали за камерами провода и возили туда-сюда микрофоны на длинных палках, просто любопытствующие и мы с Людмилой Сергеевной. Не считая кордебалета из мюзик-холла. Даров сидел наверху, в аппаратной, и наблюдал

нас на экранах. Изредка он говорил нам по радио, как нужно делать, чтобы было лучше.

Лучше никак не получалось. Получалось хуже. Только я начинал вертеть электрическую машину, как оператор отъезжал от меня, а актер в другом углу начинал с завыванием читать стихи Ломоносова. Кордебалет вздрагивал и делал ножкой на зрителя. Двадцать пять ножек сразу, потом присед, разворот и опять ножкой — раз! Не надо никакой физики.

Слава богу, что не было шефа. Он бы не вынес этого гибрида физики с кордебалетом. Шефа решено было пригласить прямо на передачу. Я за него поручился, что все будет в порядке.

Потом я зачем-то зажигал дугу, а Морошкина держала между дугой и объективом камеры темное стекло, чтобы камеру не засветило. Людмила Сергеевна вела себя не очень уверенно, да и я тоже волновался, хотя это была только репетиция.

— Еще раз от хорала! — крикнул голос Дарова в динамике.

Мы повторили от хорала Баха, на фоне которого кордебалет изображал движение электронов, а я зажигал дугу. Во всем этом была какая-то мысль. Но Даров ее пока нам не раскрывал. Все зависело от монтажа кадров, который он там наверху осуществлял.

— Благодарю! — крикнул режиссер, и тракт кончился.

— Молилась ли ты на ночь, Дездемона? . . . — пропел Даров, спускаясь к нам. Он был в творческом возбуждении, ему хотелось кого-нибудь задушить. Так я понял. Он подскочил к электрической дуге и царственным жестом свел электроды. Под пальцами Дарова вспыхнул огонь, а сам он стал похож на старого, заслуженного Прометея.

— Вот как нужно делать, юноша! — воскликнул он.

Перед выступлением я очень волновался. Я волновался за шефа и мюзик-холл. Мне казалось, что они будут шокированы друг другом. За день до передачи я заметил волнение и у шефа.

— Втравили вы меня в историю! — сказал шеф. — Мы прямо в эфир пойдем или на видеоманитофон?

— Прямо, — сказал я, отрезая шефу путь к отступлению.

Шеф приехал на студию за полчаса до передачи и долго беседовал с Даровым. Старик рассказывал ему замысел и опять-таки эмоционально настраивал. Морошкина была блед-

на, как кафельная стенка. Она произносила шепотом какие-то заученные фразы и постоянно их забывала.

Началось все слишком даже хорошо. Музыка, стихи, огонь, кордебалет. Девушки из кордебалета были в газовых накидках. Особенно хорошо у них получилось Броуново движение. Я наблюдал за передачей на экране контрольного монитора. Это такой телевизор на колесиках и без звука. Вдруг на нем появилось мое-сосредоточенное лицо.

Не совсем хорошо помню, что было дальше. Я производил какие-то опыты, Людмила Сергеевна вставляла хрупким голоском свои фразы, потом я подошел к дуге и уверенно свел электроды.

— Куда?! — зашипел оператор, извиваясь перед камерой, точно от боли.

— Стекло! — скомандовал я Морошкиной, но было уже поздно. Дуга вспыхнула ослепительным светом, и я увидел на экране монитора черную глухую ночь, посреди которой мерцала полоска огня.

Я погасил дугу, но камера, точно ослепший человек, продолжала приходить в чувство, не различая окружающего. На мониторе по-прежнему был абсолютный мрак. Кордебалет тем временем двумя шеренгами прошагал перед камерой, а потом на экране, точно космический пришелец, появился прозрачный и бесплотный я. Мое лицо дернулось то ли от досады, то ли по вине электроники и произнесло:

— А сейчас перед вами выступит доктор физико-математических наук Виктор Игнатьевич Барсов.

Ослепшую камеру наконец выключили, и на экране возник шеф. Изображение было черно-белым, но я все равно почувствовал, что шеф красный от негодования. Он сделал пренебрежительный жест в сторону кордебалета и первым делом заявил, что все предыдущее не имеет отношения к физике. Потом шеф улыбнулся. Эта улыбка, в сущности, спасла передачу. Теперь его слова можно было толковать как непонятную шутку ученого. Ученые часто шутят непонятно.

Затем шеф вступил в битву за физику и, на мой взгляд, выиграл ее. Он говорил страстно. Даже девушки из кордебалета притихли и с уважением вслушивались в незнакомые термины. Я только один раз слышал до этого, чтобы шеф так хорошо говорил. Тогда он выступал на заседании Ученого совета и громил диссертацию какого-то жука. Боюсь, что теперь в роли жука пришлось быть мне.

Шеф закончил, еще раз показали огонь, и все завершилось. Даров прибежал в студию с искаженным от горя лицом. Так, должно быть, вбегают в сгоревшие дотла пенаты.

— Запороли! — закричал Даров. — Запороли начисто! Засветили мне лучший кадр! . . . Юноша, вы же физик. Нельзя так неосторожно обращаться с дугой!

— Это я виновата, — сказала Морошкина.

— А о вас, Люсенька, я вообще буду говорить на редсовете!

Даров повернулся к шефу и принялся трясти ему руку. По его словам, шеф спас то, что можно было спасти. Шеф сухо



поблагодарил и тут же уехал, не удостоив меня взглядом. Судя по всему, моя ученая карьера на этом закончилась. И журналистская тоже. Таким образом, я убил двух зайцев одной передачей.

В полном молчании Даров, Морошкина и я направились в редакцию. Там в кабинете главного просматривало передачу начальство. Сейчас оно должно было снять с нас стружку.

В кабинете находились три человека. Причем я сразу понял, что главный среди них не главный. Остальные были еще главнее его. В кресле перед телевизором сидел пожилой мужчина с тяжелой челюстью. Костюм на нем был покроя пятидесятых годов. Более угрюмого лица я не встречал в жизни. Мужчина смотрел в стенку, и стенка едва выдерживала его взгляд. Она прогибалась.

Главный и чуть поглавней на стенку не смотрели. Они смотрели в рот угрюмому человеку, будто оттуда должна была вылететь птичка. Нас усадили. Еще секунд десять продолжалась пауза. Где-то внутри самого главного человека зрело решение.

— Большая удача, — наконец сказал он, оторвав взгляд от стенки. Стенка облегченно выпрямилась. Я с интересом посмотрел на него, соображая, шутит он или нет.

— Ярко. Доходчиво. Эмоционально, — продолжал он.

Если это был юмор, то очень тонкий. Высшего класса. Потому что мужчина говорил свою речь без тени иронии.

Тут стали говорить другие люди, помельче. Выяснились удивительные вещи. Оказывается, самой большой режиссерской находкой была штука с засветкой камеры, которую я устроил нечаянно. Однако хвалили не меня, а Дарова. Старик скромно улыбался.

— Когда я увидел этот мрак на экране, а посреди него крупицу огня, принесенную людям Прометеем, у меня мурашки пробежали по коже, — сказал второй по величине человек. Он приятно грассировал на слове «мурашки».

Это он верно сказал. У меня тоже в тот момент были мурашки.

Далее я был назван молодым и способным журналистом, а Морошкина умелым и энергичным редактором. Я взглянул на Людмилу Сергеевну. Она тихонько щипала себе запястье, чтобы убедиться, что это не сон. Валентин Эдуардович выразился в том смысле, что нужно смелее выдвигать молодежь. Он хотел приписать себе честь моего выдвижения.

Конечно, не обошлось и без критики. Особенно досталось шефу за его непонятные термины.

— Какую выбрали тему для следующей передачи? — спросил тот, что грассировал.

— Математика, — сказал я. Математики я не очень боялся. Все-таки что-то родственное.

— Хорошо. Учитывайте специфику аудитории. Поменьше формул, этих тангенсов и котангенсов, — сказал самый главный.

У него была хорошая память. Он многое запомнил из школьной программы.

Мы с Морошкиной вышли со студии вдвоем. Людмила Сергеевна была возбуждена. Ее черные глаза сияли, как новенькие галошки.

— Петя, пойдёмте отметим это событие, — предложила она.

Мы отправились в кафе-мороженое. Там мы выпили шампанского, вспоминая последовательно каждую минуту этой великой передачи. Мы испытывали друг к другу нежность. Она называла меня Петенька, а я ее Люсенька.

Мы ощущали себя маленькими, но гордыми последователями Прометея. Мы только что подарили людям крупицу огня. К сожалению, я не заметил, чтобы это сразу принесло результаты. Официантка двигалась лениво и с явным презрением к нам. В очереди ругались по поводу отсутствия сухого вина. За соседним столиком трое молодых людей распивали водку, закусывая ее земляничным мороженым.

Все это можно было объяснить только тем, что люди не смотрели нашей передачи.

6

ПОПАВШИЙ В СТРУЮ

Мое выступление по телевидению не прошло незамеченным в коллективе, хотя я его и не афишировал. Вся кафедра внимательно за ним наблюдала, а потом каждый считал своим долгом изложить собственное мнение. В вопросах искусства все считают себя знатоками.

Я, собственно, не претендовал на то, что занимаюсь искусством. Я зарабатывал деньги. Но все подходило ко мне и начинали толковать о режиссуре, композиции передачи и изобразительных средствах. Затянуто, растянуто, перетянута, сглажено, продумано, непродумано... У меня голова заболела.

Один дядя Федя оказался нормальным человеком.

— Слышь, Петьк, сколько тебе за это кинули? — спросил он. Вполне естественный вопрос. Другие об этом спрашивать стеснялись, хотя им очень хотелось. Я видел по глазам.

После дружеской критики коллектив приступил к оказанию помощи. Теперь мне советовали, какую науку взять, где достать Прометея и так далее. Наиболее безответственные товарищи лезли внутрь искусства. Они советовали писать, употребляя эпитеты. Определения, которые употреблял я, они почему-то эпитетами не считали.

Однако нет худа без добра. Саша Рыбаков порекомендовал мне следующего Прометея. К тому времени у меня был готов

математический сценарий. Лейбниц, Галуа, Лобачевский... Не хватало нынешнего Прометея. Им оказался муж двоюродной сестры Рыбакова. Его звали Игорь Петрович. Ему было тридцать два года, почти как и мне. Бывший вундеркинд, а ныне доктор наук. По словам Рыбакова, он имел шансы стать академиком, когда чуть-чуть повзрослеет.

Вообще, столкновение с ровесником, добившимся существенно иных результатов в жизни, действует отрезвляюще. Начинаешь анализировать. Ему тридцать два, и тебе тридцать. У него жена и ребенок, и у тебя жена и двое детей. Пока все примерно одинаково. Но дальше начинаются расхождения. Он доктор наук, а ты не доктор. Он ездит в Париж читать лекции в Сорбонне, а ты нет. Он получает не знаю сколько, а ты в четыре раза меньше. Это наводит на размышления.

— И слава богу, что ты не вундеркинд, — сказала жена. — Я бы за вундеркинда не пошла.

Я позвонил вундеркинду, и мы договорились о встрече у него дома. Игорь Петрович оказался молодым человеком спортивного вида. Он встретил меня в засаленных джинсах и с бутербродом в руках. Его можно было принять за кого угодно: за хоккеиста, скалолаза, врача «Скорой помощи», художника, но только не за доктора наук. Не успел я войти, как из ванной комнаты выскочила его жена с ребенком под мышкой. Ее волосы были накручены на бумажки, исписанные формулами. Она сунула ребенка вундеркинду и с криком «опять ванную затопило!» бросилась обратно. Вундеркинд мигом проглотил бутерброд, сунул ребенка мне и кинулся за нею. Я перевернул ребенка правильной стороной и пошел следом. Ребенку было месяца три. Он смотрел мне прямо в глаза и иронически улыбался.

Мы с ребенком пришли в ванную комнату. Там воевали с водой без пяти минут академик с супругой. В ванне помещался новенький мотоцикл «Ява», блестящий, как купающийся носорог. Супруги справились с водой, после чего жена вундеркинда возмущенно отобрала у меня ребенка. Тот вздохнул и воздел глаза к потолку.

— Ни фигя не понимаю в этой технике! — пожаловался Игорь Петрович, указывая на колено водосточной трубы.

Мы пришли в кухню, где мой Прометей приготовил два бутерброда с вареньем. Один он протянул мне.

— Так чего нужно? — спросил он. — Ты извини, что такая обстановка.

Обстановка действительно оставляла желать лучшего. Кругом были кричащие диссонансы. На столе лежали два тома Бурбаки, на которых стояла сковорода с присохшими к ней остатками вермишели. Вермишель была коричневой, как ржавая проволока. Под столом находилась туристская брезентовая байдарка. Все выступающие части интерьера были густо увешаны пеленками. Это мне живо напомнило обстановку моей квартиры. На холодильнике плотной стопкой лежала испанная формулами бумага. Та самая, из которой супруга вундеркинда изготавливала папильотки. . .

Мы немного посетовали на трудности жизни, а потом перешли к делу. Как только Игорь Петрович услышал о телевидении, тон разговора переменялся.

— Вам не надоело меня теревить? — спросил он почти с ненавистью. — Ведь есть же другие! Да я вам покажу, где их взять. . . Вот Витька Попов у меня в отделе. У него такие идеи, что мне и не снились!

— Он доктор? — спросил я.

— Никакой не доктор! Башка светлая, вот и все. Кандидатскую заканчивает.

— Нужен доктор, — непреклонно сказал я. — Наш Прометей, да еще со светлой башкой не может заканчивать какую-то там кандидатскую.

— Ах, Прометей?! — закричал вундеркинд. — Колоссально! Только Прометеем я еще не был. Так вот куда вы меня хотите определить!

Он вскочил с табуретки и от полноты чувств наподдал ногой какой-то подвернувшийся предмет, который при ближайшем рассмотрении оказался детским полиэтиленовым горшком. Слава богу, без содержимого. Горшок издал глухой звук и улетел в прихожую.

— Я вам не позволю делать из меня плакат, — выговорил доктор.

— Какой плакат? — удивился я.

— Да все равно какой. Защищайте докторские диссертации! Храните знания в голове! Надежно, выгодно, удобно! Будьте Прометейми! Что там еще?

— Отдавайте себя людям, — подсказал я.

— Вот-вот! Сгорайте на работе! . . Не могу я. Надоело.

Я кое-как успокоил доктора. Хорошо, что он сразу меня не выгнал. Игорь Петрович вздохнул и вынул из холодильника

начатую бутылку коньяка. Мы выпили, после чего доктор начал мне жаловаться на свою тяжелую жизнь. Вкратце его жалобы сводились к следующему.

Игорь Петрович был из ученых, попавших, как говорится, в струю. Он попал в струю еще на первом курсе университета, и сначала это ему нравилось. Он написал какую-то работу, доложил ее в студенческом научном обществе, и работу опубликовали. Через несколько месяцев зарубежные коллеги перевели эту работу и подняли вокруг нее шум. Оказывается, идею Игоря Петровича можно было применить при расчете каких-то там турбинных лопаток. Пришлось подхватить этот шум и создать еще больший.

О нем написали в газете. Дали какую-то премию. Показали по телевидению. Его принял академик и имел с ним получасовую беседу. Академик умер через месяц, и само собой получилось, что Игорь Петрович как бы принял эстафету. Во всяком случае, так написали мои братья журналисты.

С тех пор каждый его шаг сопровождался успехом. Игорь Петрович иногда умышленно делал шаг в сторону, топтался на месте или отступал назад. Результат был один — его хвалили, о нем писали, его посылали за границу.

Вскоре он понял, что просто попал в центр струи, где наиболее сильное течение. Это течение без всяких помех приволокло его к докторской диссертации и продолжало нести прямо в академики. По пути Игорь Петрович стал типажем. Или, по-другому, олицетворением. Он олицетворял собой передовой отряд молодой науки.

Сейчас, по его словам, он прикладывал прямо-таки неимоверные усилия, чтобы выбиться из струи. Примерно такие же усилия прикладывают другие, чтобы в нее попасть. Он охотно бы с кем-нибудь поменялся, если бы от него это зависело.

— А вы пробовали на все плюнуть и заняться чем-то другим? — спросил я.

— Пробовал, — сказал вундеркинд, махнув рукой. — Я ушел из института три года назад и несколько месяцев занимался орнитологией.

— А что это такое?

— Наука о птицах, — сказал Игорь Петрович. — Но ваши коллеги тут же написали, что у меня многогранный талант. Когда я почувствовал, что вот-вот защищу по птицам диссертацию, я вернулся обратно. Орнитологи рыдали.

— Может быть, вы и вправду очень талантливы? — спросил я.

Игорь Петрович совсем загрустил.

— Нет... нет, — покачал он головой. — В том-то и дело, что я зауряден. Способности у меня есть, я не скрою. Но талант?.. С талантом они бы измучились. Талант неуправляем.

— Кто они?

— Ну, вы, например, журналисты. Или дирекция нашего института. Вам ведь нужен правильный человек, идущий по кратчайшему расстоянию между точками. Без страха и сомнений, так сказать.

— Но ведь у вас есть сомнения! — воскликнул я. — Вы мне уже высказали целую кучу сомнений!

— Сомнения относительно того, что нет сомнений? — снова покачал головой Прометей. — Конфликт от недостатка конфликта?

— Знаете что? — сказал я. — Расскажите об этом в передаче. Будет интересно. И необычно. В конце концов, идеи рождаются из сомнений. Неважно, из каких.

Игоря Петровича эта мысль заинтересовала. Мы оба были еще слишком молоды, чтобы оценить всю ее абсурдность. Мой вундеркинд загорелся. Он смел со стола сковородку с книгами Бурбаки, немытые чашки и тарелки, и мы расположились с листом бумаги составлять план выступления.

— Маша! — в восторге закричал Прометей жене. — Я с этим разом покончу! Я себя выведу на чистую воду! Ей-богу, неудобно уже людям в глаза смотреть.

Маша пришла с неизменным ребенком, и они оба посмотрели на вундеркинда с тревогой. Я почувствовал, что могу поставить под угрозу благополучие этой семьи. Хотя, с другой стороны... Ну, не станет Игорь Петрович академиком. Мало ли кто не станет академиком! Я, например, тоже не стану. Однако не очень расстраиваюсь по этому поводу.

У нас получился интересный план выступления. Никогда еще, по-моему, математик так общедоступно не выражался. Никаких тангенсов и котангенсов. Пожелание руководства было выполнено с превышением. Разговор шел без дураков о пути в науку. Каким он должен быть и каким может получиться на примере Игоря Петровича.

Пока я искал и обрабатывал Прометея, Даров не терял времени даром. Поскольку математика — наука абстрактная, и показать ничего движущегося и мелькающего не представ-

лялось возможным, Даров решил сделать передачу игровой. То есть заполнить экран играющими актерами. Проще говоря, от меня он потребовал уже не сценарий, а пьесу.

Действующие лица были такие: Лейбниц, Эйлер, Галуа, Лобачевский, Риман и Колмогоров. Колмогорова снял главный редактор. Он сказал, что Колмогоров живет и здравствует, в отличие от других привлекаемых Прометеев, и может обидеться, если узнает.

Для разбега я прочитал пьесу Дюрренматта «Физики». Это мне порекомендовала сделать Морошкина. Там действие происходит в сумасшедшем доме, то есть в обстановке, приближенной к студии. И тоже действуют три физика из разных эпох. Или они притворяются физиками, я не понял: В общем, если хотите, почитайте сами, а то я запутаюсь, пока перекажу.

Я взял за основу уже готовый сценарий плюс учебник высшей математики и переписал их в виде диалогов и сцен. Например, так:

«Лейбниц (*входит*). Мысль о дифференциальном исчислении не дает мне покоя! Бесконечно малые величины, представьте, Галуа! Ведь до них еще никто не додумался!

Галуа (*почтительно*). Метр, они навсегда останутся связанными с вашим именем. . .»

И так далее, и тому подобное.

Даров хохотал над моей пьесой, как над фильмом Чаплина. А Морошкина с возмущением на него смотрела. Даров прочитал, вздохнул, сожалая, что кино кончилось, и сказал:

— Юноша, вы будете драматургом! Я из этого сделаю конфетку.

И он стал делать из этого конфетку. На роль Лейбница он пригласил народного артиста, а на роли остальных Прометеев — заслуженных. В пьесе срочно понадобилась женщина. Для оживляжа. Тогда я ввел туда Софью Ковалевскую. Интерьер студии Даров оформил в виде больших черных знаков интеграла, сделанных из картона, которые свисали с потолка, как змеи.

У меня появилась железная уверенность, что после этой передачи меня уж точно выгонят.

Передачу я смотрел дома. На этот раз не нужно было зажигать дугу, вундеркинда Игоря Петровича я передал Морошкиной, чтобы она с ним возилась, а ко мне домой пришли друзья, чтобы вместе посмотреть мой шедевр.

Пока на экране мелькали титры и пылал огонь, мы пили чай. Потом в кадре появилась голова Лейбница в парике, похожая на сбитые сливки с мороженым, и народный артист заговорил мой текст.

Я еще раз убедился, насколько велика сила искусства. Ей-богу, даже если бы Даров ставил с таким составом меню нашей столовой или инструкцию по технике безопасности, успех был бы обеспечен. Друзья, конечно, сразу узнали народного артиста, замаскированного под Лейбница. Мой текст они пропускали мимо ушей, а улавливали лишь волшебные модуляции голоса актера. Попутно они вспоминали, где он еще играл, сколько ему лет, какие у него премии и все остальное.

Софью Ковалевскую тоже играла известная актриса. Только что перед этим она была белогвардейской шпионкой в многосерийном фильме по другой программе. А теперь бодро произносила монологи из теории чисел.

Пьеса благополучно докатилась до конца, никто не сбился, а Галуа даже правильно поставил ударение в слове «конгруэнтна». Потом на экране появился Игорь Петрович и начал шпарить. Сначала он обрисовал круг своих научных проблем и несколько увлекся. Я все ждал, когда же он станет говорить о проблемах жизненных. А Игорь Петрович ехал и ехал, плыл и плыл себе в своей знакомой, обкатанной струе, не спеша из нее выбраться. Вот он упомянул про Сорбонну, прихватив попутно Монмартр и Вандомскую колонну, вот намекнул на какую-то теорию, которую он предложил два дня назад, а о главном — ни полслова. Наконец он сделал поминальное лицо и сказал:

— Хочу только предостеречь юношество от ложных иллюзий. Пути в науку трудны. . .

И тут вырубил звук. Игорь Петрович еще секунду беззвучно шевелил губами, рассказывая, видимо, о своей злополучной струе, а потом вырубил и его. Появилась дикторша и сказала:

— Вы смотрели передачу из цикла «Огонь Прометей». «Математика».

— Петя, а при чем здесь математика?! — заорали мои умные друзья. Что с них взять? Не знают они специфики телевидения.

На следующее утро мне позвонил расстроенный Прометей Игорь Петрович.

— Вы знаете, что они сделали? — спросил он.

— Знаю, — сказал я.

— Оказывается, я полчаса распинался перед выключенной камерой. Я все сказал, как мы планировали. Я смешал себя с землей. Я отрекся от прометейства. . .

— Ничего не поделаешь, — сказал я. — Струя. . .

— Струя, — согласился Прометей.

— Дарову передача понравилась? — спросил я осторожно.

— Он пел, — сказал Игорь Петрович.

— Что?

— Из оперы «Отелло».

Я понял, что передача прошла хорошо и мне можно появиться на студии. В двери уже стучались следующие Прометей.

7

МРИХСКИЕ КАМУШКИ

Я задумал передачу об археологии. Честно говоря, хотелось поближе познакомиться с этой наукой. Морошкина разыскала институт, поговорила по телефону с директором и направила меня к нему. Я приехал.

Директор принял меня в кабинете, усадил на диван, после чего запер дверь на ключ. Потом он осмотрел меня и проговорил:

— Я дам вам на передачу Мурзалева.

Он сделал паузу, чтобы посмотреть, какое это на меня произвело впечатление. Фамилию Мурзалева я слышал впервые. Поэтому никакого впечатления на моем лице не отразилось.

— Мурзалева. Роберта Сергеевича, — еще более веско произнес директор.

Я вынул блокнот и записал фамилию.

— Вы что, не слышали о Мурзалеве?

— Нет, — сказал я. — Извините.

Директор задумался, потом махнул рукой и сказал:

— Ну что ж! Может быть, это и к лучшему.

Далее он рассказал мне о деятельности Мурзалева. Роберт Сергеевич откопал где-то в Средней Азии несколько камней с непонятными письменами. Кому они принадлежали, кто там что написал — этого никто не знал. Мурзалев десять лет возился с этими камнями и расшифровывал надписи. Надписи содержали родословную какого-то царя, или не знаю, как он там

у них назывался. По словам директора, это был переворот в науке.

Однако Мурзалеву не спешили верить. Представить скептикам самого царя, чтобы тот подтвердил правильность расшифровки, Мурзалев не мог. Царь и его приближенные умерли несколько тысяч лет назад. Государство тоже давно ушло в небытие. Народ исчез. Остались только камни с письменами. Мурзалев составил словарь исчезнувшего языка и опубликовал его. Чтобы все желающие могли почитать надписи. Тут-то все и началось.

Мурзалева объявили шарлатаном. Его словарь объявили плодом больной фантазии. Камни тоже взяли под сомнение. Было высказано мнение, что Мурзалев сам изготовил эти камни. И так далее. Просто удивительно, сколько страстей может разгореться вокруг дюжины заплесневелых камней!

Директор, как я понял, склонен был верить Мурзалеву. Может быть даже, что в лице директора Роберт Сергеевич имел тайного покровителя. Иначе ему пришлось бы уйти. Директор поддерживал Мурзалева то ли по склонности к сенсации, то ли для того, чтобы отвлечь внимание коллектива от своей персоны. Он дал мне записку и объяснил, где искать Роберта Сергеевича.

— Ради бога, только осторожнее! — напутствовал он меня, будто я шел разминировать снаряды.

Я нашел Мурзалева в одной из комнат, битком набитой сотрудниками и сотрудницами. Стол Роберта Сергеевича был отгорожен от других столов фанерой. Как только я приблизился к Мурзалеву, разговоры в комнате смолкли. Хотя никто особенно не глазел. Только уши у сотрудниц подрагивали от напряжения.

Мурзалев был немолодым уже человеком с глубоко посаженными глазами и впалыми щеками. Взгляд его выражал стойкую душевную муку.

— Я из телевидения, — сказал я.

Мурзалев, точно глухонемой, просигнализировал мне пальцами, чтобы я помалкивал. Потом он схватил со стола какую-то папку и выбежал в коридор. Я понял, что мне нужно следовать за ним.

Когда я вышел из комнаты, Мурзалев поворачивал за угол в другом конце коридора. Бежал он очень тренированно, высоко поднимая колени. Я побежал следом. Вообще, мне это не

понравилось, потому что неприятно все-таки бегать по чужим учреждениям.

Роберт Сергеевич добежал до лестницы и устремился вверх. Вскоре мы оказались на глухой лестничной площадке перед чердаком. Мурзалев вытер лоб платком и проговорил, часто дыша:

— Мой словарь вы читали?

— Нет, — сказал я.

— Сейчас. . . Тогда сейчас, — засуетился Мурзалев, развязывая тесемки у папки. В папке оказалась толстая рукопись словаря. Слева были нарисованы картинки, а справа они расшифровывались. Это мне напомнило сценарий какой-то таинственной телепередачи. Мурзалев ткнул пальцем в первую картинку, изображающую небритого паука, и сказал:

— Это слог «сур». Понятно?

— Сур, — зачем-то повторил я и кивнул.

— Мер, пор, гир, элш, абукр. . . — затараторил Роберт Сергеевич, стуча пальцем по первой странице. «Не хотелось бы все это запоминать», — подумал я, а Мурзалев перевернул страницу и помчался дальше:

— Акх, дуз, мрих, быр, згир. . .

«Мрих» — это было название древнего народа, изготовившего камушки. «Мрих» напоминал почтовый ящик, а «згир» — шестиногую лошадь. Мне становилось интересно. Однако надо было останавливать Мурзалева, чтобы не задерживаться здесь до завтрашнего утра. Очень толстый был словарь.

— А есть слог «фер»? — наобум спросил я.

— А как же! — радостно воскликнул Мурзалев и, пролистнув полсловаря, показал мне «фер». Это была закорючка с рыбьим хвостом.

— Фердуз мрихеср элшузр! — торжественно произнес Мурзалев. — Это первая фраза памятника. «Я пришел сюда. . .»

Тут я вспомнил, зачем я пришел сюда.

— Простите, Роберт Сергеевич, — сказал я. — Нам надо договориться о передаче.

— Вы мне не верите? — огорчился Мурзалев.

— Да верю я вам! Верю! — воскликнул я. — И вам верю, и камушкам вашим.

— Нет, не верите, — покачал головой Роберт Сергеевич.

Мне стоило большого труда снять подозрения и объяснить ему, что от него нужно. Услышав о Прометее, Роберт Сергеевич оживился. Глаза его мстительно блеснули.

— Бурдзех фурс! — энергично высказался он.

— Как вы сказали? — не понял я.

— Я приучил себя ругаться по-мрихски, — сказал Мурзалев. — Вы не представляете, в какой обстановке я работаю! Наши сотрудники всю жизнь комментируют старинные рукописи. Собственно, рукописей уже не осталось. Они комментируют комментарии. . .

Мешая мрихские слова с русскими, Роберт Сергеевич рассказал мне о своих злоключениях. Многое я уже слышал от директора. Мурзалев добавил в научную полемику немного служебного быта. Фанеру, например, которой он отгораживался от коллектива. В буквальном смысле слова. Особенно тронула меня персональная чашечка для кофе. Этой чашечкой больше никто не пользовался. Мурзалев ежедневно ее мыл после того, как пил кофе. Удивительно, что ему еще давали общественный кофе.

Словом, волчьи законы. Бедные мрихцы не стали бы портить камней, если бы предвидели такой оборот дела.

— Послушайте, — сказал я. — Вы что, хотите, чтобы все вам поверили?

— А как же? — удивился Роберт Сергеевич.

— Зачем?

— Это же истина! Научная истина! — заволновался Мурзалев.

— И бог с нею, — сказал я.

— Вы думаете? — сказал Мурзалев с сомнением. — Нет! Как это — бог с нею? Я десять лет работал!

— Так что вам нужно — истина или ее признание?

— Покой, — вздохнул Роберт Сергеевич.

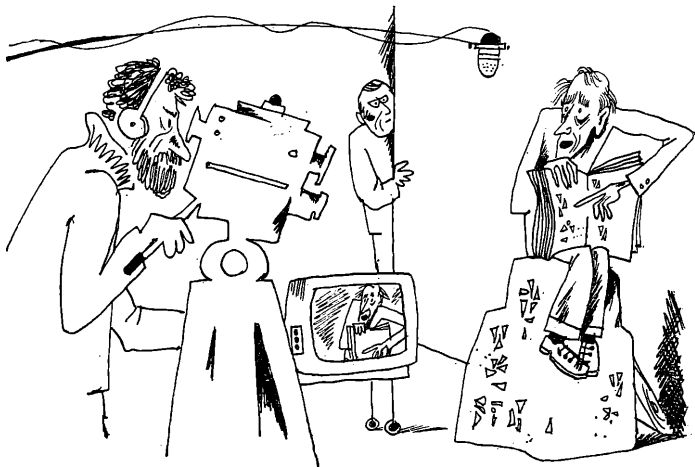
Ох, эти мне искатели истины! Бьются за нее годами. А за истину биться не нужно. Ее достаточно показать и тихонько отойти в сторону. Что это за истина, которую навязывают принудительно, как гипсовую статуэтку к японскому зонтику? К своей истине должно относиться с уважением. Не теребить ее понапрасну. Не хотите знать — и не надо! Вам же хуже. . . Вот так, на мой взгляд, следует обращаться с истинами.

Жалко мне было глядеть на Мурзалева во время передачи. Даров посадил его на бутафорский камень с письменами. Роберт Сергеевич сидел на камне со словарем в руках. Он был похож на евангелиста Луку. Говорил он преимущественно по-мрихски. Впрочем, тут же переводил и комментировал.

Взгляд его выражал надежду на то, что ему поверят. Поэтому, только поэтому Роберту Сергеевичу не поверят никогда. Трудолюбивые мрихцы зря долбили камень.

После передачи я вдруг придумал притчу. Вот она.

Прометей принес людям огонь. Люди в это время ели сырого мамонта. Прометей дернул за рукав жующего человека и спросил:



— Огонь не нужен?

— Какой еще огонь? — сказал человек.

— Очень хороший, качественный огонь, — зачастил Прометей. — Может жарить, варить и греть. Отдаю совершенно бесплатно.

— Надо поглядеть, — сказал человек, теребя бороду.

— Чего глядеть? — заволновался Прометей. — Самый настоящий огонь. От бога принес. В дар людям, можно сказать.

— А себе чего хочешь? — спросил человек.

— Ровно ничего! — заявил Прометей, стуча себя в грудь.

— Жулик ты! — сказал человек. — Сразу видно, что жулик. Проваливай со своим огнем. Не на такого попал!

Долго еще Прометей бродил по стойбищу, предлагая огонь. Никто так и не взял огня. Вдобавок обругали его с ног до головы.

Недоверчивые все-таки у нас люди.

СТАРЫЙ ПЕРПЕТУУМ

Человек не сразу стал венцом природы. Сначала он был обыкновенным духовно неразвитым животным. Об этом свидетельствуют раскопки древних черепов. Кроме того, некоторые хорошо сохранившиеся индивидуумы у нас перед глазами. По их поведению можно с уверенностью судить о темном прошлом человечества.

Господи, какие встречаются кретины! Сердце плачет.

Самое удивительное, что они тоже полагают, будто мыслят. Они убеждены, что имеют отношение к таким вещам, как культура или наука. Когда по радио произносится устойчивое словосочетание «прогрессивное человечество», эти типы без зазрения совести думают, что разговор идет о них. В обезьяньем питомнике они почему-то снисходительно смотрят на обезьян, хотя у средней обезьяны чувств и мыслей хватило бы на десятых подобных типов.

Мозги у них твердые и гладкие, как бильярдный шар. Но мозгов, к сожалению, снаружи не видно. Поэтому определить кретина можно лишь по косвенным признакам. По глазам или по походке. Глаза у них немигающие, сверлящие, причем сразу видно, что ваша душа у них как на ладони. Так они полагают. Ходят они очень прочно и старательно, с видимой гордостью. Им приятно ходить на двух конечностях.

Да, самое главное! Они все знают. Нет такого вопроса, по которому у них не было бы собственного мнения. Говорить с таким человеком — все равно что высекать на мраморной плите таблицу умножения. Трудно и бесполезно.

Все это я говорю к тому, что после передачи про злосчастные камни студию завалили письмами. Письма делились на две категории. В одних авторы излагали свой взгляд на историю, а в других на Мурзалева. И там и там господствовали дилетантизм и явное недоброжелательство. Все авторы были уверены, что они знают археологию, как собственную жену.

Про письма мне под строжайшим секретом рассказала Морошкина. Только она успела это сделать, как меня вызвал главный редактор.

— Петр Николаевич, — сказал он, сверкая золотой оправой очков. — В целом мы довольны вашей деятельностью. Мы даже считаем, что открыли вас как журналиста. . .

«Кто бы меня теперь закрыл?» — грустно прокомментировал я про себя.

— ...Однако не следует забывать об ответственности перед зрителем. Как вы подбираете выступающих?

— Строгой закономерности нет, — вяло сказал я. — Когда как.

— Не всякий доктор может служить примером, — изрек Севро.

— Ага... — сказал я, чем вызвал вопросительный взгляд главного.

Разговор он закончил тем, что собственноручно предложил мне следующего Прометея. Я не хотел брать, но пришлось. Соответственно, и тема передачи определилась отчетливо. Это была кибернетика. А Прометеем был назван Тарас Карпович Наливайло, член-корреспондент и лауреат. Человек очень большого полета. Дядя русской кибернетики.

Прежде всего я решил познакомиться с научными трудами Тараса Карповича. Если человек членкорр, должны быть у него научные труды, верно?

Я пошел в библиотеку, и мне выдали труды Наливайло. Среди них был один учебник 1931 года издания. Он относился к науке о подъемно-транспортных механизмах. Лифты, эскалаторы и тому подобное. Кибернетикой там не пахло. Остальные работы были в виде трактатов и статей в различных журналах. Я расположил их хронологически и стал следить за эволюцией научной мысли моего Прометея.

Статьи все были на научно-философские темы. Они касались кибернетики. В первых своих работах Тарас Карпович брал это слово в кавычки. Еще он употреблял сочетание «так называемая кибернетика». По его словам, не было такой науки. Тем не менее, хотя ее и не было, Тарас Карпович методично с нею боролся на протяжении ряда лет. Это был первый период становления русской кибернетики. За эти годы Наливайло привык к ней и осторожно раскавычил. Лишенная кавычек кибернетика перестала выглядеть пугалом. Наоборот, она сама теперь нуждалась в защите. И Наливайло перенес огонь на противников этой науки. Теперь он громил некоторых горе-философов, проглядевших в кибернетике рациональное зерно. Ну, тех, которые не успели вовремя опустить кавычек. В результате в кавычки попали они сами.

Благодарная кибернетика, встав на ноги, обласкала Тараса Карповича. Он стал начальником крупного конструкторско-

го бюро. Это бюро проектировало подъемно-транспортные машины, но уже с кибернетикой. Кибернетика проникла в лифты. Попробуйте сейчас открыть дверцы движущегося лифта между этажами. Лифт наверняка остановится. Это и есть кибернетика.

Про те лифты, у которых двери сами открываются и закрываются, я вообще не говорю. Благодаря им Наливайло вплотную подошел к дверям Академии наук.

Я подковался теоретически и поехал на встречу с Тарасом Карповичем. Его КБ помещалось в центре города, в одном из старых зданий. Раньше там был пансион для благородных девиц.

В бюро пропусков со мной долго возились. Выписали несколько бумажек, часть из которых я тут же возвратил вахтерше. Та благополучно наколола их на спицу, и я прошел внутрь.

— Куда же ты пошел? — изумилась вахтерша.

— К начальнику, — сказал я, обернувшись.

— Это понятно, что к начальнику. А как туда идти, знаешь?

— Спрошу, — пожал плечами я.

Вахтерша засмеялась длительным смехом.

— Ну, спроси, спроси! — сказала она.

— А как туда пройти? — заволновался я.

— Вот видишь! — торжествующе сказала вахтерша. — А я не знаю! Давеча ходили через подвал, а нынче там ремонт. Теперь через чердак ходят, но там смотри в оба. Не то заблудишься.

Я пошел по лестнице вверх. На чердаке размещалась лаборатория № 17. Там мне сказали, чтобы я спустился ниже, прошел по коридору, отсчитав восемь дверей, и вошел в девятую. Я так и поступил.

За девятой дверью была еще десятая дверь. Потом я прекратил их считать. Встречавшиеся мне люди хорошо знали лишь окрестности своих лабораторий, а дальше путались. Но общее направление они показывали одинаково. Мне следовало идти все время вниз и на юго-запад. То и дело встречались рабочие, которые перегораживали комнаты, воздвигали посреди коридоров стены и прорубали окна на улицу.

Наконец мне попался человек, который час назад был у Тараса Карповича и еще помнил дорогу. Он меня проводил.

Дверь кабинета была рядом с временной деревянной стенкой, перегораживающей коридор.

— Когда будете уходить, — шепнул сотрудник, — отодвиньте эту доску и пролезайте. Так проще. Там сразу выход.

Я поблагодарил и поинтересовался у него человеческими качествами Наливайло. Хотя бы самое главное, конспективно. Это мне было нужно для предстоящего разговора.

— Как вам сказать? — задумался мой проводник. — Старый Перпетуум... У нас его называют так. Любя, конечно.

— Это как же перевести? — вслух подумал я. — Перпетуум мобиле — это вечный двигатель. Значит, перпетуум — просто вечный... .

— Ну, да. Старый... Вечный... Так и переводится, — сказал сотрудник, делая попытку уйти.

— А двигатель?

— При чем здесь двигатель? Как хотите, так и переводите! — рассердился мой проводник и удалился по коридору.

Я вошел в приемную, где сидела секретарша. Она красила губы. Не отрывая помады ото рта, секретарша сообщила, что Тарас Карпович меня ждет. Я постучал, и перед моим носом загорелась табличка: «Войдите!» Здесь все было пропитано кибернетикой.

Тарас Карпович сидел в кресле из какого-то материала, напоминавшего мрамор. Только, вероятно, помягче. Наливайло был румяным стариком с седыми усами. Его розовые щечки болтались по обеим сторонам лица, как серьги. Возраст с трудом поддавался определению. Но мне показалось, что Перпетуум вполне мог быть участником русско-японской войны.

Мы разговорились. Правда, это не то слово. После того, как я назвал себя, Наливайло не дал мне произнести ни звука. Он открыл рот и принялся без остановок скрипеть и хрипеть что-то про кибернетику. Из всего потока слов я улавливал только несколько: «милостивый государь», «помилуйте-с» и «обратная связь».

Наконец мне удалось приспособиться к дикции Наливайло, и я установил, что Перпетуум добрался уже до начала нашего века. Он обнаружил там корни отечественной кибернетики. Потом он, кажется, спустился еще глубже, потому что в его речи стали мелькать незнакомые мне церковно-славянские обороты. Внезапно Тарас Карпович откинулся на спинку кресла и प्रदेशезжал старческим тенором:

— А без меня, а без меня здесь ничего бы не стояло. Здесь ничего бы не стояло, когда бы не было меня! . .

Песню я узнал. Ее пел когда-то Марк Бернес. Далее Наливайло задал мне какой-то вопрос. Это я определил по интонации. Я на всякий случай кивнул. Тарас Карпович радостно заулыбался и вызвал секретаршу. Он сказал ей несколько слов, и секретарша неприязненно на меня посмотрела.

— Пойдемте, — сказала она.

— Куда? — спросил я.

— На полигон. Вы же сами хотели. . .

— На какой полигон?

Перпетуум обеспокоенно что-то прошамкал и сделал знак секретарше, чтобы та его подняла. Секретарша подошла к Тарасу Карповичу и вынула его из кресла. Я понял, что старик собрался идти с нами на полигон. Поддерживая Наливайло, мы пошли по коридорам. Завидев наше приближение, сотрудники прятались по углам. «Неужели они его так боятся?» — подумал я с уважением.

Мы дошли до двери, на которой висела табличка: «Испытательный полигон. Посторонним вход воспрещен!» За дверью находились лифты. Их было три штуки. Все разные. Это были детища Старого Перпетуума.

Старик подошел к первой двери, сложил губы трубочкой и свистнул. Вернее, произнес шипящий звук. Лифт открылся.

— Ну-с, милостивый государь, — сказал Наливайло, делая приглашающий жест. Секретарша скривилась и побледнела. Мы втроем вошли в лифт. Наливайло произнес подряд семь шипящих, дверцы закрылись, и мы поехали.

— Управляется голосом, — сказал Наливайло, показывая, что внутри кабины кнопок нет. — Стой! — воскликнул он.

Лифт не подчинился приказу.

— Тарас Карпович, это облагороженная модель, — напомнила секретарша.

— Пардон, — сказал старик. — Будьте добры, остановитесь! — обратился он к лифту. Лифт остановился.

— На каком принципе он работает? — спросил я.

— Система человек-машина, — туманно объяснил Прометей.

— Как это?

— Поехали дальше, — скомандовал Наливайло.

— Тарас Карпович, сейчас предохранитель сменю, — слышался откуда-то голос.

— Быстрее, быстрее! — сказал Наливайло. — Седьмой этаж!

— Я помню, — сообщил голос.

Через минуту лифт дернулся, и мы приехали на седьмой этаж. Прометей вызвал соседний лифт, который приехал очень быстро. Он подкатил с ревом, напоминающим шум реактивного двигателя. Секретарша умоляюще посмотрела на Наливайло и сказала:

— Тарас Карпович! Вам же врачи запретили.

— Ничего, ничего... Скоростной лифт с автоматическим спасателем, — объявил Прометей, и мы вошли. Секретарша кусала губы и вздрагивала. Перпетуум нажал кнопку. Лифт взвыл и провалился под нами вниз. Перпетуум положил палец на другую кнопку с надписью: «Обрыв троса».

— Сейчас оборвется трос, — предупредил Наливайло и нажал кнопку. Трос над крышей кабины лопнул с ужасающим треском. Мы полетели вниз. В кабине, в полном соответствии с законами физики, наступило состояние невесомости. Секретарша с перекошенным лицом ползла по стенке кабины вверх. Прометей мягко парил в десяти сантиметрах от пола.

«Вот и все», — флегматично подумал я. В сущности, мне было уже наплевать. Внезапно завывли двигатели, лифт стал притормаживать, и почти сейчас же раздался всплеск. Судя по всему, кабина упала в бассейн с водой. Слава богу, она была герметической. Мы немного поплавали, а потом нас подтянули вверх и выпустили. Наливайло, сияя от гордости, объяснил мне принцип действия. Если обрывается трос, включаются тормозные реактивные установки, которые сдерживают падение. Демпфером служит небольшой бассейн в подвале, куда лифт падает.



Вообще, если этот лифт установить в парке культуры, желающих будет хоть отбавляй. В жилых домах — не знаю. Догоговат он все же.

Насладившись кибернетикой, мы пошли обратно в кабинет. Мне уже хотелось уйти, но Наливайло усадил меня напротив и говорил еще битых четыре часа. Можно было подумать, что у него в запасе вечность. Теперь я понял, почему разбегались сотрудники. Они боялись наткнуться на разговор со своим начальником.

Я от нечего делать конспектировал. В результате получился почти готовый сценарий. Его оставалось немного доработать в смысле уточнения роли Наливайло в становлении кибернетики. Старик немного переборщил. По его словам выходило, что он даже и не дядя русской кибернетики, а прямо отец родной. Это не соответствовало исторической правде.

Наконец Перпетуум устал. Он периодически погружался в сон, а я погружался в раздумья. Я думал, как мне незаметно уйти. Но только я поднимался с места и делал на цыпочках шаг к двери, Перпетуум просыпался и говорил:

— Так на чем же я остановился, милостивый государь?

И я, как настоящий милостивый государь, милостиво напоминал ему, в каком месте он кончил бредить. Когда Перпетуум протянул мне руку на прощанье, я так тряхнул ее, что вырвал старика из кресла. Очень уж он был легкий. Наливайло проводил меня до стенки и даже сам приподнял доску, чтобы я пролез. Звал еще. Обещал многое рассказать. Я думал, что у меня голова не пролезет в дырку, потому что она распухла от обилия информации. Но ничего, пролезла.

Я ушел с твердой решимостью никогда более не видеть Старого Перпетуума. И мне удалось это сделать. Я сдал сценарий и навел Дарова на Наливайло. Не знаю, как они там столковались. Передача прошла без моего участия. Я уехал за город, чтобы ее не смотреть.

Нервишки у меня стали пошаливать. Слово «Прометей» вызывало гримасы на моем лице. Телевизора я боялся. В лифт входить более не осмеливался. На студию ездил с величайшей неохотой.

Не так это просто — отдавать себя людям. Особенно таким, как Наливайло или монстр Валентин Эдуардович. Даже гоноары уже не радовали.

МИКРОБЫ СОВЕСТИ

Измотан я был вполне достаточно. По ночам мне все чаще снился Валентин Эдуардович в виде большого орла. Он был, как всегда, в золоченых очках, но с крыльями. Валентин Эдуардович плавно подлетал ко мне, делал круг, а потом деловито начинал терзать мою печень. Тут я просыпался.

Просыпался я со слабой надеждой, что меня выгонят или вдруг забудут обо мне. Но нет, обо мне не забывали.

Позвонила Морошкина и сказала, что серьезно заболел Даров. У старика предынфарктное состояние, и он в больнице. Это все из-за лифтов, на которых его катал Перпетуум. Мы с Людмилой Сергеевной поехали навестить Дарова и получить ценные указания.

— Люся, мне все это ужасно надоело! — признался я.

— Что поделаешь, Петенька, — вздохнула Люся. — Мы с вами та самая печень Прометея, которую клюют. Надо терпеть.

— Вот вы и терпите! — огрызнулся я. — У вас такая специальность — терпеть. А я не буду.

Даров лежал в палате сморщенный, как спустивший воздушный шарик. Он выслушал наши новости и спросил, кого назначили режиссером.

— Тишу, — сказала Морошкина.

— Тишу?! — взметнулся Даров. Он начал быстро надуваться, морщины исчезли с лица, а само лицо окрасилось в багровый цвет.

— Тишу! Этот мерзавец запрет весь цикл!

— Он не мерзавец, Андрей Андреевич, — тихо сказала Морошкина.

— Прекрасно! Он не мерзавец, а просто лодырь, каких не видел свет. Для него служение людям — такая же недоступная идея, как для меня физические изыскания этого юноши, — ткнул в меня пальцем Даров. Я слушал и удивлялся такому предынфарктному состоянию. По моим понятиям, Даров уже наговорил на два инфаркта.

— Тиша — это кто? — спросил я.

— Тиша есть Тиша, — сказала Морошкина. — Вы еще будете иметь счастье.

Я так и не понял, что это за Тиша. То ли звали его Тихон, то ли фамилия его была Тихонов.

— Возьмите, юноша, иголку... Да-да, иголку, — сказал Даров, — и колите этого Тишу в одно место, чтобы он не спал. Чтобы он хотя бы изредка просыпался!

Морошкина получила свои ЦУ и убежала, извинившись. А я остался с Даровым. Я нарочно остался. Мне хотелось поговорить со стариком начистоту.

— Андрей Андреевич, у меня чего-то муторно на душе от Прометея, — признался я.

Даров встрепенулся и метнул в меня настороженный взгляд.

— Творческий кризис? — спросил он.

— Понимаете, какая штука... — начал объяснять я, еще не зная, как я буду это делать. — Люди действительно были могучие. Все эти Прометеи науки. Может быть, они не думали о славе и почестях. Но потом объективно получилось, что они служили человечеству. А человечество по факту их славит...

— Ну-ну! — оживился Даров. — Это интересно.

— Так вот. Я подумал о том, что говорить о Прометеях имеют право не все. Далеко даже не все. Я, например, не имею такого права. Я не сгораю в этом огне и не отдаю себя людям. Я спекулянт.

— Нонсенс! — закричал Даров таким фальцетом, что больной на соседней койке вздрогнул под одеялом. — Скажите, юноша, мне вот что: вы преклоняетесь перед Прометеями, о которых пишете?

— Перед старыми? — уточнил я.

— Да.

— Безусловно.

— Значит, вы пишете о них честно. В меру своих способностей, но честно. Нужно ли о них рассказывать? — продолжал вслух размышлять Даров. — Да, нужно. Потому что необходимо иметь высокие критерии жизни. Вы понимаете? Критерии человеческого существования.

— Понимаю, — сказал я. — А нынешние Прометеи?

— Юноша! — воскликнул Даров. — Ваше счастье, что вы пишете сценарии об исторических Прометеях. Вот и пишите о них, не жалейте красок. Дайте зрителю понять, что это были за люди. А наш Прометей пусть потом выступает. Пусть выступает. Вам-то что?

— В чем же тогда смысл передачи?

— Умный — поймет, — загадочно сказал Даров и скрестил на одеяле руки.

— А дурак?

— Дурак тоже поймет, но по-другому, — засмеялся Даров.

Больной на соседней койке выполз из-под одеяла и оказался коротко стриженным молодым человеком с большими ушами. Он посмотрел на нас немигающим взглядом и сказал:

— У нас один деятель тоже ушел с повышением. На двести сорок.

Даров засмеялся еще громче. Я вопросительно посмотрел на большеухого. Он перехватил мой взгляд и как-то значительно просигналил мне мимикой, что понял весь наш подтекст.

— Материальное стимулирование, — сказал он, потом расхохотался крупным отрывистым хохотом и снова завернулся в одеяло, продолжая похохатывать уже внутри. Я, наверное, дурак. Я ничего не понял.

Даров внезапно прекратил смеяться и взглянул на меня страдальчески.

— Вот, — сказал он. — А вы говорите!

Пришла медсестра и выгнала меня. Даров на прощанье пожал мне руку и еще раз напомнил, чтобы я не слезал с Тиши, иначе будет провал.

Пришлось познакомиться с Тишей. Я его себе уже немного представлял, и Тиша оправдал мои ожидания. Это был верзила с двойным подбородком и белыми ресницами. Он был похож на сома. Глаза у него тоже были белые, но это мне удалось установить не сразу. Тиша все время как бы спал.

— Какую берем темку? — спросил он, не просыпаясь.

— Микробиология, — сказал я устало.

— Пусть, — прошептал Тиша и прекратил общение.

Я позвонил в институт микробиологии, и мне выдали следующего Прометея. Он оказался женщиной. Это было для меня неожиданностью. И для главного редактора тоже. Как только Севро об этом узнал, он немедленно меня вызвал.

— Петр Николаевич, не будет ли в данной ситуации элемента комизма? — спросил Севро довольно витиевато.

— А что? — не понял я.

— Мы создаем образ. Прометей нашего века. И вдруг женщина... Я совсем не против женщин, но часть телезрителей может воспринять женщину неправильно.

— Как это можно воспринять женщину неправильно? — удивился я.

— Двусмыслица. Понимаете?.. Отдавание себя и тому подобные иносказания... .

— Елки-палки! — не выдержал я. — Мы что, таких телезрителей тоже должны принимать во внимание?

— Мы должны принимать во внимание всех, — скорбно сказал Севро.

— Антонину Васильевну выдвинул Ученый совет, — сказал я.

— Ах, вот как! — воскликнул Севро. — Это меняет дело. Тогда постарайтесь в сценарии тактично обойти вопрос об отдавании... Вы поняли?

Я все понял. Между прочим, с некоторых пор я уже тактично обходил этот вопрос. У меня рука не поднималась писать о прометействе.

Профессора звали Антонина Васильевна Рязанцева. Представьте себе пожилую учительницу гимназии конца прошлого века. Очень подтянутую и никогда не повышающую голоса. С первых же слов я понял, что у этой женщины стальной характер. Особенно если учесть, что она вышла ко мне из своей лаборатории, на дверях которой имелась табличка: «Лаборатория особо опасных инфекций». Не удивительно, что меня туда не пустили.

— Ваша профессия? — спросила она, когда я изложил суть.

— Физик, — сказал я.

— Очень приятно. Значит, вы способны в какой-то степени вникнуть. У меня только просьба: не беспокойте меня по пустякам. Мы готовим ответственный опыт.

В это время дверь «особо опасных инфекций» отворилась, и оттуда высунулась симпатичная головка лаборантки.

— Антонина Васильевна, они опять расплозуются! — плачущим голосом сказала она.

— А вы им не давайте, — сказала Рязанцева.

— Да как же? Они прямо как бешеные!

— Извините, — сказала Рязанцева и ушла. А ко мне вышел ее заместитель Павел Ильич Прямых. Кандидат биологии.

ческих наук, участник трех международных конгрессов. Так он представился.

Он мне многое рассказал про Рязанцеву. Упомянув ее имя, Павел Ильич делал уважительную мину. Он сказал, что Рязанцева принадлежит к старой школе микробиологов. Во главу угла она ставит эксперимент. И главное, старается, чтобы ее работы использовались на практике. То есть в лечебной деятельности. Это мне показалось разумным.

Рязанцева два года провела в Африке, где много особо опасных инфекций. Павел Ильич сказал с теплой улыбкой, что у нее такая страсть — лезть со своими вакцинами в лапы чумы или оспы. Сам Прямых был теоретиком. Он изобретал способы борьбы с микробами на бумаге. При этом пользовался математикой. Вообще, он был передовым ученым. С едва уловимым оттенком горечи Павел Ильич сообщил, что Рязанцева не верит в математику. Она предпочитает опыты, опыты и опыты.

Тут из лаборатории снова вышла Антонина Васильевна.

— Ах, вы еще здесь? — сказала она.

Прямых едва заметно изогнулся в пояснице и устремил взгляд на Рязанцеву. Та слегка поморщилась. Прямых доложил о нашей беседе и замолчал, ожидая дальнейших указаний.

— А что мы будем показывать на экране? — спросил я.

— И в самом деле? — сказала Антонина Васильевна.

— Культуры, — предложил Прямых.

— А кстати, что показали ваши расчеты по культуре 17-КС? — спросила Рязанцева, хитро улыбаясь. Даже я заметил какой-то подвох в ее вопросе. А Прямых не заметил и беспечно начал:

— Иммунологическая активность некоторых штаммов...

Рязанцева улыбнулась еще хитрее, бросив заговорщицкий взгляд на меня. «Не такой уж она синий чулок», — подумал я. А Антонина Васильевна сделала рукой какой-то нетерпеливый итальянский жест и перебила своего заместителя:

— Вы нам скажите, чтобы мы с молодым человеком поняли. Свинки должныдохнуть или нет?

— Вероятность летального исхода ничтожна, — сказал Прямых. — Машина дала две десятых процента.

— А вот онидохнут! — торжествующе сказала Рязанцева. — Дохнут, и все тут! И наплевать им на вероятность.

— Не должны, — пожал плечами Прямых.

— Пойдите и объясните это свинкам. Покажите им ваши перфокарты, — иронически предложила Антонина Васильевна.

Прямых опустил глаза, бормоча что-то по-латыни.

— Впрочем, мы отвлеклись, — сказала Рязанцева. — Так что же мы можем вам показать?

— Не мне, а телезрителям, — уточнил я.

— Вы думаете, что кто-нибудь будет это смотреть? — сказала Антонина Васильевна. — Вы идеалист, молодой человек. По телевидению смотрят хоккей, кино и молодых людей на мотоциклах, которые стреляют по детским шарикам. Как это называется?

— «А ну-ка, парни», — сказал я.

— Вот именно... А ну-ка, физики! А ну-ка, микробиологи! — рассмеялась Рязанцева.

Антонина Васильевна, несомненно, обладала чувством юмора. От ее юмора мне стало не по себе. Захотелось уйти далеко и надолго. Неприятно почему-то было выглядеть в глазах Рязанцевой спекулянтom. А Павел Ильич сдвинул брови, размышляя, и предложил показать африканские кадры. Как выяснилось, Рязанцева сняла в Африке любительский учебный фильм. Там показывалась массовая вакцинация.

— Так это же здорово! — обрадовался я.

— Вы думаете? — холодно сказала Рязанцева. — Ничего особенного. Оспа, холера, легочная чума...

Ушел я от Рязанцевой страшно недовольный собой. В самом деле, какие-то славные люди тихо делают свое дело. Честно делают. А потом прихожу я и начинаю бить в барабан. Они вдруг оказываются Прометейями, а я их певцом. И им стыдно, и мне. Кому это нужно?

Я позвонил Морошкиной и сказал, что не буду делать эту передачу. И вообще, не буду больше писать о Прометейях. Не могу и не хочу. Людмила Сергеевна, как всегда, перепугалась, еще не поняв толком моих доводов. На следующий день было назначено совещание у главного. Нужно было спасти Прометеев. Ночь я провел очень плохо. Перед глазами маячили какие-то волосатые микробы величиной с собаку. Попутно не давали покоя мысли о полной бессмысленности моей деятельности для человечества. Я вдруг полюбил человечество и чувствовал себя обязанным сделать для него что-нибудь доброе.

Самым добрым было отказаться от профанации науки.

С такой мыслью я и отправился на студию. В кабинете главного меня ждали. Севро, Морошкина и Тиша встретили меня согласованным ледяным молчанием. Чувствовалось явное презрение к дезертиру от журналистики.

— Петр Николаевич, я надеюсь, что вы пошутили? — спросил Севро.

— Нет, — сказал я тихо, но твердо.

— У нас с вами подписанный договор. Это официальный документ, — продолжал пугать меня Севро.

— Я заплачу неустойку, — сказал я.

— Вы сделаете сценарий, — гипнотически проговорил главный.

— Петр Николаевич переутомился, — нежно сказала Морошкина.

Тиша открыл глаза и сказал, что он тоже переутомился с этими Прометееями.

— Отпустите меня, — попросил я жалобно. — Когда я мог, я делал. А теперь не могу. Морально и физически.

Внезапно на столе главного зазвонил телефон. Севро поднял трубку и слушал десять секунд. Выражение лица его при этом менялось с безразличного на гневное.

— Прямых — это кто? — спросил он, зажав мембрану ладонью.

— Это заместитель Рязанцевой, — сказал я.

— Немедленно приезжайте, — сказал Севро в трубку. Потом он ее положил и уставился на меня с чрезвычайной злостью.

— Этого только не хватало, — сказал Валентин Эдуардович. Он ничего объяснять не стал, а спросить мы не решались. Севро задумался, совершенно окаменев. Так мы просидели минут двадцать, пока не пришел Прямых. Он ворвался в кабинет и горестно воскликнул:

— Что же теперь делать, товарищи?

— Объясните сначала товарищам, — сказал Валентин Эдуардович. — Они еще ничего не знают.

И Прямых объяснил. Произошло ужасное несчастье. Антонина Васильевна испытывала новый вид вакцины. Естественно, в лучших традициях микробиологии, она испытывала его на себе. У вакцины оказался какой-то побочный эффект. В результате Рязанцева попала в больницу. Ее положение было

тяжелым. В рассказе Павла Ильича сквозило почтительное осуждение поступка Рязанцевой.

— Что вы предлагаете? — спросил Севро у Морошкиной, когда заместитель кончил.

— Снять передачу, — сказала Люся.

— Проще снять вас, чем передачу, — сказал Севро.

— Вот что я подумал, товарищи, — вкрадчиво вступил Прямых. — Поступок Антонины Васильевны, без сомнения, является примером беззаветного служения науке. Может быть, вы построите передачу на этом факте?

И Прямых начал у меня на глазах продавать самоотверженный поступок своей руководительницы. Большое воспитательное значение... Пример для молодежи... Подвиг учебного...

Самое главное, что он все говорил правильно. Это меня и завело. Важно не что говорят, а кто говорит. И зачем.

— Я, как ученик Антонины Васильевны, могу сам рассказать о ней, — скромно предложил Прямых.

— Расскажите! — крикнул я, уже не помня, где нахожусь. — Вам за это хорошо заплатят! Покажите кадры, как она ездила в Африку. Вы-то небось не ездили?

— У меня другая работа, — надменно сказал Прямых.

— И у меня другая работа!! — заорал я и выбежал из кабинета. За мной погнались Морошкина с Тишей. На лестнице они меня поймали и принялись уговаривать, чтобы я не горячился.

Первый раз со мной такое приключилось. Обычно я спокойно и несколько иронически отношусь к действительности. Но если действительность откалывает такие номера, я умываю руки.

Наверное, у меня завелись микробы совести.

Короче говоря, я ушел. Совсем. Морошкина не поленилась одеться и выйти со мною на улицу. Она тоже была возбуждена и жаловалась на судьбу. На углу мы расстались. У Людмилы Сергеевны, у бедной Люсеньки, в глазах появились слезы. Привыкла она ко мне. Люся с обреченным видом пожала мою руку и сказала на прощанье, чтобы я не думал о ней плохо.

А я и не думал о ней плохо. Я плохо думал о себе. Правда, теперь появились предпосылки, чтобы думать о себе лучше.

**ВОЗВРАЩЕНИЕ
БЛУДНОГО СЫНА**

Когда я пришел домой, жена по глазам поняла, что с Прометеем покончено. Доконали они меня и отомстили за легкомыслие. Орел улетел. Жена подошла ко мне и поцеловала.

— Я давно хотела тебе сказать, чтобы ты с этим кончал, — сказала она.

— А чего же не сказала?

— Я думала, тебе нравится.

Я в последний раз засмеялся нервным и ожесточенным смехом, и мы стали обсуждать планы на будущее. Разговор о побочном заработке больше не возникал. Как-то само собою стало ясно, что здоровье дороже. А чистая совесть и подавно.

В положенный срок состоялась передача о микробах. Я к тому времени уже настолько пришел в себя, что смог ее посмотреть. На экране я увидел Павла Ильича Прямых в безукоризненном костюме. Он заливался соловьем о подвиге Рязанцевой. При этом он не забывал подчеркнуть, что является ее учеником. Вероятно, телезрители так и подумали, что Павел Ильич после передачи пойдет испытывать на себе вакцину. Черта с два! Ничего такого он не сделает.

Я посмотрел передачу и понял, что мне нужно сейчас же идти к Рязанцевой. Без этого визита я не мог считать свою деятельность в качестве журналиста законченной. И я объясню почему.

Бывают такие люди, перед которыми совестно. Они, к счастью, встречаются не так часто. Иначе жизнь превратилась бы в сплошное мученье. Хочется почему-то, чтобы они не думали о тебе плохо. Рязанцева должна была знать, что я еще не совсем пропащий человек.

Я купил букет цветов и поехал домой к Антонине Васильевне. Она уже выписалась из больницы и поправлялась дома. Почему-то я волновался.

— Вы? — удивилась Рязанцева, открыв мне дверь. — Я думала, что у вас хватит совести больше не появиться.

— Антонина Васильевна... — пролепетал я.

— Зачем вы устроили это постыдное зрелище? Кто разрешил пустить на экран этого подхалима? — наступала Рязанцева.

С трудом мне удалось заставить ее выслушать мою исповедь. Я начал с самого начала, ничего не утаивая. Антонина Васильевна пригласила меня в комнату и налила чаю. Жила она одна в маленькой квартире. На стене комнаты висела большая фотография улыбающегося до ушей негритянского мальчика. Как она объяснила, это был ее крестник. Его звали Антонина-Василий-Рязанцева.

Я рассказал Антонине Васильевне свои злоключения, и мне сразу стало легко.

— Петя, у вас такая интересная наука, — с материнской лаской сказала она и даже зажмурилась, такая у меня была интересная наука.

— Денег не всегда хватает, — сказал я. — Поэтому я и клюнул на удочку.

— Чудак вы человек! — сказала Рязанцева. — Послушайте меня, старуху. Я сейчас вспоминаю свою бедную молодость с радостью. У меня было много сил, много работы и мало денег. Сейчас наоборот. Хотя нет, работы все равно много. Тогда я была неизмеримо счастливее, чем теперь, Петя.

Короче говоря, деньги до добра не доводят. Правильно моя бабушка говорила. То же самое, только другими словами.

Антонина Васильевна показала мне альбом фотографий. В нем было много старых снимков. Рязанцева в Средней Азии на вспышке холеры. В Азербайджане на чуме. И тому подобное. Это было очень давно, в двадцатые годы. Антонина Васильевна тогда была еще студенткой. Когда она со своими коллегами расправилась с особо опасными инфекциями у нас в стране, Рязанцева стала уезжать к ним за границу. Я удивился, как она дожила до старости. Ее работа была опаснее, чем у сапера.

— Знаете, Петя, — сказала Антонина Васильевна. — Мне давно хотелось провести ряд экспериментов с облучением культур лучом лазера. Не можете ли вы нам в этом деле?

И она тут же изложила мне несколько задач. Задачи были интересные, и я согласился.

— Таким образом вы убьете двух зайцев, — сказала она. — Сохраните верность физике и заработаете кое-что. Мы вам будем платить полставки лаборанта.

— Да я и так могу, — застеснялся я.

— Перестаньте! — сурово оборвала Рязанцева. — Честный труд должен оплачиваться. Ничего в этом постыдного нет.

Я шел домой с чувством громадного облегчения. Все стало на свои места. Физик ты — ну и занимайся физикой. И не гонись за длинным рублем. И не выдавай черное за белое. И не криви душой.

Верно я говорю?

Шеф тоже очень обрадовался моему возвращению. Он, правда, виду не подал, но в первый же день после того, как я сказал ему, что завязал с журналистикой, подсел ко мне и набросал несколько заманчивых идей, которые следовало разработать. И я ему с ходу набросал несколько идей. Мы сидели и обменивались идеями. Впоследствии разумными оказались только три или четыре из них. Но разве в этом дело?

Постепенно все на кафедре забыли этот период моей жизни. Иногда только вспоминали Прометея. Это когда кто-нибудь делал сенсационное открытие и начинал везде звонить по этому поводу. И продавать себя. Саша Рыбаков тогда подходил к нему и говорил:

— Не лезь в Прометей. Там и без тебя народу много.

Последний отголосок моего цикла прозвучал месяца через три. Подал весточку о себе мой бывший коллега Симаковский. Он прислал мне письмо. Грудзь призывал забыть старые сче-ты и предлагал сотрудничество в создании сценария научно-популярного кинофильма «Волшебный луч лазера». Запало ему в душу это слово!

Письмо было на голубой бумаге. Я вложил его в белый конверт с адресом, напечатанным на машинке, и скомкал в кулаке. Получился легкий бумажный шарик. Я торжественно вынес шарик на лестницу, открыл крышку мусоропровода и бережно опустил туда послание Симаковского.

Потом я долго стоял и с наслаждением слушал, как шарик проваливается с девятого этажа вниз, ко всем чертям, издавая еле слышное шуршание.

Григорий Калюжный

* * *

Памяти командира ТУ-104 И. Д. Горшкова

Меня в ежовых рукавицах
Держал семейно экипаж.
Я больно падал, словно птица,
С простором спутав камуфляж...
Но благо: брать уроки очно,
Плыть в мир, как льдины под мосты,
Где волны выпирают, точно
Под плугом жирные пласты.
Ершась настырно, не внарошку,
Я жизнь спешил вмести в строке.
Я звезды трогал, как морошку
В холодной северной реке.
Мне надо было разобраться,
Где «в теле плавает игла»? ..
И словно мама, авиация
Мне помогла...
Был командир мой, Игорь Дмитрич,
Как в мае Днепр, голубоглаз,
И, надо мною горемыча,
Он в тупике стоял не раз.
Он проводил неоднократно
Со мною диспуты пешком.

Он объяснял мне, как по карте,
И обводил места кружком —
Где был я слеп. . . где недоучен. . .
Где с экипажем нелады,
Где, словно лодка без уключин,
Ходил я около беды. . .
Я слушал, морщась, как от водки,
Не зная в гоноре пустом,
Что не забыть, как с фронта сводки,
Мне эти диспуты потом,
Что через травы луговые
Я оглянусь не раз, не два
В глаза рассвета голубые,
Ища мучительно слова.
. . . Но я увижу только сосны,
Стога и краешек реки.
Искринки быстрые, как блесны,
Поля, шоссе, грузовики.
Но я увижу только соты
Кварталов плавных, как причал,
Но я увижу только что-то,
Чего совсем не замечал. . .

* * *

Когда скажу вам: «Я талантлив. . .» —
То это значит — я про тех,
Кто рос со мною в интернате,
Лишась сиротства и прорех.
Кто был, в царапинах и ссадинах,
Душой дворовой детворы
И, как большие виноградины,
Нес первомайские шары.
Кто нас учил, а не «обламывал». . .
И в лунность с нами слушал, как
Собаки лаяли облавами
На уток бреющий косяк.
Когда скажу вам: «Я талантлив. . .» —
То это значит — про луга.
Про девочку на первой парте,

Про задымленные стога.
...Про парк в ажурном переплете,
Могилы братские его,
Про облака и самолеты,
Про командира моего...

* * *

Иллюзии мои летят, как люстры,
Как по лесу в ночи сухие хрусты.
А я на бережку реки лежу
С кувшинкой в головах
И вслед гляжу.
Лежу, не реагирую, как пень,
Мне отлегло негаданно,
Мне лень.
Вольготно мне,
Просторно мне,
Легко.
Иллюзии, летите далеко.
Ни пуха, ни пера вам, ни ГАИ,
И никому не говорите, что мои.
Летите в мирозданье.
Вы — балласт.
Меня простите, я прощаю вас.
Летите, растворяясь в млечной мгле.
Летите... Хорошо мне на земле.

Елена Барихновская

Лошади идут по крышам,
по карнизам и по улицам.
Люди, цокот их услышав,
улыбаются и хмурятся.

Смотрят в окна застекленные
морды тонкие и томные, —
серым камнем окруженные,
лошади бредут бездомные.

Гривы грубые, как бороды,
уши бархатные, мягкие.
Лошади идут по городу,
неожиданные, зябкие.

В темных лужах отражаются
их бока прозрачно-сивые.
Осень, что ли, приближается —
лошади идут дождливые.

Николай Торшин

РАЗВОДА НЕ БУДЕТ

ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ РАССКАЗ

Летний отпуск мы с женой провели в Белоострове, на даче у тещи. Целые дни я стоял в очередях: то за хлебом, то за квасом, то за сахаром, то за молоком. Постепенно приобрел опыт, занимая сразу несколько очередей. Покупатели были больше женщины, и я систематически терял очереди.

Тогда я решил прибегнуть к хитрости. Запасался цветами из тещино сада и давал букетик занявшей за мной очередь. Потеря очередей прекратилась. Довольный своей выдумкой, я торжествовал.

Однажды правление дачного кооператива выбрало мою жену членом комиссии по проверке бытовых условий дачников. Нужно было обойти дачный поселок и выявить претензии к работе правления, торговле, бане, транспорту.

Я вызвался сопровождать жену, чтобы при случае напомнить дачникам о таком неприятном явлении, как очереди в магазине, и проследить, чтобы об этом было записано в протоколе.

В первой же даче хозяйка, увидев меня, смутилась немного. — Дома муж! — доверительно шепнула.

Я ничего не понял, однако моя жена поняла больше, чем следовало, и между нами произошел обычный в таких случаях диалог:

— Вася, какие отношения у тебя с этой женщиной?

— Просто она меня с кем-то спутала. Ты заметила, она щурит глаза — плохо видит.

На следующей даче хозяйка нас встретила гостеприимно, пригласила к столу и со мной заговорила как со старым знакомым. А когда я спросил ее, не будет ли жалоб на очереди, она ответила, что после встречи со мной в магазине у нее было такое настроение, что она даже написала благодарность директору Константину Ивановичу. И что кроме того у нее есть примета: раз очередь — значит, товар хороший.

«Здорово же я на кого-то похож!» — подумал я. Однако жена так не подумала, и диалог возобновился.

— Вася, а эту женщину ты тоже не знаешь?!

— Конечно, дорогая, в таком полумраке, как у нее в доме, обознаться нетрудно.

В третьем доме, светлом как полдень, нас встретила девушка, а когда увидела меня, засияла от счастья.

— Хорошо, что вы пришли! — зазвенела она. — Жора! Жора! — закричала она в соседнюю комнату.

К нам вышел вихрастый паренек. Девушка умоляюще посмотрела на меня и попросила, чтобы я объяснил ее Жоре, что мы с ней просто хорошие знакомые. Я сказал, что вообще первый раз вижу эту девушку, после чего Жора скривился, как от клюквы, и назвал нас обоих лгунами. Девушка так растерялась, что никто не посмел задавать ей какие-либо вопросы.

Члены комиссии сочувственно отнеслись к моей бедной жене, так как у них уже сложилось обо мне довольно ясное представление, и разрешили ей вернуться домой.

По дороге жена предупредила: или развод, или чистосердечное раскаяние. Ужасно не хотелось разводиться. Тогда я пытался придать своим оправданиям шутивно-игривую форму, напомнил жене, что нечто подобное случилось однажды с Пушкиным, и это же явилось причиной появления гоголевского «Ревизора». Жена продолжила мою мысль, сказав, что сходство мое с Хлестаковым поразительное.

— Жаль, нет Гоголя, он бы мне поверил.

— Есть моя коллега по общественной работе Зиминая-Компановская, в юморе толк знает, вот ты и предложи ей сюжет для комедии, — с издевкой возразила жена.

Я еще не успел сообразить, что ответить жене, как оказался у порога дачи знаменитой Зиминой-Компановской, той самой Зиминой-Компановской, которая доказала, что настоя-

щий юмор, юмор Плавта, Боккаччо, Мольера, Гоголя можно выразить сложнейшими алгебраическими формулами, а бесчисленные разновидности этих формул — это и есть неиссякаемый запас для ненаписанных еще комедий, юмористических рассказов.

Зими́на-Компановская оказалась глубокой старушкой, но, увидев нас, живо поднялась с кресла и почему-то мне первому энергично встряхнула руку, благодаря за какие-то подаренные цветы.

— . . . За подаренные цветы, подаренные цветы. . . цветы.

Я просиял, счастливый. Отвел жену в сторону и продекларировал:

— Дорогая, произошло величайшее недоразумение. . .

Но жена перебила меня:

— Как я была не права! Конечно, тебя с кем-то путают. Я допускаю, что ты мог поволочиться даже за старушкой, но подарить женщине цветы. . . это уж извините.

ПОЗАВИДОВАЛ...

ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ РАССКАЗ

В кассу на дневной сеанс кинотеатра «Баррикада» встали в очередь мужчина в милицейской форме и женщина. За ними стал маленький мальчик, ну просто клопик.

— Ты один в кино? — удивился капитан милиции.

— Мама на работе, а живу я в этом доме. . . — оправдывался мальчик.

— Ну, в этом доме еще ничего, — удовлетворился капитан, — а может быть, ты и в «Молодежный» один ходишь?

— Да, дяденька, и в «Молодежный» хожу один!

— И в «Молодежный» один? Никогда бы не поверил! Такой маленький — и один в «Молодежный»! Ну, надеюсь в «Неву»-то ты один не ходишь? — допытывался капитан.

— И в «Неву», и даже в «Рекорд» один ездил! — ответил мальчик.

— Счастливый ты! — вздохнув, сказал капитан милиции. — Даже в «Рекорд» один ездешь. А вот меня эта тетя даже в самый ближайший кинотеатр одного не пускает.

Виктор Романов

ПАРТНЕР

ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ РАССКАЗ

Познакомились мы на шахматном турнире учреждения и сразу влюбились друг в дружку. Он покорила меня щедростью некорректных жертв, а я его — их тонким опровержением.

После турнира мы часто беседовали по служебному телефону о преимуществе двух слонов, о патовых комбинациях и сходились на том, что при правильной игре человека, разгравшего каталонское начало, ждет бесславный конец.

И вот однажды, когда разлука после работы стала для нас тяжелей, чем лишение премии, мы поехали ко мне.

— У меня шахматы из красного дерева, часы марки «Гарде», удобные кресла, кооперативная квартира. . . Только партнера не хватает! А раньше, бывало, выйдешь на коммунальную кухню, устроишься на газовой плите и режешься с соседями до самой ночи, — рассказывал я Брызгину (так звали моего знакомца).

— И у меня кооперативная, — вздохнул Брызгин. — И что странно! За все пять лет хоть бы раз сосед зашел и сказал просто: «Здрасте. Я живу рядом. Давай, друг, сгоняем партию в шахматишки!»

Мы обменялись нежными взглядами и еще раз порадовались, что отыскивали в этом мире друг друга.

— Я давно перестал рассматривать своего соседа как потенциального партнера, — откровенничал я. — Проще, думаю,

робота сделать. И сделал! Но через месяц под давлением жены пришлось его разобрать: робот в цейтнотах потребовал много электроэнергии.

— А я пытался найти партнера среди родственников, — делился Брызгин. — Но отказался — дорогое удовольствие! Родственники играют только после обильного угощения.

— Черт те что! — горячился я. — Народу целый дом, а сыграть не с кем! Каждый сидит в своей норе, закрывшись на французский замок. . .

— Индивидуалисты! — подхватил Брызгин. — Что у них общего? Только мусоропровод!

Мы перевели дух. Оба были полны благородного негодования и мысленно посылали кирпичи на головы соседей.

— С женой я могу играть только в подкидного дурака, с котом Васькой — в кошки-мышки. Я уже подумывал — не похитить ли мне какого-нибудь вундеркинда из шахматного кружка Дворца пионеров. . .

— А моя мечта была купить шимпанзе и выдрессировать ее до уровня перворазрядника, — вставил Брызгин.

— По ночам я нарочно пластинки гоняю, чтобы он прибежал ко мне. . . познакомиться, — признался я. — А он, гусь этакий, под мои пластинки песни поет!

— А я каждый вечер молотком в стенку стучу, будто гвозди вбиваю, а сосед, заяц трусливый, даже в домком не пожалуется. . .

Мы стиснули друг другу руки и обнялись: как прекрасно быть шахматистами на досуге и единомышленниками в жизни! Я с умилением взирал на круглую физиономию Брызгина, но по мере приближения к дому она у него вытягивалась.

— Ты живешь в этой парадной?

Я кивнул и, поднявшись на шестой этаж, стал бряцать ключами.

— Ты живешь на этом этаже?!

— Да. А что здесь такого? — удивился я. — Вот моя квартира. Номер 290.

Брызгин вдруг съежился, сгорбатился, глаза его потухли, а от всей фигуры повеяло антарктическим холодом. Он прошел в конец лестничной площадки и стал открывать квартиру номер 291.

— Ну, берегись! Ты мне за «гуся» ответишь! — пригрозил он с порога. — Не дай бог, сосед, нам теперь с тобой в лифте встретиться! . .

Анатолий Надь

СКРЯГА

ЮМОРЕСКА

Мне не хватало денег на трамвай. Я зашел к приятелю и попросил одолжить одну копейку.

— С удовольствием выручил бы, — ответил он, — но копейка мне самому нужна на спичечный автомат.

— Одолжи тогда двухкопеечную монету.

— Что ты! Что ты! — обеспокоенно воскликнул приятель. — Как же без нее я буду звонить по телефону?!

— Может быть, в таком случае одолжишь трехкопеечную? — спросил я его.

— А что же я буду после этого в трамвайную кассу опускать? Шайбочки от неисправного транзистора, что ли? — съязвил он.

— Вот же у тебя пятак! — обрадовался я. — Одолжи мне его до завтра.

— А кто меня пропустит потом без него в метро? — хмурясь, спросил приятель.

— О-о! — воскликнул с надеждой я, когда в раскрытой монетнице приятеля увидел блестящий светлый гривенник.

— Гривенник нужен мне самому для автомата по продаже художественных открыток, — огорчил он меня.

— Дай мне до вечера пятнадцать копеек, — все еще надеясь на доброту приятеля, попросил я.

— Что не могу, то не могу, — категорически отказал он. — Я собираюсь на юг и коплю пятнадцатикопеечные монеты в дорогу для автоматических камер хранения багажа.

— Раз не можешь дать в долг пятнадцать копеек, одолжи мне тогда двугривенный.

— Ты шутник, однако, — сказал мне приятель. — Если отдам тебе двугривенный, как же я получу без него в автоматах метро четыре дефицитных пятака на проезд?

— Выручай меня полтинником, — хватаясь, как утопающий за соломинку, предложил я.

— С большим удовольствием одолжил бы тебе полтинник, но он мне самому сегодня понадобится в кафе-автомате.

— Тогда дай мне займы вот этот рубль, — произнес я, указывая на самую большую, похожую на медаль, серебристую монету.

— Ишь ты, чего захотел! — воскликнул приятель. — Разве не видишь, что этот рубль не простой, а юбилейный? Берегу его я для коллекции. Нумизматика — мое хобби.

«Как же мне быть?» — подумал я в отчаянии. Но вдруг, увидев в его комнате лежащую на телевизоре десятирублевую ассигнацию, попросил ее в долг.

— Ничего не выйдет. Этот червонец я сейчас опущу в копилку. Коплю жене на подарок.

— Кто же такие крупные деньги в копилку кидает? — изумился я.

— Не все ведь такие скряги, как ты, — с чувством собственного достоинства произнес приятель.

ПЛОДЫ ВОСПИТАНИЯ

ЮМОРЕСКА

Мы познакомились на берегу Финского залива. Мне было тридцать пять. Ему — пять.

— Тебя как зовут? — спросил я малыша.

— Дима. А тебя? — любопытствовал он в свою очередь.

— Не «тебя», а «вас» надо сказать дяде, — поправила начинающего невежу мама и наградила его звонким шлепком.

— Почему «вас», дядя ведь совсем один, — возразил Дима и за это получил еще один шлепок.

На следующий день я снова встретил своих знакомых на берегу залива и в первую очередь поприветствовал своего маленького друга:

— Здравствуй, Дима!

— Здравствуй, — ответил он, приветливо улыбаясь, но тут же, неожиданно-негаданно, получил от мамы шлепок.

— Дима! — воскликнула с укоризной мама. — Дяде надо говорить не «здравствуй», а «здрасьте».

— «Здрасьте», — повторил, насупившись, Дима. И после того как обида на маму немного улеглась, малыш предложил мне:

— Дядя, пойдем купаться.

— Дяде надо сказать не «пойдем», а «пойдемте», — строго произнесла мама.

— Дядя ведь совсем один, — попробовал было возразить Дима, но мама прервала его рассуждения резким шлепком.

Когда на третий день нашего знакомства я подошел к моему маленькому другу и сказал: «Здравствуй, Дима!», малыш произнес:

— Уходи, противный! — и запустил в меня горсть мелкого морского гравия.

Статьи и рецензии

ЭСТАФЕТА ПОДВИГА

Правомерно ли писать о войне человеку, не побывавшему на войне, да еще какой войне — Великой Отечественной? Отечественная война — это эпоха в жизни советского народа, в истории и судьбах людей. Она явилась своеобразным рубежом и литературных поколений. Поэтов старшего возраста, ветеранов нашей поэзии, война заставила по-другому взглянуть на жизнь. Поэтов среднего, военного поколения война воспитала. Тех, кто пришел в литературу после разгрома фашизма, людей не воевавших, но оставивших в опаленных огнем битв годах свое детство, война закалила «на самом утре дней». Недаром у Виктора Максимова, поэта уже послевоенной поры, родились чеканные строки, на которые только его поколение имеет полное право: «Мои убежденья Сорок второго года рождения. . .» Есть и еще одно поколение — послевоенное. Оно знает войну по рассказам отцов. Их точка отсчета и в жизни и творчестве — День Победы. Настанет час, когда и об этой новой поэтической когорте можно будет вести особый разговор, но пока их удельный вес в поэзии и прозе невелик, написано мало, опубликовано еще меньше. Наш разговор пойдет о поколении поэтов, увидевших войну детскими глазами и уже активно вступивших в литературу. В ленинградской поэзии к таким поэтам принадлежат Виктор Максимов и Олег Цакунов.

Олег Шестинский очень точно сказал, что Цакунов — один из последних поэтов, пишущих о блокаде как очевидец, как ее младший современник. В то время как Межиров и Хаустов сражались на Невской Дубровке, а подросток Шестинский помогал старшим защищать город, жадно впитывая в себя невиданные по трагизму впечатления, ставшие потом стихами, — ленинградский мальчонка Цакунов открывал для себя не войну (ему не с чем было ее сравнивать), а говоря его же стихами, «мир с войной вперемешку». Детство детством и остается. Даже в войну. Даже в осаде. . . И видел все вокруг пятилетний мальчик не так, как увидел бы подросток: мягче, чувствительнее, немножко по-волшебному. «Буржуйка» наша — черный кот: четыре ножки, хвост трубою — съедает мебель. Вот комод — такой огромный! — стал золою». Строчки эти принести могла память только из раннего детства.

Слова из того же стихотворения о студенном ветре, который дул прямо в души и пел про относительность вещей, порождены уже зрелостью человеческой и поэтической. Вот и столкнулись в пределах короткого стихотворения годы далекие и чувства близкие. И мы сами как бы встретились с лирическими героями, которые шли навстречу друг другу четверть века.

Только поэт, ребенком переживший блокаду, может произнести: «Мама теплая такая, рядом с нею — нет войны» и сказать о блокадных девятистах днях «Дней девятьсот, а я считать умею до десяти. . .», или так вспоминать блокадную еду: «На сладкое блюдо последнее — вылизывание тарелки». Конечно, сейчас нам, да, видимо, и поэту, трудно определить, что было увидено им лично, что услышано тогда, а что после. Но все слова, звуки и черты блокадной героической поры вошли в духовный мир поэта, стали источником вдохновения. Да и не столь уж важно, как и когда был увиден Цакуновым ленинградский замерзший старик, «на креслице финских саней в раздумье погруженный». Образное осмысление этого кадра памяти — стихотворение «Блокадный Вольтер». Оно могло произойти только на высшем витке поэтического творчества. Этот ленинградский старик, «художник или ученый», «возвысаясь над бездною бед — без страха, без крика, без стона, — весь в мрамор морозный одет, как мудрый философ Гудона. . .». Таким же путем пришло к поэту стихотворение «Баллада о блокадной бане», целомудренное и трагичное.

Поэт говорит о ленинградках:

Вот головы склонили,
уронили
седеющие волосы к воде,
как будто в плаче,
словно хоронили,
сбравшись вместе,
молодость — в беде.

В цикле стихотворений «Ледяная ступень», открывающем первую книгу поэта «Голос гранита», Цакунов проявил себя как профессиональный поэт со своим пристрастием и почерком, способный «разглядеть величие духа в неистребимой жажде чистоты».

Ленинград выступает в стихах Цакунова не только как город блокадный. Он — вечный памятник трудам, бореньям и силе народной. Таким увидел и воспел Ленинград Цакунов: «Если город кто и создавал, то, наверно, из бессмертных кто-то». В знакомых с детства силуэтах городских пейзажей поэту видится прежде всего «русская надежная работа», которая лежит в основе всего сущего: «Город мой стоит на мужиках, как на сваях, загнивших в болото». Сказано резко, запальчиво, полемично. Так можно определить своеобразие стихотворной строки Цакунова. Город, написанный им, предстает перед нами отнюдь не сплошным музейным комплексом под сводом белых ночей, как в стихах иных стихотворцев. Он — Невская твердыня, остановившая немецко-фашистские орды у своего порога.

Второй раздел книги «Голос гранита» — «Горы и люди» — открывается проникновенным «Обращением к Родине», которой поэт присягает на верность: «Целую багряное знамя твоих восходящих веков!» С чего начиналась Родина для Цакунова? С блокадного Ленинграда. С первых салютов над Невой. В лицо он ее увидел, странствуя с рюкзаком геолога за плечами. Это была веселая молодая пора, когда казалось, что «времени-то — Жизнь», что можно повсюду поспеть, что надо только «не падать, держась за гриву дней!». Люди, покоряющие горы. Горы, покоряющиеся людям, пришедшим забрать их богатства. Такова тема этих стихов, буйных, не всегда оригинальных, не всегда отточенных и немного наивных. Наверное, далеко не все эти стихи заслуживали публикации в книге. Они мне чем-то напомнили студенческие юношеские стихи Виктора

Максимова из его первой книги «Открытие». Такие произведения не переиздаются. И все же в разделе «Горы и люди» нельзя не найти поэтических удач, таких, как стихотворение «В поезде». Это двенадцатистишие о том, как синей песней течет истинная поэзия с «возвышенности сердца средне-русской» в моря жизни народной. Не случайно следующий раздел сборника носит название «Глубина течения». Направление избрано, слог чист и прозрачен. Теперь главное — глубина. Истинной творческой зрелостью отмечено стихотворение «На свадьбе». Пожалуй, именно здесь поэт подводит своеобразный итог. Объединила свадьба русских людей разных поколений. «На старших глядят молодые, как точечный дом на избу», странным им кажется, что затянули старики на свадьбе песню «Бродяга, судьбу проклиная. . .». Не для свадьбы такая песня, но она «прошла сквозь судьбу», судьбу для каждого нелегкую. Оказывается, песня эта для людей, собравшихся за белой скатертью, которая «вся в горьком — в слезах и вине», — отзвук «времен самых трудных с войной посредине». Вот почему вынесло ее, эту песню, на поверхность сегодняшнего дня. Для одних Великая Отечественная война была действительно в середине пути. Для Цакунова, поэта и человека, — в самом начале, как и для его поэтического ровесника Виктора Максимова.

Две темы были для Максимова, автора сборников «Открытие», «Встреча» и «Жители Земли», главенствующими: тема современных армейских будней и тема Древней Руси. Обе эти темы имели общий исток — раннее военное детство. В стихотворении «Полустанок» поэт говорит: «Я покачиваюсь у полустанка. . . Мама в городе. Хлеба нет. Пахнет ужином эшелонным. . .» Это не блокада, но это все та же война, увиденная вторично и осмысленная спустя многие годы. Или же взять из книги «Жители Земли» новое стихотворение «Зима 47-го года»:

И вился над миром, шалавый,
и таял, метелью гоним,
как демон признанья и славы,
изящной словесности дым. . .

В строках слились воедино и нежное воспоминание о дорогих мгновениях и людях, и первый необычный урок поэзии, и свой уже, поэзией рожденный дерзостный вывод.

Идет речь о том, что в один из трудных послевоенных зимних вечеров отец с сыном «книги на рынке купили по

тридцать копеек кило», чтобы насытить «печную утробу» своего холодного жилища. У тысяч людей найдутся такие воспоминания в кладовой памяти. Но Максимов, который еще в раннем стихотворении «Огонь» сказал: «уж так ведется испокон огня — он друг, пока в руках он у меня», доверяет на этот раз пламени роль исторического судьи, предающего безжалостно забвению «в виньетках роман без начала и фрейлины царской дневник». Но вот руки отца спасают книги, «самые дражные с виду», хранящие трепет пушкинских строк. Представим себе, что происходит подобная сцена не в зиму 1947 года, а ныне. Произойдет невосполнимая потеря, исчезнет подлинный драматизм ситуации. Пускай таких стихов у Максимова немного, но важно другое: чем острее память пережитого, тем острее восприятие военной темы вообще, а без этой темы Максимов как поэт не состоялся бы.

Максимов подступал к военной теме с разных сторон — через воспоминания раннего детства, через общие, невоенные представления и понятия. В стихотворении «Антимир» поэт стремился объяснить сложное через простое и вместе с тем «снять» с этого модного слова, рожденного наукой XX века, нагар поэтического снобизма, присущего «герою» Андрея Вознесенского Букашкину. «Антимир, по сути дела, рядом: он в дырявой каске у ручья, он под обелиском возле тропки, в потной немоте дурного сна, в двух шагах, в одном нажатье кнопки, — проще именуемый — Война. . .» Вот он — истинный антимир, ввергающий в ужас жителей Земли, которых сама история сплотила в тревоге не только за судьбу своей Родины, но всей планеты.

Однако наиболее плодотворным оказался для Максимова путь освоения военной темы через свою собственную биографию молодого солдата. Свое понимание войны и мира, военного братства, ответственности за завтрашний день дало возможность Максиму увязать героику дня сегодняшнего с героикой Древней Руси. Поэт приблизил далекое прошлое, стал его нынешним летописцем. Он не просто датировал бой на реке Сити 4 марта 1238 года как историограф, а чуть ли не как очевидец и участник. Для него эта дата стала столь же ясна и понятна, как 22 июня 1941 года или как дата недавних боевых учений, о которых он только что писал.

Кажется, нет ни одной «горячей точки», явь которой не прорывается в армейских стихах Максимова. В стихотворении

«Марш в противогазах» кульминация достигается именно в следующих строках:

И, резиной натянутой обострен,
перепонкой двойною улавливал слух,
как молчал в ожиданье налета Хайфон,
как царапал лицо иорданский пастух. . .

Ассоциации распространяются словно волны, устремляются порою и в прошлое, запрещающее о себе забывать. И тогда ночные штабные учения, переданные как репортаж с места события, обрываются внезапно наступившим рассветом, который видится поэту «как атомный удар в той самой стороне, где Хиросима. . .» Но если так обостренно воспринимается далекое и минувшее, то как же накалены недавние армейские будни, поэтически освоенные Максимовым! Смена постов на карауле — фабула родом из устава караульной службы. Может ли она родить стихотворение с искренней интонацией живого человеческого голоса?

И да будет любая морщинка видна
под лучом, что направлен моею рукою.
Дай поближе тебя разглядеть, старшина!
Время, сам понимаешь, сегодня какое! . .

За бортом поэзии Максимова долгое время оставалось огромное пространство не освоенной им жизни мирной и повседневной. Ранние студенческие стихи, несколько мимолетных портретных зарисовок, десяток коротких этюдов — и все. В книге «Жители Земли» Максимов уже сумел дать яркие людские характеры крупным планом. И не случайно его героями оказались ленинградцы, пережившие блокаду, мирные бойцы и защитники города на Неве. «Комната с часами», «Дом», «Комната без призрака» — сразу три стихотворения, образовавшие маленький цикл, лучшие в последней книге. Стихотворение «Комната с часами» начинается со вздоха: «Все меньше ленинградцев коренных. . . Мне повезло — в мансарде нашей двое. За дверью довоенный звон стенных. Там женщина наедине с судьбою». Коротко и так же лапидарно рассказав об обитателях квартиры, о бесконечных телефонных звонках к ним, об одиночестве коренной ленинградки, Максимов не удовлетворяется подобным сжатым жизнеописанием типичного ленинградского дома. Он как бы советует читателю принять близкое участие в судьбе своей героини:

Я не бываю дома допоздна.
Снимите трубку, номер наберите,
и если вдруг откликнется она,
прошу, подольше с ней поговорите. . .

«Дом» — тоже ленинградский герой. Поэт описывает его предельно точно, но дом без людей всего лишь сооружение из камня. Пройдя по двору, поднявшись по старенькой лестнице, мы входим в комнату, где

Вяжет седенькая женщина носки.
И в отдельную с удобствами не хочет.
Ни в какую не покинет свой чердак,
Где уж там. . . чего уж там — не сладко.
Потому, что это так и только так —
Ленинградцы, Ленинградец, Ленинградка!

Тихое и даже приземленное стихотворение о доме, который «интуристам демонстрируют едва ли», неожиданно завершается патетично и твердо этими последними двумя строчками, звучащими как заклинание!

К лучшим стихам Максимова относится стихотворение, посвященное памяти отца — «Как умирал отец мой, коммунист! . . .», трагичное повествование, вдруг перебиваемое предсмертной запиской отца сыну:

А тот листок был адресован мне.
Он весь из слов каких-то негасимых:
«Сын! Я как мог служил своей стране».
И — «Твой отец. Член партии. Максимов».
Не знаю, как придется помирать,
каких высоких звезд душой касаться,
но дай судьба мне в клеточку тетрадь,
чтоб вырвать лист и так же расписаться.

Нет сомнения, что подняться к этим строкам Максиму помогли его «убежденья Сорок второго года рожденья», выстраданные, искренние.

Как солдаты в строю, в шеренге поэтов военной темы Цакунов и Максимов идут вместе. При всем различии их многое роднит: публицистичность, гражданственность, мужество, поэтическая честность. Они с полным правом могут сказать о себе словами Александра Межирова: «Мы писали о жизни, о жизни, неделимой на мир и войну!» Нет сомнения, что к ним присоединятся поэты послевоенных годов рождения. Они, идущие

щие по стопам старших товарищей, не смогут сказать о Победе, как Цакунов: «Из подземелия блокады к салютам поднял я лицо», не смогут по личным воспоминаниям воссоздать картину встречи гвардейских полков у триумфальных арок Московских и Нарвских ворот, до конца ощутить счастье наступления первого «голубого, акварельного дня», — но они найдут свои слова о Победе, подарившей им жизнь, о фронтовиках, которые живут среди нас.

Николай Сотников

ЧЕЛОВЕК, ПРИРОДА, ЖИЗНЬ

Закрывая последнюю страницу книги Виктора Перепелки «Ласточки над городом», вспоминаешь далекую деревню, лес, поле, ушедшее лето. К читателю приходит легкая грусть о невозвратном детстве, родном колхозе, где «рожь отступает от межи» и «девки с исцарапанными руками помогают вязать снопы». Под впечатлением умело нарисованных писателем картин неброской природы Северо-Запада у читателя пробуждаются добрые чувства. И здесь хочется сказать сразу — автор выполнил свою трудную задачу, показав прекрасное через красоту русских пейзажей нашей Родины.

Но Виктор Перепелка, рисуя сочными мазками пейзажи, особое внимание обращает на отношение людей к природе. Преподаватель Сивцов (повесть «Лес»), болезненный и сухой человек, говорит: «В лесу мне всегда кажется, что жить надо простыми вещами и чувствовать от жизни удовольствие... Сейчас сумасшедший бег времени... И только здесь я кое-как успеваю осмыслить прошедшее, подвести итог... Природа — мать всякой жизни».

Так или примерно так думают и другие герои рассказов и повестей В. Перепелки: и Федор («Ласточки над городом»), и Дема Громов («Проездом»), и бывший моряк Рыжов, и пастух Чирок («Вечное солнце»). Конечно, они буквально похожих слов не произносят, но поступки и мысли показывают их полную солидарность с преподавателем Сивцовым.

И тут напрашиваются вопросы. Почему автор так настойчиво возвращает своих героев из города в деревню, как бы проверяя: а не забывают ли они росистую траву, яблоневые сады, избу, где вкусно пахнет ржаным хлебом? Помнят ли, откуда начиналась жизнь?

Давайте разберемся. Индустриализация страны за годы Советской власти привела к закономерному быстрому росту городского населения. Ученые подсчитали, что в 1926 году в городах СССР находилось 18 процентов всех жителей, а в 1965-м — 53 процента. В наше время — 70-е годы XX века — бурный рост городов не прекращается. Это подтверждает статистика: городское население в 1972 году достигло 59 процентов.

Процесс урбанизации создает многие проблемы, на которые указывают экономисты, и они успешно решаются нашей партией и правительством на основе планового развития народного хозяйства и производительных сил и широкого освоения природных богатств. Если ученого внутренняя миграция населения интересует с точки зрения разрешения экономических проблем, то писатель обращает свое внимание на изменения в психологии человека, попавшего в новые условия жизни.

Нам представляется, что главным в творчестве Виктора Перепелки и является исследование чувств, мыслей и поведения сельского жителя, переселившегося в город.

Крестьянин, познавший красоту родной земли, не вдруг, не сразу привыкает к городу. Вот, например, каменщик Федор из повести «Ласточки над городом», разглядывая небо через низкое окно городского дома, увидел ласточек. И вспомнил Федор родное, и потянуло его туда, где «на кленах распускаются почки». И ему потом, когда он снова вернулся в деревню, «повесенному холодный воздух и близость родного дома растревожили душу». Жизнь в городе Федора не привлекает. Приличные заработки не радуют. Приятели по общежитию его интересуют мало. Он тянется к родственному по духу человеку — дворничихе Зинаиде, которая так же, как и он, тоскует по селу, и ей понятен образ мыслей и непосредственность деревенского парня. Автор как бы спрашивает: а всегда ли человек находит счастье в городе? Дело не в заработках, не в комфорте, а в настроении души, в труде, приносящем удовлетворение. В конце концов Федор не решается ломать свои пред-

ставления о счастье и остается там, где родился и вырос, — в деревне.

Другой тип переселенца из села в город мы наблюдаем в рассказе «В гостях». Герой, вспоминая, видит «на лесных дорогах лужи, желтые от сосновой пыльцы, смытой дождем, светло-зеленую тень распутившихся берез» и, не дождавшись отпуска, едет в деревню. Но романтические, детские представления о сельской жизни при соприкосновении с действительностью быстро исчезают. Он делает выбор: «Как бы ни любил я этот дом, я буду всегда в нем только гостем». Сделаем вывод и мы: посвящение в рабочий класс состоялось, герой полюбил свой башенный кран, вой мотора и напряжение стрелы, переносащей тяжелый груз.

В. Перепелка верно подмечает, что в процессе внутренней миграции некоторые люди никак не могут окончательно выбрать главное направление своего бытия. Скажем, Дема Громов из рассказа «Проездом». Он и на рыбацких судах в море работал, и на суше геологам помогал, но пока не определил: в чем его корень жизни? Здесь автор как бы предупреждает — не ошибись, человек, найди свой путь и остерегайся одиночества!

Как живут одиночки и в чем они находят свое счастье, хорошо показано в повести «Вечное солнце». Характеры бывшего моряка Рыжова и пастуха Чирка обрисованы выпукло, по-настоящему образным языком, которым В. Перепелка неплохо владеет. Биографии моряка и пастуха разные, но оба они приходят в итоге к одному — к наслаждению природой, увлечению охотой, ко всему земному, а значит, вечному для каждого человека. Вот Рыжов называет Чирка «серым». Но этот пастух, побывав за свою жизнь во многих передрыгах, более значителен, чем отставной офицер военно-морского флота. И это потому, что Чирок выполняет работу не столько для себя, сколько для других людей. В общественной полезности настоящая ценность Чирка.

За труд во имя общества, против эгоизма и жадности выступает В. Перепелка в рассказе «Последний день в своем доме». Всю жизнь Настасья трудилась, и у нее накопилось много всякого добра, а счастья нет, и годы ушли. Дочки, Глафира и Тоська, ссорятся из-за вещей, это настоящие мещанки. Не смогли разрушить мелкособственнической морали этой семьи, как подчеркивает штрихами автор, ни коллективизация,

ни все то хорошее, что принесла с собой в деревню современная техника. Только новое поколение избавилось от разъедающей души жажды накопительства. «Все сгине, тетушка! — говорит Настасьин внук Сергей. — И нас не будет. А там ничего не надо».

Надо сказать и о недостатках первой книги. В рассказах «Керосиновая лампа» и «Сухой корень» хорошо переданы подробности деревенского быта, они зримы по своей вещности, по запахам, краскам. Удачно передана грусть, тонко переданы общечеловеческие чувства о детстве, родных местах. Но эти рассказы несут лишь печать воспоминаний. Движения, показа развития жизни в них нет. А это уже нельзя считать силой мастерства. Может быть, по этой причине рассказ «Сухой корень» неудачно «сшит» композиционно, встреча Степана Марькова со снохой Анной Беловой на могиле ее мужа выглядит искусственной.

В книге, к сожалению, В. Перепелка слишком много внимания уделяет описаниям старого уклада деревенской жизни. Автор, например, прямо-таки любителю тем, как косят траву косой, а рожь — жнут серпами. Поэтизируется примитивный труд, тяжелый, изнурительный, доставшийся нам в наследство с дореволюционной поры.

Новый, коллективный труд на селе, работа трактористов, комбайнеров сегодняшней деревни не нашли достаточно яркого воплощения, не заняли главного места в этой книге.

Приходится повторить, что проза призвана реально отображать действительность. Наука и техника принесли в деревню невиданные ранее перемены. Город активно помогает селу. Каждому ясно, что сейчас, облегчая труд сельского жителя, на полях работают современные механизмы, управляемые квалифицированными специалистами с высшим и средним образованием. Читатель стремится узнать духовный склад этих людей, увидеть новую среду, разобраться в коренных изменениях современной деревни. Хочется верить, что на все эти вопросы Виктор Перепелка ответит своими будущими книгами.

Валентин Соболев

«...НО МЕРА ПРЕВОСХОДСТВА — ПРОСТОТА»

(О КНИГЕ ЛИРИКИ
ИРЭНЫ СЕРГЕЕВОЙ «ГОСТЬ»)

Иногда говорят, что рождение поэта, «точка отсчета» — это первая книга. Если принять это положение на веру, то следует сказать, что годом рождения поэтессы Ирэны Сергеевой стал 1973-й, когда увидела свет ее первая книга стихов «Гость».

Но так ли это на самом деле? Ведь любитель поэзии вот уже на протяжении последних десяти лет встречается стихи Ирэны Сергеевой в журналах и альманахах; для него, любителя, духовный мир этого автора очерчен довольно определенно и точно. Вышедшая книга только подкрепила это сложившееся о поэте мнение. Я подчеркиваю: подкрепила, следовательно, творческий экзамен выдержан.

В наше время относительно поздних поэтических дебютов (если двадцать лет назад поэты стартовали, как правило, в двадцать, то сейчас они выходят на «поэтическую орбиту» в тридцать лет) это обстоятельство очень важно. В самом деле, предстать в зрелом возрасте перед публикой с книгой незрелой — не самое ли худшее наказание для стихотворца?

В книге Ирэны Сергеевой три поэтических раздела. Они образовались по тематическому признаку: стихи о Грузии, стихи о любимом — а точнее, стихи о близкой душе, — стихи о Ленинграде. Разграничены они четко — в пределах сборника, но фактически едины в своей идейно-эстетической сути. Это размышления и «чувствования» современника о современности.

В осени, в ранней осени
лжи и обмана нет.
Под серебром проседи
золото прошлых лет.

Я не процитировал строки из понравившегося мне стихотворения. Я привел стихотворение Ирэны Сергеевой целиком.

Поэтически конкретно, афористично мыслит поэт. И эта несколько необычная в нашей современной поэзии краткость — для И. Сергеевой норма.

Вот, к примеру, еще одно четырехстрочное стихотворение:

Ничтожества дрожат за превосходство,
но мера превосходства — простота,
единственная в мире красота,
которая почти не признается.

Я неспроста вынес в заголовок моей заметки строчку из этого стихотворения-афоризма: «...Но мера превосходства — простота».

Поэтическая речь, как известно, уже по самой природе своей не проста, условна. Тем более становится она непростой, когда слова в ней концентрируются, спрессовываются до афоризма. И все-таки истинной мерой поэтического таланта изначально считается *естественность* речи, простота. Не та простота, которая «хуже воровства», а простота мудрости, простота прозрения.

И вот такая простота не гость, а хозяин в рассматриваемой мной книге:

Эта простота идет от насыщенности жизненными впечатлениями, от долгих раздумий, от отрицания всякой суетности — и в самой жизни, и в поэзии.

Поэт говорит: «Тебе не уступаю в гордости, и в верности не уступлю». В этом мне видится сложившийся характер: я этим словам верю безоговорочно.

Поэт говорит:

Мое перо
гуляет по бумаге,
и осень
осеняет мне жилье.
Последних листьев
маленькие флаги
торжественно
приветствуют ее.

Я, читатель, вижу и эти «маленькие флаги последних листьев», и то, как «перо гуляет по бумаге», как ему вольно, этому неспящему перу, и это меня убеждает. Образ поэта входит в меня, ибо жизнь в стихах передается им «в формах самой жизни», как когда-то сказал Белинский.

Мне думается, что любовь к Грузии, влюбленность в народ, быт и искусство этой республики благотворно повлияли на поэтический характер, стилистическую манеру Ирэны Сергеевой. Она с восхищением пишет о «вечной» работе чеканщика, но и сама при этом фактически «чеканит» стих, понимая, что «в золотых руках искусство — это вечность».

Я не боюсь «перехвалить» Ирэну Сергееву. Она пришла в поэзию зрелым человеком и о себе, о своих возможностях знает больше, чем кто бы то ни был. Я просто поздравляю ее с удачей, удачей трудной, и скажу еще несколько слов.

Говорят, что некоторые наши недостатки есть продолжение наших достоинств. Видно, говорят не зря.

Я с удовлетворением отметил краткость стихотворений в книге «Гость», отметил и естественность этой краткости. И все-таки такое «короткое дыхание» на протяжении всей книги утомляет. Появляется одышка. О читателе поэт заботиться обязан.

На странице 136 потеряно чувство меры, ибо повторять трижды слово «прозрела» ни к чему. Сказанное один раз, оно прозвучало бы ощутимей.

На странице 28 есть неудавшаяся рифма «траву — могу».

Вроде бы мелочи, но это досадно: в поэзии мелочей не бывает.

Пусть Ирэна Сергеева не примет эти мои замечания за «назидание старшего товарища». В поэзии, как и в любви, возраста нет. Есть талант, есть степень владения мастерством. О том и речь.

Верю, что книга «Гость» станет приятным гостем в сердце всякого истинного ценителя стихов.

Вячеслав Кузнецов

НОВАЯ ЖИЗНЬ

Рано или поздно, но когда-то непременно посещают человека мысли о взаимоотношениях его с жизнью, о сути жизни, о ее «вечности и непреложности», о том, «как выстроены в веках ее пути и законы», и если человеку дан особый дар видения — писательский дар, — то именно об этом и поведет он рассказ в своей первой книге, героям ее подарит он свои сокровенные мысли.

«Понять бы ее, эту жизнь. Кажется, какое-то напряжение, усилие — и поймешь. И тогда, может быть, за всем этим откроется тебе некий высший смысл».

Этими словами заканчивается один из рассказов книги мо-

лодой ленинградской писательницы Ирины Габуевой «Над городом есть небо». Этими словами мне хотелось бы начать разговор о книге и ее авторе, потому что страстное желание понять жизнь, утвердиться в ней, стремление понять окружающих людей и их поступки объединяют героев Габуевой.

Ленинградец Алик Светов приезжает в составе кинофестивальной делегации в город, где не был с детства, в город, в который привели его когда-то дороги эвакуации.

«Алик был очень мал тогда, но дороги эвакуации запомнил навсегда. Помнил страшные поезда, ночи на вокзалах и холод каменных полов, на которых спали вповалку. Помнил грузовик, остановившийся в степи. Земля была тверда на морозе, и хлеб замерз и стал твердым. Хлеб согревали над огнем костра, он горько пахнул дымом, когда они ели его.

Эти воспоминания вместе с опытом его жизни, счастливой, но восприимчивой ко всему окружающему, помогли ему теперь».

Теперь все это стало его первым фильмом.

И первой удачей, хотя сам Светов хорошо понимает, что восторженные отзывы несколько преувеличены, что фильм недостаточно правдив. Но... «Там были люди и их поступки. И поступки поворачивали человека истинно, обнаруживали его цену».

«Как совершается сложное течение жизни в сцеплении судеб, умов и поступков?»

Об этом думал Светов, делая фильм».

И мысли, возникавшие в процессе работы над фильмом, помогают Светову стать духовно богаче, меняют его мировоззрение, и только таким, изменившимся, повзрослевшим, мог пойти он к отцу, которого не видел, как и этот город, с войны, только теперь мог понять Светов этого человека, чужого и близкого одновременно, понять свою перед ним вину.

Тот же процесс возмужания наблюдаем мы на примере героини двух рассказов книги.

Если в рассказе «Все хорошо у нее получилось» Дина — молодая преподавательница литературы в техникуме — ведет свой первый урок и, чуть угловатая, наивная и трогательная в своих переживаниях, вызывает добрую улыбку у читателя, то в рассказе «Раннее утро и длинный день» для той же Дины первые робкие шаги на преподавательской стезе — предмет воспоминаний. «Она многому научилась за это время. Умнее ее сделали студенты, самому главному ее научили. Так ей ка-

залось. Прикасаясь к их судьбам, она училась понимать их настоящее и проникать в прошлое. Училась собственной жизни. Нельзя сказать, чтобы это облегчало ей жизнь. Наоборот, мучительно трудно становилось делать свое дело: учить своему предмету. И накапливалось ощущение вины перед ними, недовольства собой, но и счастья тоже».

Тема не новая. Как же справляется с нею Ирина Габуева, что своего вносит она в ее решение? И тут я уже касаюсь вопросов мастерства.

Рассказы сборника построены на реальном жизненном материале, хорошо знакомом автору. Герои его — люди сегодняшнего дня: тетя Нина — «из тех женщин, чье наиглавнейшее, наипервейшее в жизни призвание — быть матерью», а она потеряла мужа, потом детей и всю жизнь в трауре (рассказ «Тетя Нина» — самый поэтичный в сборнике); Станислав Андреевич, пожилой, больной человек, столько лет мечтал о детях, но дети появились, когда ему уже стукнуло 60. И теперь он в постоянном страхе, боится умереть, а он ведь так любит своих детей («Стасик и Станислав Андреевич»); старая, одиноко живущая мать («Последние свидания»), свидания с детьми — единственная ее радость. «Ей осталось теперь в избытке лихорадочного желания идти, бежать туда, к ним, к детям, звать их к себе». И еще одна мать: у Зинаиды Павловны («И осенью, и зимой») четыре дщери, внуки — казалось бы, хватает хлопот, но «Зинаиде Павловне всегда хотелось жизни обеспеченной, с подробностями комфорта, украшенной благополучием и беззаботностью. И когда она вышла на пенсию, то решила, что настало ее время».

Люди и их поступки густо населяют книгу. И рядом автор, хорошо знающий этих людей, правильно оценивающий их поступки. Но не слишком ли навязчива авторская позиция? Что, если бы писательнице поослабить свою власть над героями, дать им больше самостоятельности? По-моему, они от этого только выиграли бы, стали живее и убедительнее.

Страницы книги чисто описательного характера отличаются большей достоверностью и образностью, особенно те, которые Габуева посвящает Кавказу, поистине удивительной стране — Осетии.

Читаешь рассказ «Всего полтора дня» и так ясно представляешь себе двор дома, куда приезжает герой рассказа Чермен, что даже отчетливо видишь булыжник двора и слышишь «осторожные девичьи шаги», — по булыжнику трудно ходить на гво-

здиках; слышишь, как полощется белье на веревках, — их поддерживают длинные шесты, упирающиеся в булыжник, — как переливается вода через край ведра, видно, кто-то у колонки набирает воду.

А осетинские пироги! «Обычно это три пирога. Три круглых осетинских пирога на тарелке. Их может быть шесть или девять. Один на другом. Изящно выстроенные на тарелке пироги с тончайшей корочкой, пресные, — боже упаси, ни в коем случае не сдобные, — это уже праздник. Конечно, пироги — это не обязательно праздник. Но праздник — это обязательно, это непременно пироги».

А горы! Кажется, стоит подойти к окну... ленинградской квартиры и увидишь их. «В конце улицы совсем близко горы переливались дорогими камнями. Среди них ровно срезанная Столовая гора. Горы были подсвечены невидимым солнцем, а во все стороны от них натянута чистое полотно неба. Горы были рядом, прозрачность воздуха приблизила их. Это сегодня. Когда там, в конце улицы и еще дальше, клубилось, ворочалось серо-сизое нагромождение, то было только это нагромождение, а гор не было».

Что касается языка книги, то хотелось бы пожелать ее автору строже и взыскательнее относиться к слову, не допускать таких словесных украшательств, как: «Весна кричит во всю глотку» или: «Все как бы вздрогнуло, готовясь к наступлению, когда краски и звуки нагло, нескромно бьют по глазам и нервам». К счастью, в книге их немного.

Аннотация к сборнику, из которой мы узнаем, что Ирина Габуева, закончив филологический факультет Московского университета, преподавала литературу в техникуме на Урале, подтверждает предположение, что рассказы «Все хорошо у нее получилось» и «Раннее утро и длинный день» носят автобиографический характер.

Первый из них завершается так:

«Начиналась для Дины третья жизнь. Она не думала об этом, не знала, она об этом не догадывалась. Потом, когда пройдет время, она поймет, что это была третья жизнь после школы и университета».

Книгой «Над городом есть небо» Ирина Габуева вошла в новую, четвертую, согласно ее счету, жизнь, и хочется верить, что жизнь эта будет интересной и плодотворной.

Н. Алексеева

СОДЕРЖАНИЕ

Б. Рошин,	Тревога. <i>Повесть</i>	5
В. Мельников.	Работа, Год рождения, «Подарите мне озеро...» <i>Стихи</i>	41
А. Белов,	Егор Заречный, Земли весенние заботы, Селигер привечает опять... <i>Стихи</i>	43
А. Конгро.	Нет, мы такими не были. <i>Рассказ</i>	48
Н. Нурицын.	Ладога, Роса, «Здесь все давно...», Фотографии, «Нужны крутые повороты...» <i>Стихи</i>	70
Д. Куваева.	Мой брат Алька. <i>Повесть</i>	73
Г. Букалова.	Камчатка, Землетрясение, Старый год, Воспоминание, Биография. <i>Стихи</i>	94
В. Того.	Мимолетность, «Лес горел осенним ярким пламенем...» <i>Стихи</i>	98
В. Кавторин.	Созенка, река лесная. <i>Повесть</i>	100
Н. Пирогова.	Волга. <i>Стихи</i>	127
В. Петруничев.	«А детство было без игрушек...», Заклинание, Песня сверчков, «Как иголка в стоге сена...» <i>Стихи</i>	128
В. Всеволодов.	Шутейное дело. <i>Рассказ</i>	132
М. Косаткин.	«Фотография военная...», «Ничто не забыто!...», «Назначен на ноль-ноль полет...», «Сухари — про черный день...», «Прифронтная полоса...», «Таким венчала...» <i>Стихи</i>	140
Н. Гуревич.	«С подобным правом не дано рождаться...», Новый год, «Скажи мне, целина...», «Я хотела всего огромного...» <i>Стихи</i>	144
В. Голубев.	Холодный день, Аленушка, Вечер. <i>Стихи</i>	147
А. Ларионов.	Кипень из глубины. <i>Рассказы</i>	150
Е. Пудовкина.	На Неве, В экспедиции, «Экономка моя — тишина...», «Зима без снега и мороза...», «Ильмень-озеро. Бывший скит...», «Овальные лужи оправлены кружевом льда...» <i>Стихи</i>	168
Н. Ивасенко.	Теплой зимой, Чудачка. <i>Рассказы</i>	171
Н. Лесниченко.	«Твоих неведомых путей...», «Придет пора присесть перед дорогой...», Маме. <i>Стихи</i>	177
П. Железнов.	Этот маленький хороший город. <i>Рассказ</i>	179

В. Барашков.	Москитный флот, Белая новелла, «На белую тундру, на целую тундру...», На Севере, «Далеко еще до порга...» <i>Стихи</i>	192
И. Коняев.	Пятьдесят пятая весна. <i>Рассказ</i>	195
Г. Сазонов.	Целинное, «В места, где помогают стены...», В двадцать три, Поклон, «Земля просторна и тесна...» <i>Стихи</i>	206
А. Житинский.	Страсти по Прометею. <i>Повесть</i>	209
Г. Калюжный.	«Меня в ежовых рукавицах...», «Когда скажу вам...», «Иллюзии мои летят, как люстры...» <i>Стихи</i>	265
Е. Барихновская.	Дождь. <i>Стихи</i>	268
И. Торшин.	Развода не будет, Позавидовал... <i>Юмористические рассказы</i>	269
В. Романов.	Партнер. <i>Юмористический рассказ</i>	272
А. Надь.	Скряга, Плоды воспитания. <i>Юморески</i>	274

СТАТЬИ И РЕЦЕНЗИИ

<i>Н. Сотников.</i> Эстафета подвига	277
<i>В. Соболев.</i> Человек, природа, жизнь	284
<i>В. Кузнецов.</i> «...Но мера превосходства — простота»	288
<i>Н. Алексеева.</i> Новая жизнь	290

МОЛОДОЙ ЛЕНИНГРАД

Л. О. изд-ва «Советский писатель», 1974 г.
296 стр. План выпуска 1974 г. № 2
Редактор *Л. И. Кочурин*
Художник *Л. А. Яценко*
Худож. редактор *А. Ф. Третьякова*
Техн. редактор *Э. Г. Игнатова*
Корректор *Ф. Н. Аврунина*

* * *

Сдано в набор 1/VII 1974 г. Подписано в
печать 4/X 1974 г. М 20773. Бумага
60×84¹/₁₆, типогр. № 1. Печ. л. 18,5 (17,2).
Уч.-изд. л. 15,14. Тираж 30 000. Заказ № 737.
Цена 72 коп. Издательство «Советский пи-
сатель», Ленинградское отделение. Ленин-
град, Невский пр., 28

* * *

Ордена Трудового Красного Знамени Ле-
нинградская типография № 5 Союзполи-
графпрома при Государственном комитете
Совета Министров СССР по делам изда-
тельств, полиграфии и книжной торговли.
Ленинград, Центр, Красная ул., 1/3